

84(2Pc=Рус)6
А42

Василий Аксёнов

ВРЕМЯ НОЛЬ



ЛИМБУС ПРЕСС
Санкт-Петербург
Москва

ЛАУРЕАТ ПРЕМИИ АНДРЕЯ БЕЛОГО

Василий Аксёнов

ВРЕМЯ НОЛЬ

из цикла "Аксёнов"

ВРЕМЯ НОЛЬ

Василий Аксёнов
ВРЕМЯ НОЛЬ

16 46 20 / 2

Муниципальное объединение
библиотек
620077 г. Екатеринбург
ул. Антона Валека, 12



ЛИМБУС ПРЕСС
Санкт-Петербург
Москва

УДК 882
ББК 84 (2Рос-Рус)6
КТК 610
А 42

*Сохранены особенности
орфографии и пунктуации автора*

Аксёнов В.

А 42 Время ноль: Роман, повести. СПб.: Лимбус Пресс,
ООО «Издательство К. Тублина», 2011. – 480 с.

Главный герой возвращается со своей малой родины в Петербург, останавливаясь в одном из сибирских городов для встречи с друзьями. В немногословности сюжета – глубина повествования, в диалогах – характеры, в историях – жизнь и смерть. Проза В. Аксёнова, словно Вселенная, затягивающая своей непостижимой бездной, погружает в тайны души человеческой. Время здесь, образуя многомерность художественного пространства, сгущается, уплотняется и будто останавливается в вечности, линиями прошлого, настоящего и будущего образуя точку схода.

ISBN 978-5-8370-0552-7

www.limbuspress.ru

© В. Аксёнов, 2011

© ООО «Издательство К. Тублина», 2011

© А. Веселов, оформление, 2011

ВРЕМЯ НОЛЬ

Потому что странники мы пред
Тобою и пришельцы, как и все
отцы наши; как тень дни наши
на земле, и нет ничего прочного.

Псалмопевцу

Время – это птица, которая украшает
тебя разноцветными перьями, но
которая прилетит забрать своё.

Святитель Николай Сербский

Время похищает всё человеческое и
этим налагает на нас долг взаимно
похищать у него нечто полезное
для жизни вечной.

Викентий Лиринский

Настас-ся Абросимовна.

Это – если по Святцам, буква в букву, конечно же – Анастасия Амвросиевна. Моя бабушка по матери. Урождённая Вторых, в бабах Русакова. Вот и прабабушка моя по той же линии в синодик вписана под именем Синклитикия, а при жизни называлась Секлетиной. И обычно. Сплошь да рядом. Будто одно имя, вариант ли его, словно справка, вместо паспорта, чтобы зря тот не трепался и не изнашивался, упрощённое в угоду языку и укороченное для удобства, назначено для повседневности, а другое, полное, – для вечности. Крестили младенца, с полученным свидетельством для обихода уносили его домой, а выданный ему из рук незримого Святого документ

оставляли на хранение до нужного момента в церкви, при отпевании и возвращали. Как будто так вот. Умерла она, Настасья Абросимовна, в сорок один год, *оцинжав*, в только что основанном на *пустоплесье* ими, сорванными насильно с обжитых и родных мест елисейскими крестьянами и казаками, портовом городке Игарка, за Северным полярным кругом, на переселении, далеко от своего и отчего дома, задолго, лет за двадцать, до моего появления на свет. Господи, упокой... даруй ей Царствие Небесное. Хочу написать про неё. Давно собираюсь. Всё настоятельнее с возрастом это желание – теребит душу, сердце щемит. Хоть и мало что о ней, о бабушке своей, знаю. Почти ничего. Только то, что рассказывали, вспоминая и всегда спокойно, размеренно, с удивительным достоинством и уважением друг к другу беседуя между собой, мои родные тёти, дяди и моя мать – её дети, которых было у неё, у Настасьи Абросимовны, одиннадцать. Средней, по возрасту, из них, моей матери – пятеро до неё, пятеро после народилось – сейчас уже без года девяносто. В живых на этот час осталось только трое. И хоть о каждом из одиннадцати пиши по книге: что ни судьба, то... эпопея. Но всё записано у Бога, чем себя и урезоню, заодно, конечно, и утешу. Буквы у Него – звёзды. Глаголы – созвездия. Мысли – галактики. Метеориты и кометы – йоты, знаки препинания. Вселенная – Книга. Почерк вот только нам, неусердным, кажется неразборчивым. Но при старании, усердный, разгадаешь.

Отец Настасьи Абросимовны – и мой, значит, прадедушка – Абросим Иванович Вторых перед отправлением в бесконечное путешествие метрику с верно прописанным в ней именем Амвросий получил на руки вот при каком раскладе дела.

В двадцать седьмом году – ещё до высылки; до самых мытарств-издевательств, слава Богу, не дожидаясь, такое лихо не увидел, с неба уж разве что сочувствовал смиренно; и как раз на Рождество Пресвятой Богородицы – произошло это. Подался он, Абросим Иванович, в лес, запустить слопцы – на глухаря их настораживал, – чтобы собаки в них, свои, чужие ли, не угодили, а перед этим завернул к дочери своей Настасье, тогда уже замужней и жившей от родителей отдельно, своим домам-хозяйством, – и без всякого задела, вроде как просто, без причины, брёл, мол, мимо и забрёл. С краю стола погостевал, на кромке лавки – всё себя всё, отшельник бытто. Поговорил не о значительном. Праздничного, канунного ни крошки не отведал, даже и пирога не пошмыгал. Чаю морковного попил, пустого: дёсна лишь или пополоскал, погрел жалуюток. Да и откланялся. Зашёл в лес. Сел на колоду. Побыл на ней сколько-то, не сходя с неё, и помер. После нашли его, хватились, уже отлетевшего. На самом деле – умер – не очнулся: разделил вечность на до и после – как разрезал – в разрез все только-то и повздыхали: мир, мол, праху, а душе покой – конечно. Отжил Абросимом, Амвросием восстановился. Или Там имя-то... Ну ведь не номер же... Не знаю. Ладно, что церковь в селе ещё стояла – после уже разрушат активисты неумные, – и отпели, как полагается, и имя полное вручили, как следует, отбыл.

Сто сорок пять медведей, крестьянствуя при этом добросовестно, от забот по хозяйству для охоты не отвлекаясь надолго, успевая в том и в этом, завалил Абросим Иванович за свою жизнь. По-разному. Одних пулей, картечью ли сразил, других в петли уловил или в капканы, заплёк ли в ямы зверовые; при

встрече чайной или неожиданной – пути где, мало ли, пересеклись, в глухой тайге-то; на пасеке, незванно и разбойно мёдом полакомиться туда заявившегося, на овсах, на падали ли скараулил; а то и так, в берлоге прямо запер. И вообразить трудно. Не зайцев всё же и не белок. Много – сто сорок пять – не в счётах косточки перемахнуть. Да и противник-то такой: зазевашься маленько, *оробеешь-засуетишься*, и голову тебе оторвёт, как цыплёнку, и шею сломит, что соломину. А сороковой, *пест, стервеник*, его самого, на тот момент – и не один раз при мне рассказывали, но запомнил я, почему и при каких обстоятельствах, ну а придумывать не стану – *как на притчу*, безоружного, *чуть было не замял*: жеребец чей-то, *к счастью его, охотника-то*, рядом пасся, охраняя свой табун, так отогнал косолапого. Сходил Абросим Иванович за ружьём в зимовьюшку, спустил собак с привязи, настиг с ними зверя по следу и тогда уж с ним расправился – чтобы ни на кого уж больше не накинуся, войдя во вкус-то, – где на детей, на женщин ли, на грибников, на ягодников, где на скотину ли – кто попадётся, разъярившемуся. И сейчас мне, измельчавшему, разрыхлённому и источенному, как валенок в чулане молю, чужими мнениями и поветриями, отсюда, из большого города, из квартиры *со всеми удобствами*, на временном и на пространственном отдалении, и медведя вроде жалко – всё же заклят был из человека и пост Рождественский, не шатун-то если, держит, но и деда в пасть ему не стравишь – до этого ещё я не размяк, до уровня правозащитника не возвысился. Что подедаешь, так рассуждаю, если жизнь была тогда в тайге такая: людей в округе меньше было, чем медведей, и отношения между ними были установлены по обоюдному согласию соответственные, без посредников

в виде различных моралистов и защитников – кто одолел кого, тот и гуляет себе дальше.

Буду рассказывать, не стану рассуждать – слово тут моё потерпит неудачу, ниже окажется предмета. Всё же вот вспомнилось. Современник моего прадеда, камер-юнкер, оберпрокурор Синода, князь Андрей Александрович Ширинский-Шихматов уложил за свою жизнь двести двенадцать медведей, 212, и нужды особой у него в этом вроде не было – не в Петербурге же, гуляя в парке или на службу следуя в карете, он встречался с ними. Хотя... Бывает всякое, конечно.

И что ещё вот.

В дверях уже, когда от дочери в предсмертный час свой уходил, не оглядываясь – по примете, чтобы *не отказать себе в доброй дороге*, – нахлобучивая заячью шапку на голову, обронил через плечо Абросим Иванович: «Образ-то на божнице у тебя, Настасья... Спаситель косо чё-то смотрит». – «Да нет, тятя, – ответила ему дочь. – Это изба, а не Спаситель... угол подгнил, осел, и повело чуть». – «Как-то поправить, поди, можно... подложить ли чё, подвинуть... Изба-то пусть... для Господа бочком-то...» – «Ладно, тятя, сёдни же поправим». – «Да уж поправьте... то не дело». Это его последние слова при жизни. Разве что с Богом ещё перемолвился, с ней ли – со смертью. Там, на колоде-то, но кто то слышал.

Детей своих она, Настасья Абросимовна, называла – как они, дети её, вспоминают – так обычно: Вас-сонька-матушка, Ванюшка-батюшка, Алёна-матушка, ну и наперечёт – трое *батюшек* и восемь *матушек* – обилие такое. Было, конечно. Изводится. Зато потомства-то – не пресеклось – изрядно, как звёзд на небе, чуть разве меньше.

«Из всех из нас больше всего – и обличьем, и фигурой, и выговором – схожа с мамой наша Нюра... Выли-

тая... Да и характером. Уж уродилась». Анна Дмитриевна. Плисовская по мужу. Тётя моя, которую все мы, её многочисленные племянники и племянницы, с радостью называем тётя Аня. Сказал: тётя Аня – и на душе посветлело – что-то хорошее как будто сделал. Жива пока, и слава Богу. *В уме ещё* – да и в хорошем – *рассудительная*. Верует. Добрее человека – есть-то они, может, и есть, куда же им и надеваться, есть, конечно, но мне – встречать так близко вот не доводилось; скрыть её трудно, доброту-то, – не денежка, просквозит, хоть и укроешь, как клад, не утаишь. А мне она, тётя Аня, так иногда при встрече говорит, приглядываясь ко мне по старости пристально, в даль туманную будто, – и не глазами уже, кажется, а как-то по-другому: «Шибко уж ты сшибашь, родной, на нашего-то тытенку, на деда». Куда тут денешься – *сшибаю*.

И всё почти. К стыду своему и печали. Ничего больше про Анастасию Амвросиевну я не знаю. Только то ещё, вдобавок вот, что муж её законный, дед мой, *Дмитрий Истихорыч, тытенка*, пришёл как-то утром рано, *по росе*, домой от *полюбаиницы*, встретил жену свою *венчаную* Настасью, бабушку мою, в ограде около колодца, вырвал из рук у неё коромысло и *отходил* её им – *за то, что молча обошлась, в укор ему и слова не сказала, как не заметила*, – после этого оглохла бабушка, *хоть колокол церковный об неё разбей* – такой невосприимчивой после побоев к звукам посторонним сделалась, *глухой, как стенка*, сошла и в могилу. Но там, в могиле, тишина, позвоночником да затылком внимать, может, и есть чему – нутру земному, например, – но слушать нечего особенно, а у души свой слух, свои уши, и то, что следует услышать ей, она услышит – так мне думается. От любви необыкновенной и *требовательной* он, *Дмитрий Истихорыч*, так посту-

пил, от ненависти ли, обуявшей его и ослепившей вдруг на ту минуту, мне не догадаться. От безразличия бы так не сделал, точно – есть по кому судить здесь – по себе. Что в своём сердце после этого носил он, дедушка, ума не приложу. Но вот детей своих *и пальцем никогда не трогал тятенька, за провинность, для острастки, опояской или верхонкой легонько иногда пониже поясницы шлёпал лишь, а ругался только так: «Ух, ты, огнёва, ох, каналья» – наши никто не сквернословил, грязноязыких не водилось.* Правда. И я таких, охальников, среди родственников своих не припомню. Если имелся бы, так не забылся бы – такой контраст-то. *Дедушка Истихор и вовсе не ругался – сдержанный был – и на руку, и на язык.*

Ну и последнее, что мне известно:

Глаза у неё, у мамы, были: *когда в избе, в тени, или когда погода пасмурная – как дождевые капли, серые, когда на улице, на солнце где – как небо, голубые, – так изменялись. А волосы – как прелая солома, светло-русые, богатые – густые.*

И:

«Тятенька был крутой, горячий, вспыхчивый, как порох, но отходчивый – его надолго не хватало. А мама – спокойная, степенная, голоса никогда ни на кого не повышала, но слушались мы её и повиновались ей беспрекословно».

Ну вот.

Живу сейчас и чувствую (оговорюсь: именно чувствую – не понимаю): люблю я её, бабушку свою по матери, Настасью Абросимовну, хоть никогда её и не видел – даже на фотографии, которые в семье имелись, как рассказывали, но не сохранились: *не до жиру было, быть бы живу, какие уж там фотокарточки, себя бы еле-еле протащить мимо гибели, между смертя-*

ми, кого родного ли сберечь, – люблю так. Как и Россию – будто и похоже: ведь и её, Родину свою, толком тоже всю не обозрел, не разузнал и не прослушал – не республика Сан-Марино, слава Богу, в пятьдесят девять квадратных километров – пешком за сутки можно пересечь, с высокой ёлки всю увидеть, – против которой ничего я не имею, разумеется, и там кто-то, в тесноте такой, родился и живёт, пожалеть только. Как и китайцев. Как и японцев. Мало ли. Иных тоже жалко – где население-то редко. Люблю. Я про Россию. *Любовью странною. Рассудку* с ней, конечно, не управиться, *не победить*. Но только надо ли? Зачем всегда всё побеждать? Чему-то и покориться иногда можно с радостью, поддаться. Любишь и любишь, слава тебе Господи. Без этого-то как? Пусть и скудельные сосуды мы, но ведь не камни. И камни жалко – так страдают: полежи-ка столько на одном боку.

И всех сродников, от веку... И другую мою бабушку, что – по отцу. *Авдотью Николаевну*. С той-то однажды всё же я встречался – ночи две у нас, была проездом, ночевала, – смутно, но припоминаю: крупная, молчаливая, в платке, повязаном по-русски, – сидит на стуле, как на троне фараоновском, прямо, *осанисто*, ладони на коленях, смотрит на меня внимательно, как в будущее или в прошлое, как в объектив ли, – словно для памяти моей сфотографироваться согласилась. Сфотографировалась – нет-нет да и посмотрю на снимок – всматриваюсь. И дедушку моего по отцовской линии, Павла Григорьевича, мужа Авдотьи Николаевны. Старик сухой, плечистый был и строгий – так вот тогда мне показалось, – повелительный, глядел на всех, как коршун с высокой лесины, но не надменно и не зло, а отстранённо – был уже где-то, а не с нами. Того мне тоже довелось раз только в

жизни, к сожалению, увидеть, за месяц, за два, может, до его кончины: отец возил меня к нему – *проститься* – с ним, с тем, фамилию которого ношу – Истомин-то. Но здесь:

Созвездие уже другое.

Синица на окне. С уличной стороны. В оконный переплёт вцепилась коготками – как в сердце. Висела боком, теперь – вниз головой. Ей всё равно, хоть так, хоть эдак, кажется. Как Гераклиту. Стекло старательно поклёвывает. Что-то там её обманывает – привлекло же. Может, отблеск. Может, собственное отражение. Ключ ли, как об оселок, поправляет. Наклевалась. Улетела. Берёза в палисаднике – на ней теперь мельтешит, невеличка, и не одна она там – несколько их, горстка, с ветки на ветку перескакивают, юркие; рано берёза наша нынче – из-за заморозков крепких – оголилась. К дому дорожка жёлтая от листьев; и мураву ими, листьями павшими, распятнало – как веснушками – грустно. Иней на всём лежал, уже растаял, и обсохло, только где тень, там ещё волгло.

– К худому, – говорит мать.

– Что? – спрашиваю, хотя и понимаю, о чём речь.

– Да птица-то... когда в окошко.

– Да уж, – говорю. И думаю: «Ничего в ней синего, и вдруг синица».

– Всё так.

– Но ведь она не ломится, не бьётся.

– И чё что...

– Это, мама, суеверие.

– Не знаю... Господь сильный: тихо знаки подаёт. К кому относится, тот услышит... А суеверие, нет ли, я, не грамотная-то, не знаю... Редко когда в Господа напрямую веришь, всё через чё-то... определи-ка.

– К зиме холодной, может быть... вот и к худому.

– И это тоже.

Бабье лето. Именовал же кто-то. Ведь не назвали же: зима мужицкая. Но пусть. А в декабре да в январе-то – и мужицкая. Отвлёкся.

Ельник вокруг Ялани – густой, вечнозелёный, разрежен кое-где багряным: рябинами, осинами или бояркой – будто поранился, и кровь на нём, на ельнике-то, проступила – осень.

Один – на ветке обнажённой

Трепещет запоздалый лист!.. – то и дело вспыхивает в уме, как зарницы среди тёмной августовской ночи, то пережитое, то прочитанное – от личной памяти до родовой... до общечеловеческой.

Небо голубое. Ни облака на нём. Как океан во время штиля. Только следы от турбореактивных самолётов: один с запада на восток, другой с юга на север. Ветер, видно, в поднебесье – напирает: полчаса ещё назад крест был прямой, ровно вписанный в круг, *нахлебный*, поменялся, смотрю, на *андреевский* – цвет вот только наизнанку. Дивишься.

Ночью, конечно, уже холодно – вода в бочке возле дома под поточным желобом к утру замерзает, чтобы достать её ведром или ковшиком, лёд проламывать пешнёй, топором или колотушкой надо – коростой плотной нарастает; воробью клювом не продолбить, кошке лапой не проломать... вороне разве, с её *шнобелем*.

Но днём пока ещё тепло и сухо. Благолепно.

Совсем скоро может заненастить, мало того, и снег повалить – Сибирь всё же, и место, хоть и красивое, но не курортное, а – *каторжанское*. Мне-то – как кулику – его болото: чалдон в каком уж поколении, татарин скажет: сибарча – в печь бы не сунул, басурманин.

Вставили мы с матерью вторые, на зиму, рамы – с одинарными-то тут, в резко континентальном климате, не уживёшь, люто, умереть только, дров, чтобы обогреться, никаких не хватает, околеешь. Прежде, конечно: натаскал, надрав, с ближайшей согры бело-розово-зелёный мох в холщовом мешке – три ходки в болотце сделал: окон-то много, дом большой, – мать, раскидав как можно тоньше по ограде и высушив на солнце сначала, уложила после мох этот валиком на подоконники между рамами, украсила его гроздьями рябины, кедровыми шишками и ягодами клюквы и калины.

– Нравится? Красиво? – шаркая старыми, большими ей, *свободными* – ещё отец когда-то их носил, уже ослепший, выходил в них, не заботясь, сухо, сыро ли там, и в ограду, растопгал – домашними кожаными тапочками, отпятилась чуть от окна, остановилась и, шуру заглядываясь мимо меня на сделанное, спросила она.

– Нравится, нравится. Конечно, – протерев до этого скомканной газетой стёкла, устроив и закрепляя теперь в косяке тоненьким деревянным клинышком последнюю раму, ответил я. – Красиво.

– Конечно. Как же не красиво, когда всё тут от природы... не рукотворное, – сказала мать. – Ну вот, осталось лишь заклеить, так-то – готово. Морковь и репу вырву, уж потом. Пока не дует, в щели не сквозит – терпеть можно... Так теперь до будущего лета, – присаживаясь на табуретку, сказала она. – Чуть постояла, и устала... В мае, в конце, в начале ли июня... раньше-то редко когда выставишь... Ох, Го-осподи.

– Да, – сказал я, а подумал: «Да. Но мне-то этим всем не любоваться. Если только – вспоминая».

Что-то похожее и матери подумалось, наверное: отвернулась в сторону и поднесла к лицу конец платка-то – не случайно.

– Глаза который день уж чё-то чешутся, – сказала. – К слезам... к чему ещё.

– Ну, мама.

– Ладно, ладно... дай поныть, то перед кем ещё потом мне... Перед самой собой шибко не покуражишься... как перед ветром. Человек – он чё – уроса, ну а уж женщина – та вовсе, со старой – спросу никакого.

Было это вчера. И вчера уже было не по себе. Было так уже и за неделю. Как вспомнишь, что скоро, сколько ни тяни и ни откладывай, уезжать надо будет, так хоть дыши через соломинку.

Ну а сегодня, когда час настал, почти что пробил:

Настроение совсем уж отвратительное. Кошки на душе скребут – так это называется – ладно, скребли бы только, но ещё же и покусывают – меленько, подленько – как с мышкой будто, с ней, с душой, играют. Хожу, стараясь явно не смотреть на мать: при взгляде на неё сердце обливается кровью – из бокового зрения её не выпускаю – захотел бы, но не вытеснить – так до следующего приезда пребывать в нём, в зрении периферийном, и останется – как мушка. Зато оба нет-нет да и поглядываем в окно, в которое видна дорога, с боязнью, но откровенно: вот-вот должен, как обещал, подъехать на своём *уазике* Дима Ткаченко, мой школьный приятель, младше на класс меня учившийся, теперь не то председатель, не то директор то ли колхоза, то ли уже чего-то другого, ООО или ОАО, я в них путаюсь, в соседней с Яланью деревне. Церковь, кстати, Дима там построил – так что уже и не в деревне, а в селе, выходит. А Ялань теперь деревня, получается: от церкви в ней остались только стены. Престол-то вечно, если я что тут не путаю, сохраняется, значит – село. Но как-то виртуально.

Мать как, управившись, вернулась в дом, так от окна почти и не отходит – чай когда пили с ней, только тогда и отлучилась, – то на украшенный ею всякой всячиной натуральной мох между рамами глянет, то – в улицу – с тоскою.

«Худо видеть совсем стала. Долго гляжу куда, сливается... Правым-то вовсе никудышно... чем как застило... запотел будто, – сетует иногда. И добавляет: – О-ох. Ста-арость, старость, плохо дело... Вроде и не жила, и вот тебе... старуха... Как к очкам, и к ней, конечно, привыкаешь... к старости-то. К жизни только редко привыкает кто... Ещё пожил бы». Не *пожила бы*, а *пожил бы*.

Поживи уж.

Я собираюсь. Там и сборы: три книжки, свитер да две рубашки в рюкзак бросил – и собрался. И в быгу гардеробом не обременён.

– Может, поесть с собой возьмёшь?.. Вон хошь оладьев. Путь-то не ближний, – говорит мать. – Где там, в дороге, шибко перекусишь?

– Да нет, – говорю. – Есть захочу, куплю что-нибудь... Сейчас на платформах чего только ни продают. Голодным не останусь.

– Дак покупать опять... везде же – деньги... где их на всё-то наберёшься – сами в кармане не растут, как моль, в тряпье не заводятся и не плодятся... Надо ж куда, в такую даль, забрался, – вздыхает горько, продолжительно, будто, представив, попробовала даль эту приблизить мысленно, но не сумела. И говорит: – Жил бы тут где-нибудь... В Исленьске хошь бы... То занесло вон... на край света. Лучшее-то тут бы – в Елисейске. А то за миром, в заземелье.

Мотаюсь по дому, как только что пойманный на воле и запертый в клетке ошалевший сразу зверь, сную

из угла в угол, от стенки к стенке, половицы подомной отрывисто лишь поскрипывают – сам от себя убегаю – безуспешно. Раньше отец тут часто точно так же вот расхаживал – тот, поди, так уж только, кости разминая или, озябши, согреваясь, вряд ли по другой какой причине: никогда ни от кого и ни от чего, наверное, не бегал, догонял только, преследовал, по долгу службы, – узнаю в себе его вдруг, вспоминаю. Недавно вроде, а, Царство Небесное, скоро пять лет уже как покойный. «Стоит только умереть, – говорит мать об этом. – У живых и мёртвых время разное: для живых оно то медлит, то торопится, а у мёртвых оно чёрненькое... в земле пока, на Суд-то не подняли... Ох уж и страсти, Господи, помилуй». Умер отец, а для меня, или во мне, вроде родился: в возрасте мужа зрелого, отец, в чём-то иной, чем представлялся мне при жизни, шире, значительней, роднее, – сложно так, с ходу, в этом чувстве разобраться, выносить его в себе, как плод, надо – так и со-бытие: не братец-муравей – отец кровный умер, сначала умер, а потом родился. Отец – который раз уже произношу – сочтёшь разве.

– Чё маешься?.. Присядь. Не натружай ноги. Они тебе ещё понадобятся. Побереги их. Успеешь, находишься, – говорит мать, ко мне не оборачиваясь, шумную поступь мою слыша, ощущая ли её по половикам. – То... как отец – тот по избе-то иной раз... туда-сюда, туда-сюда... как в чём с болячкой, с шилом ли. Скажу когда, да ты, мол, сядь, Коля, утомонись – пол подомной, как плот на речке, зыбится. Куда там, будто и не слышит Коля – мечется. – Руки у матери за спиной, на пояснице сцеплены негибко. Стоит, не шевелится – как вмёрзла – в жизнь так вмёрзает всё живое. Вся в глубине улицы вниманием – обзор из

дома нашего отменный – на все стороны света: и сам он, дом, высокий, и венчает ещё взлобок. И минутой, может, позже: – Вон не Дима ли твой едет?.. К нам сюда какая-то машина. Его, похоже... с белым верхом... так на солнце ли, не различу, бликует, – севшим вдруг голосом говорит мать, разъединив руки, будто только-только что вот выгаяла, и заслоня ладонью глаза от бьющего в них света.

Глянул и я в окно, остановившись возле, поверх материной головы, повязанной коричневым шерстяным платком, с прицепившимися к нему где-то мелкими семенами повелицы и пахнущим сеном, – туда, в вязкую перспективу улицы.

– Да, он, – говорю. И у меня с голосом, чувствую, не всё вроде в порядке – разом, как с пару, будто простудился.

– Заходить-то будет, нет ли... Сразу ли поедете? – спрашивает мать, глядя на меня, как на умирающего. – То, может, чаю бы попили. Оладьев столько вон настряпала. Кому теперь их?.. Одной – не съесть. Соседей только угостить, или на днях заглянет кто ко мне тут, дак попотчевать... пока, лежат, не зачерствели-то. Скормить кошкам – не дело... и без оладьев сытые – лоснятся. И корове не дашь – из белой муки – жалко.

– Да он торопится обычно, – отвечаю я, надевая куртку и подхватывая с полу рюкзак, глядя при этом куда угодно, только не на мать. – По делам да по начальству ему надо.

– Ну, тогда ладно, – говорит она, вздыхая тяжело и покорно. – Время не конь, в стойло не определишь, и в отдыхе не нуждается... Всё взял, подумай, не забыл чё?

– Всё вроде, – говорю и мысленно корю себя при этом за своё малодушие, за бессилие перед собствен-

ным же характером, будь он неладен, или сибирским жизненным укладом, его, характер мой, сформировавшим и по сей день на него ещё влияющим, но ничего поделать с этим не могу и не умею: в сердце кипит, бурлит, творится, как в пылающей печи, но внешне не решусь и не отважусь на проявление сыновних чувств и на добрые, утешительные слова для матери – да и поможешь ли словами? – стыдимся мы, чалдоны, почему-то этих сантиментов, с живыми менее раскованные, чем с покойниками – тех-то и в лоб целуем, не стесняемся, и говорим, прощаясь с ними, то, что при их жизни, скупясь, обычно не высказываем, – как из вулкана прорывается, – а на поминках, так особенно – до слёз дело доходит. Не знаю, отчего это у нас, на что свалить, ума не приложу. Или от климата сурового, или от неизбывного язычества? Не я один, здесь почти все такие, в этом смысле, неуклюжие. И долгое пребывание в другом месте, в городе большом, с иным укладом, не исправило меня, не научило. – Нечего забывать. С чем прибыл, с тем и отбываю.

– Ты стой на меня, – говорит мать. – И у тебя ни денег, ни богатства никогда не будет.

– Почему? – спрашиваю.

– Да кто ж это знает, – отвечает. – По воле Божьей... Не всем даются почему-то... И он, отец ваш, был такой же – и к тому они, деньги-то, не льнули, как ржа к олову – не приставали. Весь скарб, добро, что мы с ним нажили, в кошёлке можно унести, не надорваться. Переезжать – легко, а жить... всё и нужда, всё недостаток. Сам помнишь. Дом вот, и тот вон, выстроили, за беду – одной-то мне в такой хороми-не... Подвезло же так под старость... Как мышь, хозяйствую, в пустом анбаре.

– Ну... мама.

– Господи, помилуй... Это я так, чтобы душа не вылетела, жалобой ей выход заслоняю... Скорбь меня пыгает, старую, устоять трудно... Тот уж, отец-то ваш, и вовсе был... От своего отдаст и не заплачет, с чужа и щепки малой не присвоит. Как на столбу стоял – жизнь-то прожил – с него всё лишнее сметало будто ветром... Не заблестел только. Хоть и тростил всё: в Бога, мол, не верю... если и есть, то, дескать, не про нашу честь. Это он так, война его смутила... Неверующих-то вовсе – таких нету. И бесы веруют, как говорится, да трепещут. Человек не трепещет – своенравен.

– Да-а... Ну не будет, и не будет.

– Это по роду – как наследство.

– Может.

– Хоть бы костюм себе когда-нибудь справил. Всё как мальчишка... и щеголяешь вон... как деолог.

– *Имея пропитание и одежду, будем довольны тем.*

– Так бы оно... да ведь неутомонны, всё нам мало. А и куда, на самом деле... гол пришёл, гол и уйдёшь.

Съехав с дороги, узик ловко развернулся на поляне, спятился аккуратно к дому задом и, попыхивая серо-голубым дымком из мелко трясущейся выхлопной трубы, остановился.

Вышли мы с матерью из дома. Я впереди, она следом. В ограду сначала, потом на улицу. Тепло. В этом году последнее, быть может, – догревает. И так долго и милосердно нынче балует – не по-сибирски. Иной год к этой поре уже и Кемь встанет, а местная детвора по ней уже гоняет самодельными клюшками самодельную же шайбу или катается на лыжах, на коньках и санках, и скотину никуда уже никто не выпускает, стоит та по крытым дворам и открытым

завозням скучная, пережёвывающая сено, поглядывает с завистью на весело и вольно бегающих по улице собак и ребятишек, – бывало. Помню. Скоро, не за горами, с *низовки*, с Севера, потянет стужей – всё вокруг выморозит до хрустального звона, то и до смерти, если не укроет землю спасительный снег вовремя – к Покрову. Воздух налит запахом хвои и дыма, ласковый, бездвижен: пакля в скворечнике из паза выбилась – как будто хвост бурундук, забравшийся туда, свесил, – не колыхнётся. Солнце от лиственниц и сосен, что на Камне, густо порос которыми он, будто вспенился, высоко уже оторвалось, гораздо рассиялось – во всё небо, во всю ширь, до окоёма – сплошное, кажется, – глаза не увернуть – заплёскивается – как в промоины.

Стоим, плотно щурясь, возле настежь распахнутых ворот, чуть в сторонке от устеленной опавшими с берёзы листьями дорожки, мураву подминаем – сойдём с неё, выправится – терпеливо к этому относится – или привыкла, или любит. Везде – зелёная, на дорожке – бурая. Дождя давненько уже не было, перебивалась она, мурава, неприхотливая, росой да инеем растаявшим, так исхудала, побледнела – скоро под снегом отойдёт, *очухается*. Две коричневые равнодушные курицы – выбрали за нами из ограды – вяло, но беспрерывно, как заведённые, выщипывают из муравы что-то – семена или букариц. *Голландки*. «Хорошо несутся, – говорит про них мать. – Не ленятся. День только отдохнут, в неделю-то, и снова... Усердные. Было бы чем ещё кормить их, но, то чё попало, ходят, собирают, как из гвоздя потом и дришшут. Зерна нынче не шибко-то где достанешь... Секют мало, а убирают и того меньше... Во всём упадок-то, и в этом... Время близится. Избавь, Господи».

Синички уже покинули берёзу – перепорхнули разом всей ватажкой, будто сговорились, – теперь поленицу листвяжных дров облюбовали, в щели между поленьями с одной стороны её, поленицы, ныряют, с другой выныривают, и обратно – может, охотятся за кем-то, за жуками-пауками, может – праздно: и им от Бога игры предусмотрены.

– Зима скоро, – с печалью в голосе говорит мать. – Синички появились... Как доживать-то, Господи, как доживать-то.

Столб лиственничный – без калитки и без прясел – в начале августа ещё, сено поставив, палисадник взялся делать я – мать в нём калину посадить надумала, – но не закончил – рыбалкой увлёкся, до следующего приезда отложил, пообещав матери: дострою, дескать; загадал, что называется. Тень от него, от столба, длинная, узкая – грузно упала, придавив траву и на поленице переломившись, – устояла, не свалилась от неё поленица. Особо выделились в полосе тени опилки рыжие – только вчера пилил скопившийся за годы возле дома, в огороде и в ограде разный хлам, не ради дров, а чтобы не валялся, дрова из этого гнилья, как говорит мать, никудышные, оно и верно, – листья, обёртка от конфеты, проходил кто-то, бросил, спичка горелая и щепки – всё бездвижно – смотришь, и через щель во времени заглядываешь будто в вечность – так, мельком-мельком, показалось. Пересекает, вижу, эту *щель*, или прогал, долгоногий мизгирь – тотчас навёл пробегом своим ясность, было осуществившийся обман развеял: всё скоротечно – так оно спокойней.

Рюкзак у меня за спиной – двумя лямками на одном плече – ничего почти не весит, но вдруг – как бремя. Об этом будто бы и думаю. И думаю:

Вот Я повелеваю тебе... – к чему бы?.. Понимаю: чтоб не думать... *Вот Я...*

Вышел и Дима из машины. Неспешно. Никуда и никогда не торопится. В душе разве. Внешне всегда размеренно-спокойный. Степенный, как говорят здесь. В детстве, в школе, был *маленько пошустрее*. Но не *мешкотный*. Крупный, *под метру-девятьюсто, в теле*, но не рыхлый, а *сбитый*, как свинцовое грузило, – машина, от него освободившись, приподнялась резво и рессорами вздохнула облегчённо – всю дорогу этого ждала как будто – похоже. С брюшком – упруго нависает над ремнём-то, спереди и ремня из-под него не видно. «Дима вон не то, что ты, – говорит мать, когда видит нас вместе. – Не чета тебе. Справный. Ест потому что не на бегу, а за столом всегда, солощый, с аппетитом». А я, как волк, мол, в клящие морозы. Хотя и про меня сказать худой – неправда, материнское преувеличение, преуменьшение ли. «Положено, – весело шутит над собой по этому поводу Дима. – Пусть и маленький, но начальник: без живота не солидно. Не возьмут в свою компанию... бугры-то. Соответствую, стараюсь». Тут же колесо правое переднее попинал, ногой же и помял его ещё зачем-то после – шофёр заправский да и только, – и чем оно ему не приглянулось, колесо как колесо, ничем вроде от других не отличается, попинал бы уж тогда и остальные. Из-под левого дворника набившиеся под него стебли и листья, слепленные в ком не засохшей ещё грязью, вынул и на капот положил – постеснялся возле дома мусорить, наверное. Всё равно ж, поедем когда, свалится. На нас теперь из-за машины смотрит. Улыбается. Гладко выбрит – со скоблёным рылом – так скажали бы здешние кержаки. Золотым зубом сверкает – как зайчиком зеркальным дразнится – начистил. В се-

ром костюме и в рубашке белой, но без галстука. «Не люблю, – говорит. – Форма... Когда уж требуется, нацепляю. А при себе всегда, в кармане – принадлежность. Куда заедешь, занесёт, не знаешь, мало ли... Погладил только об колено – и нацепляй... Уже петлёй, завязанный обычно. Сам не умею узел этот делать. Танька заведует, жена». Пиджак распахнут. Застегнуть его не сможет – на животе не сойдётся – за свидетельствовано.

– Здравствуй, тётка Елена, – говорит Дима.

– Здравствуй, здравствуй, – отвечает ему *тётка Елена*, а у самой, знаю, подбородок смялся – им только, подбородком, без слёз плачет – слёзы там остались, в прошлом – *чтобы повзрослеть скорее – без мамы-то остались – молодость свою ими поливала*. Смотрю-то я не на неё – на Диму.

– Здорово, – говорит он мне и, вытирая руки ветошкой, показывается из-за машины полностью. Обошёл её, встал перед открытой дверцей.

– Привет, – говорю. – Смотри-ка ты, не опоздал.

– Как договаривались. Обижаешь, – говорит Дима. Вытер руки, бросил тряпку на сиденье.

– Редкий случай, когда так-то.

– Ну, конечно. Больше наговаривай, Олег Николаевич.

У соседей наших картошка ещё не выкопана – загуляли, который уже день не видно их, но зато слышно: нет-нет да и запоят в любое время суток, одну строчку из песни, куплет ли один исполнят и утихнут утомлённо – не то уснут вдруг, не то задумаются. По огороду у них, на той половине, где в добром духе ими начата была работа, среди выдернутой, но не собранной в кучи ботвы разбросаны ведра, цинковые и эмалированные, копачи и вилы – лежат, торчат, тоск-

ливые без дела. Картошку сразу в погреб, наверное, ссыпали, не сушили – на поле её не видно; тут же ли кому её продали, *выручились* – так, наверное, коли гуляют. Приезжие – таких тут много – не чалдоны, не сибиряки. Перекати-поле, называет их мать, и до Ялани-то где только уж ни жили, мол, долго и тут, пожалуй, не задержатся – *на тот свет, в другу деревню убежтс я ли* – *где-то оно всегда ведь сладче*. Пусть хоть такие, говорит мать, без них бы вовсе, мол... живые всё же. Души. Не пьют-то когда, дескать, – нечего и не на что, – так и проводят иной раз – то за хлебом забегут, а то за спичками, и слава Богу.

Слава Богу.

Вот и сейчас сипло, громко, но вразнобой они, соседи, из своей избы кому-то сообщили на два голоса – мужской и женский:

– Напилася я пьяной, не дойду я до дому!..

Возвестили и умолкли.

Мы привыкли. Дима усмехнулся – первый раз слышит.

Черёмуха у них, у соседей, в палисаднике с завалившимся штaketником. Старая. Разросшаяся. Не так, как наша берёза, но уже тоже проредела. В листьях когда она, не видно за ней дома – как в маскировочном халате – мимо пройдёшь, не распознаешь. И в ней, в черёмухе, с гроздьями чёрной ягоды, птички серые маячат. Не дрозды. Мельче. Тоже не местные – какие-то пролётом. Дрозды Ялань уже покинули – на юг отбыли; в лесу ли табунятся.

– Во, кому хорошо, – говорит мать про соседей, даже она их слышит, хоть и давно уж крепнет на ухо, так возгласили. – Как птицы. Красота. Ни хлопот тебе, ни забот. Выпили – и ладно, и пылай оно всё синим пламенем... А потом, под снегом-то, её пособираешь, –

имеет в виду картошку. – И добро ещё, не глина... Как пух, земля у них там, чернозём-то... Шабалины раньше жили, и дом-то ставили они, усердные, работающие, дак унавозили. И до них веками удобряли – ею, землёю-то, кормились, теперь её, бедную, только используют, терзают – лишь бы чё выгодать, да толку-то... А-а, не выкопают, шибко-то не опечалются... люди есть, не дадут умереть с голоду, – сказала так и говорит: – Рожь, поди, бы уродилась – вон черёмухи-то сколько... Раньше так всё примечали.

– Уродилась, – говорит Дима.

– Уродилась?.. Ну и слава Богу, если так-то, – говорит мать. – Убрать бы ещё да сохранить как.

– Убираем. Что потом с ней только делать?.. У меня таких, тётка Елена, полхозяйства, – говорит радостно, как об удачной рыбалке или охоте, Дима. – Треть-то, точно, наберётся. И какие: один краше другого – великаны удалые. – Сигарету из пачки достал, закуривает. – На разнарядке, – продолжает, – как сползутся, залюбуешься. Хоть всех в Кремлёвский полк определяй, – затянулся, дым нескоро из себя выпустил, в лёгких его, как пленника ненавистного, как дорогого гостя ли, прежде помурыйжил. – С утра пораньше гадости какой-нибудь, найдут, налижутся, бродят потом до вечера по гаражу, где по деревне ли, с глазами шиворот-навыворот, зелёненькие... будто с летающих тарелок к нам насыпались... как марсияне. У Блока как там?.. Как у кроликов, Олег?

– У кроликов, – говорю.

– На трактор или на машину сядет – завгар с механиком не уследят, – то где заборишко какой сомнёт, то где на столб какой наедет. Хорошо ещё – никого не задавит. И взять с него, с мазурика, нечего, кроме цепей, хоть ты наказывай его, хоть нет – ему до лам-

почки – убогий-то. Откуда и каких только цуциков к нам, тётка Елена, ни наехало за эти годы. Не деревня, а плавильный котёл народов... Глядя на них, свои уж стали портиться...

– Оно, худое, заразительно... легко, и правда, прививается, – говорит мать. – Это доброе-то – нудой.

– Скандалят, пьют, воруют – проку только... Держу пока – детей их жалко, – говорит Дима.

– Дети-то не при чём. Конечно, жалко, – говорит мать.

– Тут, у меня, хоть школа, десять классов, – говорит Дима. – Выучатся, может. Всё-таки... Бездетных скоро погоню... Мне ни к чему такое счастье. Своего выше крыши. А инфаркт себе я и без них заработаю.

– А где ты путних-то теперь возьмёшь на место этих? – говорит мать. – Негде. Мир один – взболтали, дак во всём оно и мутно. Когда отстоится?.. Крепких мужиков, которых подгонять не надо было – сами надели на себя ярмо и из него, ярма, не выпрягались, – поизвели... это ж долбили да долбили – если не так, дак на войне... а остальных совсем отвадили трудиться. Пьянство – одна у них работа. Своровал, продал кому да выпил – всё и дело... Вон они, на виду, пример рядом... Вроде и люди неплохие... Трезвые когда, дак и живым вроде сквозит... душа-то есть – скрозь тело шильцем.

– Мужики – ладно, то ведь и бабы...

– Пьяная баба – вся чужа. Так говорится. Срамней-то чё бывает, нет ли... И не смотрел бы... Кого на фронт-то отправлять.

– Я каждый день такое вижу, – говорит Дима.

– Го-оре, – говорит мать. – Враг-то от них бы без оглядки...

Смеётся Дима.

Паутина в небе, поблёскивает – штопает его кто будто, небо – чтобы не разошлось – такое голубое – было синее когда-то – проносилось. Нитью серебряной – конечно. Воздух прозрачный – будто отсутствует, но: вкусно дышится им – не насытиться – как перед смертью.

– Встречай, моя хорошая, встречай моя любимая... – это соседи. Незримые. Умолкли. Но то, что умерли-то – вряд ли.

Сели мы – я, мать и Дима – под берёзой на скамеечку. Молчим тихо – на дорожку.

Посидели. Кто что послушали – беззвучие – бывает шумное и иногда на уши больно давит. Я – своё сердце: так колотится – остановилось будто, и: будто вниз сейчас покатится – как камень.

Вертолёт летит куда-то. Стрекошет. *Пожарный*. За спиной у нас. Не оглядываемся: сухо – тайга горит где-нибудь – мало ли – безбрежно.

Минута протянулась – для меня так, ощутимо, для Димы как, догадываюсь, а как для матери – и думать не хочу, чтобы на месте жизни не лишиться; секунды проскочили – не запрудишь.

– Ну, ладно, – говорю я, поднимаясь – как в атаку.

И они встали – Дима и мать моя; мать – медленно, опираясь руками на скамеечку и батожок, охая; Дима – вдруг расторопно – подпекло его что будто снизу.

А у меня глаза на ельник – укололись словно – и слезятся. И так тошно – не пережить, кажется. Пережил.

– Ну ладно, мама, – говорю. И заело будто: – Ладно, ладно.

– Ладно, ладно, – вторит и она мне, словно эхо.

– Как рамы зимние на лето выставишь, – говорю, – мох этот уберёшь, я и приеду... Постараюсь.

– Угу, – говорит мать, не размыкая губ. И говорит, разжав их еле-еле, видно: – Ты бы писал хоть. То зимой-то... Письмо считаешь – легче...

Обнял я её – себя осилил – как противника, душевный увалень – не любо: проявить чувство – как погибнуть. Дрожит она у меня в руках, маленькая: *усохла* – не раскрошить бы. В землю проваливается словно – ускользает. Коровой от неё пахнет – утром-то управлялась – да и запах этот не выветривается, навечно въелся – как никотин в ногти у заядлого курильщика – за жизнь-то. Диму боком чувствую – смущаюсь. Тот взглядом – в сторону – что будто в окружающем нас пространстве выискивает. Пусть уж. Отыщет, может.

Отстранился от матери я – как лист от ветки – оторвался: осень.

– Поехали, – говорю – как повелел.

– Поехали, – говорит Дима – как подчинился.

– С Богом, – говорит мать – подавленная. И совсем уже шёпотом, но разбираю: – Бла-ослови, Господи, сохрани дитя моё в дороге... Ну, и спутника... Спаси их, Господи, помилуй.

Будто в воде – вздохнул и – захлебнулся, ноги в илу увязли словно – и не вынырнуть.

Сели мы с Димой в машину. Тронулись. Как в пропасть. До тракта медленно, словно крадучись.

Назад не оборачиваюсь – умереть можно. И так знаю:

Стоит она, мать моя родная, кровная, по плоти, там, возле распахнутых на полную пята ворот, на малый шаг не сдвинувшись, на том же самом месте, сердцем вколачивая себя в землю, больше обычного ссутулилась, согнулась, будто небо ей на плечи вдруг обрушилось, через силу его держит – лишь бы нас оно, поехавших, не раздавило, и, затенив, чтобы от сол-

нечных лучей зрачки совсем не зачерствели, глаза коричневой ладонью, глядит нам вслед. Нескоро перестанет. А в дом пойдёт... а в дом войдёт...

Перехватил слова кто-то – будто силок на них поставил в глотке – все уловились, наружу не выскочат.

Сижу в машине – как отгородился, но уж очень ненадёжно, – чувствую: грудь, горло и лицо мои вроде при мне, обращены вперёд, к дороге набегающей, а затылка, шеи и спины, словно у злого духа навки, нет – как будто там остались, возле дома. Теперь когда меня догонят?

Родительский дом, главой, хозяином, моим отцом, *смирно послеповавшим* прежде года два, после *без лиш-них слов переселившимся в другие палестины*, почти пять лет уже как навсегда покинутый, Ялань, в которой – Бог назначил мне родиться и пережить счастливо свои детство, отрочество и юность, и проведённые в ней три последних месяца, заполненных, по обыкновению, нескончаемыми деревенскими делами и заботами да тщетными попытками в ненастные и нерабочие по этой причине дни или тихими, если не принимать во внимание гул изредка пролетающих над Яланью совершенно к ней безразличных турбореактивных самолётов, шорох метеоритного дождя да шелест собравшихся со всей округи из густых и чёрных, как гудрон, ночных потёмок и спящих призрачно снаружи по стёклам большого, чуть ли не во всю стену, окна моего чердака-кабинета всяческих безобидных мошек, бабочек и мотыльков, долгими вечерами что-нибудь написать – ни строчки за три месяца, ни слова, – остались позади, за ельником, плотно сомкнувшимся за нами – за Димой, если не *забарахлит* вдруг у него (такая *тюлька* для жены, на самом деле ли) машина или

сам Дима не *сламается* – до нынешнего вечера: назад поедет – разомкнёт; за мной – на сколько, Богу только ведомо; надеюсь, правда, что – до лета.

Ворочусь я в отчий дом –

Жил и не жил бедный странник... – само по себе будто, самочинно, самоправски, как говорят в Ялани, не спрашивая и не уведомляя меня ни о чём, во мне пропелось – как в приёмнике, который только что включили, а услышав это, сразу же и выключили. Нанесло, что называется.

Тут же и Дима, но тот вслух, *с выражением*, как на уроке литературы или с клубной сцены, продекламировал:

– *Кого жалеть? Ведь каждый в мире странник –
Пройдёт, зайдёт и вновь оставит дом...* – будто и он на ту же самую волну настроился, крутя баранку, ненароком. – А-а?! – говорит.

– Ну так, – отвечаю.

– Ну так, – говорит Дима. – Все мы Божьей милостью крестьяне...

– Были когда-то.

Не увернулась от машины бабочка – вроде и ловкие обычно, не жук, не зря сачком-то, поди, ловят – размазалась жёлто-зелёно, хлёстко расчертив стекло, как трещинками, влипшими в него чёрными усами и лапами, – будто для смерти расписалась: я-де согласна – отпорхала. Что уж, отпорхала. Как бабочка такая называется, не знаю. Крылья коричневые, в чёрных, похожих на зрачки, пятнах, с ирисом жёлтым – как глаза.

– Кто, может, и был, – говорит Дима. – Был да сплыл. Пальцем показывать не стану. Я – был, есть и буду – земледелец, столбовой... пока земля носит... Мало грязи мне, ещё и ты тут, – это, всего скорей, уже про бабочку или про то, что от неё осталось. – После, засохнет, не

отмоешь. Сколько всякого ещё летает. Солнышко показалось чуть, и отогрелись... Кое-кто и до морозов..

– Не смейся.

– А что?.. Мокрец-то есть у вас там, в Питере?..

Стою на этом.

– Брюхо не мешает?

– Стоять?

– Не видел. Комаров зато хватает... Земледельничать... Подвальные.

– Чё за подвальные такие?

– Тепло, вода в подвалах – благоприятная среда – размножаются... как тут в болоте или в луже. Мелкие, юркие – не поймаешь. Летает – не слышно. Не уснёшь с ними... ночью.

– Нет, не мешает. Наскажешь тоже... Помогает, – говорит Дима. – От политических ветров... Какие только ведь не дуют – без увесистого балласта заболтает. Шторма нынче на родных просторах такие свирепствуют, с цепи кто будто их спустил... Или... как там теперь... на постпространстве... Борей разные, гиперборей. Нет, парень, брюхо не мешает.

– Заболтает.

– Без намёков... Город-то, вспомнил, на болоте.

– Земледе-елец.

– Земледе-елец... И на костях.

– Каких костях?

– И на болоте... Резина на колёсах, как китайская собака, совсем лысая. Лет ей сколько уж... как и машине... сколько и мне, чуть помоложе. Да город ваш, Петром воздвигнутый... На костях и на болоте... Надо на что-то где-то выменять. Мёду, как плюнуть, флягу спустишь. Сплошной убыток, а не бартер. Раньше на флягу мёду можно было... пол-Аляски назад выкупить. Теперь на пару покрывшек не хватит... Жарки цветут – теп-

ло ещё подержится, и хорошо бы. Пусть бы до марта, я не против. И ромашки... Видел? А то зима-то надоест... подумать страшно: не девять месяцев маленько – снег повалил, баба забеременела, а родила, ещё не стоял. Это тебе там... около Гольфстрима. Как возле гейзеров, хоть парься. Зимой с такой резиной не поездишь... Езжу однако... Хотя и постарше, но не лысый же, – говорит Дима. И говорит: – А брюхо к брюху и – номенклатура. *Скованные одной цепью, связанные одной целью...* Никаким ураганом нас не завалишь. Как чеснок острожный, лиственничный – плотненько-плотненько один к другому, без зазору. Опыт. Связка. Дело-то такое.

– Не подступишься.

– Попробуй сунься... Мутант такой, профессия ли новая – номенклатурщик.

– Вряд ли. Стара, наверное, как мир.

– Вторая древняя?

– Вторая, третья ли, не знаю.

Смеётся Дима – зубы кажет – такой уж он с детства, хохотливый, и зубы у него ровные – под ладошкой их не прячет, есть и ещё ему чем похвалиться – золотой коронкой – играет с солнечным лучом та, будто живая и в хорошем настроении. После: зевнул, поёжился и говорит:

– Не высыпаюсь... будь оно неладно. Червь-душеед точет... тоска-то-злюка. Гложет, гложет... труха только сыплется... на дно души-то... омрачает. Никак от него, нутряка, не отвязаться, никакой касторкой не вывести. Ещё погода тут такая... Романсисисьская. Страда. Ночью – луна, хоть вой, в окно ли выпрыгивай, кузнечики – *пиликают на скрипках*, а днём... вон видишь... сердце щемит – от красоты... *Весь день стоит как бы хрустальный и лучезарны вечера...* Своё, возрастное, со стороны ли – что где подхватил заразное – вселилось?..

Сижу – клюю носом, как курица на насесте, вроде засыпаю, перед телевизором особенно, только лягу – хоть ты тресни. Встаю, брожу как очумелый. Не пить же каждый раз снотворное... Сопьёшься. И червяку – не в сухомятку... Танька уж прятать стала от меня спиртное. Забава с ней у нас теперь такая: я – когда принесу – от неё, она – когда *на лекарство* купит – от меня. *Найди* называется... Валенки на гвозде висят в кладовке, я – в один, она – в другой. Захотел как-то выпить. В какой сам прятал, не помню, а про её не знал, естественно. Полез руками сразу в оба – две поллитры! – ну, думаю, всегда сюда хоронить буду, потом допёр, что Танькин вклад... На сон не больше двух часов. Зимой выспимся, живы будем. Зима-то наша, Господи не приведи... Ты уж, наверное, забыл?.. Мысли, как мыши в бак помойный, лезут в голову. И об одном всё... будто озабоченный... На то оно и *бабье* лето. Это они нас провоцируют, чужие, как будто слаще, а их природа поджигает, осень – про годы им напоминает... От юбок шею уже ломит... Пусть уж такая постоит, чем заненастит. Пусть уж такие мысли, чем другие, то уж совсем... И за державу же ещё обидно. Раньше... Да ладно, хрен с ним, надоело. Коммунисты, демократы – одной свиньи мясо, след от копытца у корыта оставляют только разный... а крутятся-то возле одного... Кто его только наполняет им?

Говорит Дима не подряд, с перерывами – отвлекается на что-нибудь – то в зеркало посмотрит, то в бардачке зачем-нибудь пороется. Это уж я их, паузы-то, стягиваю.

Говорит он:

– Может, останешься дня на два-на три?.. Девочек свистнем – есть в Елисейске на примете у меня хорошие: всё бросят, общественницы, ради доброго поступка –

да на пасеку сгоняем? Я их сметанкой угощаю – ба-
лую. Стройные – медички... Одна есть – бюст – хоть в
боксёры на нём тренируйся, заспать титькой, как мла-
денца, может... Оттуда так же отвезу вот... Медовуха,
баня, тары-бары... Только без озорства и людских шу-
чек. Танька знает, что я верный, – говорит Дима.

– Кто же этого не знает, – говорю. – Каждая собака.

– Хорошо, что только лают, не умеют говорить...
понабрехали бы всякого, при их-то общительности.
Работа у меня подвижная – то там, то тут и ночь, пол-
ночь ли... Не высыпаюсь, в самом деле. С этой убо-
рочной ещё... Успеть убрать бы за погоду.

– Ясно.

– Что тебе ясно?... Ясно, ясно. Нельзя мне портить
репутацию – руковожу... с народом работаю.

– Понятно.

– Тебе этого не понять. А пчеловод сболтнёт чё,
сразу выпоню. Другого найду – не задача. Знает – по-
боится – дорожит местом. Так чё?

– Так чё?

– Поехали?

– Мы едем.

– Они тут у меня – он, пчеловод, Миша Орлов, наш,
деревенский... ты ж его должен знать, по школе по-
мнить... и помощник его, мариец Петя Солнцев...
Стрельцы. Кремлёвские курсанты... Пили на пасеке
вдвоём неделю – к ревизии психологически подготав-
ливались да пчёл в омшаник перенести... дожди-то
шли, погоду так пережидали... Нынче вот... летом.
У Пети коренной зуб сильно прихватило, терпеть не
мог, и медовуха не спасала. Какая с этим уж гулянка – не
расслабишься... Жалел, жалел товарища и полез Миша в рот к нему, на всё уже согласному от боли, с плоскогубцами – зуб выдрать... Челюсть ему

вывихнул, и плоскогубцы изо рта не вынуть – зажало там их как-то... между челюстями. Возил его в город, в больницу – вся поликлиника сбежалась. Едет... тут же, где ты... рот, как у придурка, разинут, а оттуда, как из бардачка, инструмент с красными ручками... и горько, и смешно. Опохмелялся-то как, горе ты моё, спрашиваю. Пальцем тычет в рот себе, мычит, маячит: из кофейника, мол, струйкой. Миша вливал ему, я понял. После, назад уж вёз его, так подтвердил... И не придумаешь нарочно.

Ну и что, подумал я, митрополит Сурожский Антоний, доведённый как-то среди ночи зубной болью, тоже был вынужден прибегнуть к помощи самых обычных клещей, которыми днём вытаскивал гвозди, и выдрал вон из своего рта ими досаждавший ему зуб. По-нашему – по-русски.

Глаза у Димы голубые – плутовски подстроились под небо. Так и сам Дима, когда не спит, лукавый – не в ущерб кому-то, не корысти ради – для общего веселья: скучать не любит и не любит скучных. Компанейский. *Выйтый, один в один, обличьем в дедушку своёва по отцу, в Дениса Полукарпыча, по прозвищу Ёра – шабутного был карахтеру старик, просмешник, но незлобивый, зря не скажешь, напраслины не наведёшь.* Давно тот помер, я его не помню. «Прадед мой был, выходит, полурыба – Полукарп-то, – говорит Дима. – От рыб мы, значит... мои предки. Ну не от рыб, так от хохлов... от казаков, точнее, запорожских». А Дениса *Полукарпыча* и он почти не помнит, внук-то, только: «Серые катанки высокие, как бродни, толсто подшитые суровой ниткой – на полозьях будто, а не на подошвах, с чёрными кожаными латками на задниках, снимал которые он, дедушка Денис, только когда молился *по привычке за монархию и за здоровье ата-*

мана, подкладывая их, мягкие, при этом себе под колени, и ушанка драная-предраная, будто собаки хорошенько её потрепали, а между ними, шапкой и пимами, – рот без единого зуба, в жёлто-седой бороде, провалом тёмным, как дупло, подёрнутое мхом, облаком постоянным дым махорочный, ядрёный, от которого бабушка Фиста, по её *честным и сурьёзным* словам, чуть в *аммонок*, *едва дыхнув*, не падала и сердце у неё *нешшадно* заходило, *бытто у синицы*, так за всю жизнь-мучению совместную-то угорела, ну и усмешка или кашель – вот для меня весь дед мой, дедушка Денис». И это немало – не безродный.

– Дела, наверное, в хозяйстве хорошо идут? – спрашиваю. – Всё хорохоришься да скалишься.

– Да как не хорошо, – говорит Дима, – отлично, на темьян уж если дышут... С такими ценами на технику, на топливо и на запчасти... Гайка для «Кировца» дороже меня самого со всеми моими потрохами стоит. Вывеску надо поменять, под чью-то крышу заскочить ли, то и последнее опишут... Нашёл бы ты мне там бандитов пострашнее: *нет кармана без нагана, а голяшки – без ножа*. На Ислень бы их возил тут, на рыбалку, отморозков, – денег нет, натурой бы отстёгивал, природой то есть... Баня, девочки и медовуха – оттяг конкретный.

– Для них это не вопрос, думаю, где и как порыбачить.

– Ну и ладно, хрен с ними, пусть рыбачут до усёру. Где наша не пропадала... Опишут, после распродадут между своими по копейке и про свой бюджетик не забудут. Грабёж, но всё как будто по закону.

– И тебе ничего не останется?

– Останется... Дырка от бублика, как Федя, помнишь, объяснял нам в школе?.. Оста-авят. Носки

дырявые – и те-то, поди, снимут... Носки-то так уже – из вредности. Сладко куражиться, когда при власти. Власть есть, и штанов можно не носить.

– И веселишься, – говорю.

– Ну так а чё? – смеётся Дима. – Жизнь же на этом не кончается.

– Пожалуй.

– Пойду с котомкой побираться. Мир большой – с голоду не помру... Люди же просят – вроде подают... Петь, плясать под гармошку стану. К цыганам пристроюсь. Фокусы с картами показывать умею. Голос-то у меня какой, ты знаешь. Кого хошь разжалоблю.

– Разжа-алобишь. А не разжалобишь, так... Рыбу глушить ты им не пробовал?

– Идея... Ну, это так уж, в крайнем случае.

– Рыбу глушить?

– Нет. Побираться.

Едем.

«Победа утверждающей технической цивилизации центральной власти в Гражданской войне с русским крестьянством, этим “неудобным” и “реакционным”, по Макрсу, классом, достигнута, – подумал я, словно записывая на бумагу, так, чтобы после записать ли. – Начатое Тухачевским, Уборевичем, Ягодой и Ульрихом, под идейным руководством Ленина, Свердлова и Троцкого, закончилось успешно... Или?.. Как всё же хочется надеяться. Но:

*К нам вести горькие пришли,
Что больше нет родной земли.
И Север – лебедь ледяной –
Истёк бездамною волной,
Оповещая корабли,
Что больше нет родной земли!*

Одна сплошная лесосека, безбожно изрытая гусеницами трелёвочных тракторов и заваленная пнями и вершинником, останется. А лес, в виде куцега *кругляка*, к соседу-*тигфу* откочует. Тому немало надо – многогоротый... Всё-то мы плачем, *деревенщина*, забыв напрочь, что: *на всё Божий указ... И о Родине твоей промыслено*».

Едем.

– Да-а, – говорит вдруг, вздохнув и прикуривая очередную сигарету, Дима. – Втаскивали, втаскивали силком, за уши, голову чуть ему не оторвали, а кому и оторвали, крестьянина в социализм... Там теперь его, похоже, и оставили. Сами, тащили-то, устали – на Канарах отдыхают... Трое суток из машины не вылажу... только пожрать... да по нужде.

Асфальт зимой, как в зной глина, потрескался – перед морозами не устоял – *собачьи*. Починили дорожники его летом – теперь узорчатый от *многого ремонта* – как будто тушью чёрной разрисован – *узор* лоснится, топится на солнце. Тяжёлые лесовозы – гружённые под завязку КамАЗы да КраЗы – пойдут позже, когда зимники *станут*, так что пока ещё и не разбитый. Ровно катится по нему машина, рессорами не скрипит, подвесками не громыкает, хоть и раздолбанная вся, как потаскушка, – так он, Дима, о своей машине выражается, – дребезжит только разной прикрученной слабо или вовсе не прикрученной мелочью, – но тут: *как музыка – у-а-ази-ик* – ещё бы много так не *ел*, дескать, а то бензина на него не напасёшься.

Налево, направо посмотрел Дима.

– Велелепота, – говорит; глубоко вздыхает после. И спрашивает: – Может, на Монастырское, к отцу Иоанну заедем?

– Нет, – отвечаю, – не заедем.

– Он там, в часовенке.

– И ладно.

Разнолесье. Светлое. То и дело, вдруг открывшись, блеснёт справа отражённым небом с плёса, дробно сверкнёт ли солнцем с переката Кемь, *зацветшая*, позеленевшая – *в неё Илья уже пописал*, – то не видать её опять – запрячется – под крутым, высоким яром, от дороги ли отвернёт – к самому Камню – дальше тот уж не пускает. Высятся слева вылинявшие за лето на самом солнцепёке Хребты, другая гряда сопок, поменьше Камня, вдоль которых, подтачивая их, стремится к Кеми быстрая, каменистая речушка Песчанка, по-местному Пешшанка, мыли в которой когда-то старатели золото, моет, быть может, кто-то и сейчас, конечно – *кратче: на хвост-то сядут, не отвертишься – гзбисты или так, головорезы вольные* – теперь и зря уж, может, опасаются, не знаю. Вершины и пологие стороны Хребтов в недавнем ещё прошлом были распаханы и засеивались рожью – к этой поре её уже и дожинали, под беззвучные зарницы, – теперь скоро, будто торопятся, зарастают где тальником, где сосняжком, а где осинником – этот не прозеваает, как осоть на огороде, – расторопен и неприхотлив. Ничего, скоро и его, осинник, соседи наши, китайцы, *закажут*. Заказ старательно исполним – мы такие, скорые на добро.

Едем.

Молчим.

Одной рукой, длинными, мясистыми пальцами с пожелтевшими от табака ногтями, с золотым обручальным кольцом на безымянном, под животом своим на руль её *фасонисто* повесив, Дима правит, в другой у него, в левой, – сигарета. Курит. Буднично – как дышит, без трагических затяжек. Дым выпыхивает

вежливо в открытое оконце, за ним, за оконцем, и сигарету держит после, как затынется: *привык угождать – подвозит часто разных дамочек, а те есть... фифочки такие: там без волнения и скорость-то не преклочишь*. Ясно. Табачный дым спокойно я переношу. Похож Дима – и обличем, и статью – на эстрадного певца Лещенко, не на того, покойного, из эмигрантов – у самовара я и моя Маша, как тот выглядел, я и не знаю, – а на нынешнего, телевизионного. Сигареты «Пётр Первый». В бардачке полно их, пачек пять, а то и десять: *чтобы уж в магазин за ними каждый раз не бегать, не отправлять туда кого ли – запасаясь*.

Я: вперёд лицом – затылка дожидаюсь – тычусь в лобовое стекло машины зрачками, как в помеху, пляжусь во все глаза на лес осенний, разноцветный – родной он тут, исхоженный, как деревенская поляна, – душа за каждый куст и сук цепляется – виснет на них яркими лоскутами – как на колючей проволоке – ещё бы кто, как беглую, не подстрелил.

– Хочу написать про бабушку, – говорю.

– Про какую? – спрашивает Дима. – Русской революции?..

– Русской... Ты тут, смотрю, когда-нибудь хоть подметаешь? Пол в машине... как в конюшне.

– А зачем?.. Иногда, – говорит Дима. – Всё равно же натаскаю... Выходить приходится не только на асфальте...

– Ну как зачем – а дамочки?

– А дамочки потом... Что, теперь для них мне тут соорудить сауну с циркульной и с массажным отделением?.. Обойдутся. Боевая обстановка – так спокойней себя чувствую. Вездеход. Машина военная, – говорит Дима. И говорит: – И в сексуальное наступление в такой в ней легче сломя голову броситься. При марафе-

те-то, ещё Суворов, помню, говорил... Грубость и простота действуют иногда на женщин более успешно...

– Не ври. Прибраться можно же маленько... А то и грязь тут, и трава, и листья, и окурки.

– Травы и листьев человек не видел!.. Свою займешь, в ней и командуй. А то... фельдфебель будто... разворчался. Пешком иди, там и ругайся. Едешь и едешь, – радуется Дима. – И говорит: – Не угодишь.

Чуть ли не сразу под Фомой-горой – и почти резко, разграниченно ручьём, как голубь, воркотливым, с водой, прозрачной, как слеза, и в летний зной, как лёд, холодной, Смолокуренным, животворно втекающим в застойную кемскую старицу, – сменилось разнoлесье бором, то, чересполосно, *чистыми*: выпирающие из земли корявые, словно ревматические, корни – как будто тянет кто-то сильный, выдирая, сосны к небу, вот потому они и выпирают, корни, – жалко, прикрыть, засыпать почему-то хочется их, – бурая, колкая, как иглы швейные, давным-давно отжившая своё хвоя, ягель, как будто мёртвый, шишки палые, ершистые, песок, и только, без былинки, без кустика, то – *брусничным* и *черничным*; с медвежьими ушками и багульником, с повелицей и саранками. Солнце через бор сквозит, через янтарный будто. Таился здесь когда-то лагерьёк: лес *строевой* валили заключённые – остались только ямы от бараков, отличимые по форме и по глубине от дегтярных. Ни колеи в бору, ни рытвины, ни старых тлелых груд – вершины и сучья на месте, конечно, сжигали, а брёвна к Кеми на лошадях возили, на себе ли. *Зэки*. Тут же, в бору, между дорогой и рекой, есть озеро, красивое, одни его называют Яланским, другие – Монастырским, в крутом, высоком берегу которого, как стрижиные гнёзда, были устроены когда-то кельи, полуземлянки. И от

них остались в память только впадины, щербины, вмятины ли. Да вот ещё: *намоленное место*. Во время Гражданской войны кельи осиротели. По одним сведениям, девятнадцать, по другим, сорок монахов – такая вот наша, русская, бухгалтерия, может, и верная, как посмотреть: разве одна душа страдает меньше, чем другие сорок вместе взятые, одинаково в распятом Господе, – словно незрячих котят, утопили заживо те, кто, взбадривая себя *экспропрированными у преступников*, у отчаявшегося от *беспредела* народа то есть, самогоном, бродил тут под красными знамёнами, обозначив себя красными же ленточками, ещё пока без пентафаммы, как знак, они её, звезду пятиконечную, нацепят позже, – не уводили далеко-то – в озере. Чем их отшельники так рассердили, чем так разгневили? – вроде не баре, не буржуи – всей и собственности в келье: ложка, плошка да икона – разве что кротостью своей, своим смирением – такое тоже раздражает, хуже того, пожалуй, *бесит* – когда поклонись иному...

Бор миновали – здесь он неширокий: его окраину, *язык*, пересекает тракт – как перекусывает, а основной его массив уходит к югу, вверх по Кемь, на много километров.

Лисья горка. Древний берег, давно неверною рекой уже, наверное, и позабытый, веретия – спуск простой, прямой, но поворот крутой под ним, *коварный*.

Низина. Затопляется в половодье Кемью и Песчанкой – пойма. Весной здесь, в самый разлив, по дороге не проедешь. На лодке только переправляться, на плоту ли.

– Мужики весной здесь, – говорит Дима, – уток караулят да ошалевших зайцев с островков снимают, как Мазаи.

– Да, – говорю.

Пихтачи непролазные и кедрачи вековелые. А между ними – как проплешины – покосы заливные, еланые – зароды там и там виднеются – в остожьях: *чтобы не убежали* – как лоси в загонах, но похожи они, зароды, больше на мамонтов.

Сворачиваем к обочине. Останавливаемся.

Лиственница. Бросается в глаза – над лесом возвышается – как переросток. Старая, великая, *в три обхвата*, и снизу подгоревшая от весенних лесных пожаров – палов, как говорят здесь, – и с макушки не один раз молниями отмеченная – ствол её в косых, глубоких и широких ранах-трещинах – розовеет из них тугой плотью, но ещё живая – там, в вершине лишь, в опушке, и *листва* ещё зелёная, не пожелтела, и, что у комля её происходит, не видит да уже и не интересуется этим, кажется, – вся вниманием как будто в небе, в лёгком мареве ли горизонта – своё что-то, *листвяжное*, там выглядывает, и пусть ей сбудется, доброе-то.

Я остаюсь на месте. Дима, заглушив двигатель, выбирается из машины. Берёт с заднего сиденья садовые цветы – жёлтые астры и бело-красные гвоздики, – идёт, чуть слышно шаркая каблуками по асфальту, перешагивает грузно через неглубокий тут, песком замытый по весне, кювет, кладёт цветы к лиственнице. Стоит там сколько-то, склонив русую, со сверкающей, как небесная паутина, редкой пока ещё сединой голову, и, скоренько, как крадче, перекрестившись, возвращается.

Посидели молча – как незнакомые. Покурил Дима – подумал будто – сосредоточенно – как о чём-то; табачный дым изо рта у него – сам по себе будто – как своёвольный, затем – в окно и – только его видели – куда-

то, следить за ним, за дымом, – как за ветром, дым – как предатель.

Захлопнул Дима дверцу. Запустил двигатель.

Тронули.

Едем. Дальше.

– Сколько лет бы ему было? – спрашиваю.

– Двадцать, – отвечает Дима. – Послезавтра бы исполнилось.

– Царство Небесное. Крещёный был?

– Сентябрьский... Крещёный.

Молюсь в душе о погибшем – о юноше, о Димитрии, о Димитрии Димитриевиче.

Высоко, неспешно, как в радости, прострачивают небо – бархатным пёстрым швом и длинными стежками – в разных направлениях кедровки – от кедрача до кедрача, до гнёзд своих ли, до хранилищ – редко помахивают крыльями, несуетливо – лёгкие, в небе от них – как многоточие – значительно – о чём вот только? – может быть: о Господе – скорей всего, не о пустом же. Полно и шишки нынче уродилось, рясно на кедрах – ветви от них обременились – гнутся, то и ломаются – бывает. Всем хватит. И людям.

– Десять мешков нынче нашелушил, – говорит Дима. – Так-то вот. Десять. И это чистого ореха. Представляешь? Не Обломов: на диване не валялся. – Смотрит на меня – отвлёкся от дороги, к ней опять, к дороге, обратился – как к чему-то. – Шульц другой-то... или Штольц ли?.. Сколько лет уже не перечитывал. А надо.

– Сам? – спрашиваю. – Штольц... Добытчик. Непоседа.

– Ты – Обломов?

– Я – Обломов.

– Штольц, так Штольц, согласен и на Штольца... Люблю, Илья Ильич, нашу, русскую, литературу – про

нас убогих и грешных... душевная. Особенно – Лескова. Ёлки-палки, «Чертогон»-то. На пенсию выйду – всю перечитаю... Если, конечно, доживу и не ослепну – с такой работой... свои, колхозники, ли не убьют – могут. Порешат и не расскаются. Полный шкаф дома, ещё и на полатах – сестра, Надежда, на талоны покупала, замуж вышла, в город перебралась – оставила. Часть, правда, с выдранными страницами – батя, газет на это дело не выписывал, на козьи ножки израсходовал – на Кемь отправится рыбачить, странички три-четыре вырвет – много успел *перечитать*. Там их, страниц, полно осталось в книге, дескать, всем ещё хватит почитать, мол. Грустная только... Одна «Деревня» вон у Бунина, а «Суходол»-то... Нашелушил сам. Лично, – говорит Дима. – В своей собственной ограде. Шелухи – гора Пик Коммунизма – вровень с крышей. Куда девать теперь, не знаю. Танька ругается: в потёмках-то обходит – когда в баню, под навес ли – завалюсь, мол, кости все себе перелوماю. Их, говорю, в тебе много – штук двести – гипсу не хватит на тебя в больнице, ходи уж, дескать, осторожней... Ваньке, шучу, зимой с неё кататься, санки куда-то не таскать – рядом. Нажил опять себе заботу: сжигать весь этот ворох дома – копоты будет пуще, чем от кочегарки... вывезти ли куда?.. Смола ведь. Лишь бы не делать, говорит... Да просто руки не доходят!.. Нашишковали люди. Заплатил им. Не деньгами, а соляркой. Та для них сейчас что деньги. И тебе привёз маленько... После возьмёшь. Пакет. Там, за сиденьем. Только напomini, вдруг забуду.

Смотрю я на Диму. Он – на дорогу – и говорит:

– Ну не солярки же – орехов.

– Барышень, – говорю, – угостишь, если забудешь.

Не пропадут.

– Не пропадут, – говорит Дима. – Выщелкаются... Зима-то – Господи, помилуй – вечность... и десяти мешков ещё не хватит. Кому-то, – говорит, – и Штольцем надо быть... Вы ж без него и лампочки не вкрутите, гвоздя не забудёте.

– А Ваньке сколько твоему?

– Девятый... Всю жизнь прочешетесь в потёмках.

– Большой, – говорю. И говорю: – Белка нынче будет. Похоже.

– Есть, – соглашается Дима. – Будет. Местная. Не боится пока, невыходная, так показывается. Идёшь, сидит невысоко где на суку, видишь, и дразнится – цокает. Это потом... найди её, игруню. Не всех выбили. Корму вдоволь, так останется. И из других таёжек подтянется, из-за Ислени. Не везде шишки столько. В Томской области вот нет, – говорит Дима.

– Откуда знаешь?... Вроде рядом.

– От людей слышал, откуда... Соболь тоже, значит, подойдёт... Рядом, рядом, а вот нету.

– Промышляешь?

– Нет. Когда мне?..

– Слава Богу.

– Слава Богу, слава Богу... Кто знает, что во славу, а что нет, и мне, комсомольцу-то со стажем, пускай и бывшему, слава КПСС – оно привычнее... Каждый сезон всё, осенью, как путний, собираюсь. Когда, скажи... с такой обузой. И патронами запасся – оборону держать можно, Родину защищать – ружьё расплавится, пока все выстрелишь. Чем зимой ещё заняться – снаряжаюсь... Мальбрук в поход собрался, наелся кислых щей... Столько врагов не наберётся, сколько у меня охотничьего провианта... Вскипел вчера – тосол добавить в радиатор надо, воды подлить ли?

– Смотря откуда набегут, – говорю, – а то и с лихвой неберётся – заполонят... Обуза... Брось. Уйди.

– Легко сказать. Давно бы бросил, кто потянет? Это со стороны легко критиковать да обещать: вот я бы, дескать... Встань – попробуй... Все мы Столыпина, пока ложкой за столом машем да языком мир переворачиваем... А тут и в доброе-то время – Север... Людей жалко. Так хоть что-то где-то да перепадает. У меня, как хочешь, связи – чё продать куда, где чё поклянчить. Не первый год в расколе этом... Ушёл давно бы.

– Связи.

– Связи.

– Всё на связях?

– Да, на связях. И оттуда всё ещё, от прежней власти. Власть, она и поменялась, может, люди – нет: везде все те же. Мир стоит на этом, парень.

– Мне казалось, на другом на чём-то, – говорю.

– Нет, другое только подпирает, – говорит Дима. И говорит: – Смотря откуда – это точно. Их уж столько здесь... как нынче белки... Тихой цапой завоюют, и край Исленьский будет уже не край, а – провинция Хунь-Сунь – производитель лука... Эх, смотать бы, Олег Николаевич, в тайгу месяца на два-на три да подальше.

– Кто не даёт?

– Да Танька не отпустит.

– Ну, помечтай.

– Хоть помечтаю.

– А почему Хунь-Сунь?

– Так просто ляпнул.

– А, – говорю.

– Да, – говорит.

В горку поднявшись, въехали в деревню, словно взлетели в неё, в горку – тоже когда-то бывший бе-

рег – река оставила, гулёна: берег такой – как будто однолюб, река такая – *вертопрашка*. Ну, при такой-то красоте простительно. Полоустно – так она, деревня эта, называется. Кемь была когда-то рядом – чуть деревню не слизала, к часовенке, уже на нашей памяти сгоревшей, подбиралась, подобралась почти, что-то раздумала вдруг, отвернула – и теперь вот от деревни до изменчивой реки метров четыреста. Есть тропинка – люди натоптали, и свои, естественно, отдельно от людских, скотина набродила: чтобы попить и на воду попятиться, – через старицу, глухо и удушливо затянутую ольшаником, крапивой, смородинником, таволожником – *чапыгой*.

– Дом вон... – говорит Дима, ни рукой, ни головой, ни взглядом никуда мне из машины не указывая. На дорогу внимательно смотрит: чтобы развалившихся без памяти и *без задних ног* на ней свиней, разомлевших на солнце, не задавить, – и спрашивает: – Помнишь?

Крестовик. *Листвяжный*. Бурый. А когда дождём его намочит, и в грозу особенно, становится, покуда не опомнится и не обсохнет, сине-малинового цвета, будто и не дождём его облило, а – раствором марганцовки. С высокой, ровной четырёхскатной крышей и с просторным, знаю, чердаком. Под шифером. Шифер древний – махоркой и порохом будто обсыпанный – мхом и плесенью так взялся; в листьях палых – как в заплатках – пока ветром-то не сдуло. Палисадник со стороны улицы и заулка – *буквой Г*. С улицы в нём две старые рябины, чуть ли не сплошь сейчас увешанные тяжёлой картечью оранжевой ягоды, с заулка – тополь, дом под ним, словно игрушечный, – ну а завалится? – не смял бы. Штакетник крашенный – зелёный – однотонный, краска давно уже поблекла.

На одной из штaketин висит велосипедная покрывка – искривилась так: в знак бесконечности.

На дом смотрю, в окна, отражающие улицу и небо, прячущие за этим отражением внутренности дома, бесцельно вглядываюсь, но Диме не отвечаю.

– Сердце болит? – только что серьёзный был, сосредоточенный, опять смеётся.

– Отболело.

Больше того смеётся – неужённый, по-чалдонски если выразиться: в захохотки.

– А как она? – спрашивает.

– Не знаю, – отвечаю.

– Сколько продержится погода?.. Хочу на Таху выбраться дня на два-на три, порыбачить... Да и я давно её не видел. Слышал, одна вроде живёт... Ну как одна... то есть не замужем. Андрей Мунгалов с ней общается.

Притормозил Дима возле ларька. Ушёл молча, дверцу распахнутой оставив. Долго не было его: *калякал*, выяснилось после, с продавщицей.

Вернулся с литровой бутылкой водки. *Сибирская*. Улыбается – как кот Чеширский: сам ещё на улице, а улыбка уже в машине.

– Девка в прыску, как говорил отец твой, дядя Коля, свободная – по-настоящему тоскует, а тут-то чё – то пьяницы, то сопляки, какой с них толк... ей, фигуристой такой, с ними не интересно.

– В чём же дело?

– Я вот тоже... Заеду как-нибудь... Сегодня, может.

– Не сомневаюсь.

– Ночью. Спросил, она тут до утра... Да-а, – включив скорость и трогаясь с места, говорит Дима задумчиво, – настоящих мужиков история, как воробьёв наши жёлтопятые соседи в своё время, выбила.

- Ты же живой.
- Один на всю округу.
- Так отдувайся.
- Ну так... Похоже, место Бог готовит для китайцев... Мы не упустились.
- Помилуй, Господи.
- Глазами на меня, как Ленин – на Почтамт.
- Кто? – спрашиваю.
- Да продавщица, – отвечает Дима. – Интересно.
- Что?
- Да в прошлом веке, в позапрошлом ли уже, может, и издавна, всё сёстры ссорились – Англия, Франция, Россия, Пруссия. Если что путаю, ты же отличник, помню, был – поправишь... Браток подросток теперь – Китай. Ох и, похоже, оседлает он соседнюю сестрёнку... После и до других сестёр, пожалуй, доберётся. С таким числом сперматозоидов... долго не станешь онанировать – утонешь.
- Он не подросток, а – уже дряхлый. Не браток, – говорю, – дедушка.
- Дедушка... Какой дедушка, – говорит Дима, – иной дедушка так насядет, что к кровати пригвоздит, к земле ли... где догонит.
- Надеюсь, что не доживём до такого позора.
- Надежда – дело не последнее. Тебе не жалко?
- Жалко кого?
- Да Родину, а не кого.
- Жалко. И что?.. Историю не мы творим... Хоть зажалейся.
- А кто?
- Да Бог.
- Придумал сам или услышал от кого?.. Тут ещё эта... демография.
- Сегодня ночью и поправишь.

- Сделаю всё, что от меня будет зависеть.
- Уж постарайся.
- Совесть вот только не позволит.
- Своей Татьяне это скажешь.
- Так, о торговле потрепаться.

За деревню выехали, свернули с дороги на поляну, возле ельника остановились. Достал Дима из бардачка, разгребя там шумно пачки с сигаретами и спичечные коробки, пластмассовые стаканы, один в другой всунутые, и завернутое в газету сало солёное, *с прожилкой*. Нарезал сало и хлеб на какой-то, замасленной уже, научно-популярной книжке в мягком переплёте, из бардачка же вызволенной. Бутылку открыл, налил полный стакан.

– Выпей, – говорит. И говорит: – Не переживай. Глядеть на тебя тошно. Буду заезжать, проведывать... Лица на человеке нет...

– Хорошо бы, – говорю. Выпил. Занюхал хлебом. – Лицо, – говорю, – есть, какое уж, не вижу, затылка нет – чувствую.

– Чего?.. Закусывай.

– Да ничего.

– Сколько ей лет?

– Без году девяносто.

– Ого, – говорит Дима. – Нам столько не протянуть... Ещё, смотри-ка ты, и от коровы не отказывается. В её-то годы. Мои колхозники бы так... Никто не хочет нынче напрягаться. Соблазнили всех большими лёгкими деньгами, все и забыли, что в поте лица... Туда, к себе, перевезти её не собираешься?

– Ты чё.

– Ну да... Морщишься – горькая?.. Она там затоскует.

– Как омег.

– Да водка вроде... не палёная. Хотя... Ну, теперь вместе... тоже надо. А то нервишки от забот уже... как у прыщавой незамужней истерички... Уж и на Таньку стал кричать.

Наполнил стаканы.

– Давай... За всё худое и хорошее, – говорит Дима.

– А за худое-то зачем?

– Да так я, ляпнул чё попало... Мичман на Флоте приговаривал... Чтобы хорошее льнуло, а оно, худое, стороной обходило.

Чокнулись. Выпили.

– А не боишься? – спрашиваю.

– Кого?... Гаишников. Да нет, – говорит Дима. – Подкармливаю. Пользуются. Кому зерна, кому комбикорму подкину, то молока или сметаны, то лес кому-то из них выпишу – напилят. Куплены... с потрохами, – и смеётся. – Я тут как папа Карлеоне.

– Ладно, что есть ещё на что.

– Кого там... Теперь за тех, кого нет с нами.

А потом:

Солнце – такое же яркое, каким и было до того, как мы остановились, – не затемнилось, не померкло. Небо – такое же ясное: ни пелены на нём, ни облака. Ни ветра. Ельник – сколько его помню – всё такой же – молчаливый и зелёный; простреливают его тихие почему-то нынче ронжи и сороки, не шевельнут и ветку, не заденут. Даль за ним, за ельником, – голубая, светлая – как и всегда, в хорошую погоду – манит, внушает грусть: жаль, дескать, крыльев нет – то полетел бы.

И я тот же самый вроде, не прервался. Но вот: тепло внутри – не так, как было, – камелёк во мне как будто затопился; сижу мягче – как подплавился; уютнее теперь; затылок – ощущаю – прибыл: догнал, значит, не

утерпел, на своё место в голову мою встроился – как недостающая деталь *lego* в общую конструкцию, вмонтировался – теперь я цельный, целомудренный.

– Полегчало? – спрашивает Дима.

– Маленько, – отвечаю.

– Ну, – говорит.

– Ну, – говорю.

Допили бутылку. Посидели ещё сколько-то, пожмурились на солнце.

Поехали.

Кемь по мосту перескочили.

Тут уж и Елисейск не за горами.

Ислень сияет водной гладью.

Время иначе заструилось – не встречу, а вроде как – попутно, в глаза заглядывая нежно.

* * *

Это всё, Господи, Твоё, а я кто?! – будто прозвучало. Во мне – гулко – как в пустом доме. Кто произнёс?..

Иду.

И день ещё, конечно. Тот же. Красный. Благолепный. Словно икона древняя, намоленная – проповедует. Как не уверовать – предметно, очевидно – без колебаний обращаюсь, без сомнений – сердцем: стучит?.. – колотится – так стало быть – вмещает. Вмещит ли? – ёмкость не безмерна... Ясный – не пасмурный – не под олифой потемневшей – расчищен будто, обновлён. В самом пылу, пусть и умеренном – не летний, не июльский, хоть и пронзительный, проникновенный. Я в нём – как ось, как средоточие, а потому сейчас особенно о нём и не забочусь, мельком лишь, по привычке будто, отмечаю: вокруг меня всё –

раз *по образу*; я в нём – как столпник – среди дня-то. Ну, только – *мушка*... сбоку от глаза... маячит мелко – смущает.

Преполовление.

Иду, содержательный, не раскололся бы – сосуд скудельный, рассуждаю: вот, мол, иду, направился, куда – помню, а откуда – нет, провал полный – из памяти в беспамятство; левой ногой – слежу внимательно за ними, и за левой и за правой, наблюдаю – безукоризненно ступаю, правой – немного заплетаю, словно обмётываю путь свой *через край*, чтобы не растрепался, – этим в отца – и тот был *косопальный*, тот-то уж *шибко* – как *медведь*; походка наша – вместо герба – я унаследовал, не уклонился; у нас она – *по младшинству*.

Иду. Думаю: «Вот ведь».

И думаю: «Ну, ё-моё... Ё – буква самотная, эгоистичная – всё тянет на себя – такая... мне уроком. Я ей, конечно, не подобен».

Подумал. Иду. Сам с собой согласный.

Мальчишка, лет семи или восьми, белобрысый, короткостриженный, бобриком – щетинистый, как ёрш для чистки стёкол ламповых или бутылок, с розовыми, прозрачными, как витражи, на солнце, оттопыренными, будто нарочно отогнутыми, ушами, по-летнему – в трусах и в майке – разжарел, сказали бы в Ялани, тепло-то, мол, тепло, но всё же осень, и я ему мысленно: разжарел, дескать, малый, – со свежее и давно разбитыми коленками, согнав с дороги воробьёв, катается по ней кругами и восьмёрками на дребезжащем крыльями, слабо закрученным звонком и болтающимся багажником велосипеде. Драндулет допотопный, возможно – ЗИФ – из детства моего припоминается; смонтирован из всевозможных зап-

частей – разноколёсый, многоцветный; взрослый, мужской; мальчишка низкорослый, поэтому: *под рамой, шкет, ишшо кататса, с сидення ножками не достаёт* – тоже оттуда же, из детства, даже ко мне, скорей всего, тогда и обращённое – от друга, может быть, от Рыжего, от Вовки. Наехал, зеворотый, на бревно, в торец его передним колесом глухо ткнулся, упал в кювет громко, на велосипед прямо, раскровенив опять себе колени, встал, велосипед не поднимает, смотрит на него без интереса – надоел ему, похоже, транспорт, а занялся им – от скуки – так кажется. *Прогульщик*. Типичный. Нет тут, на улице, других детей – все, конечно, в школе, только этот. Глянул я на него – как отсканировал. Знаю, что в памяти когда-нибудь всплывёт – сам по себе, без вызова, – бывает. И пусть всплывёт – мне родину напомнит – мою *тонгусскую землю*. Люблю-то, Господи, люблю-то... Завидую я ему, мальчишке: тут остаётся, никуда его из дома и от дома не несёт. А он завидует мне? Вряд ли.

Иду. Иначе это ощущаю – что иду-то, как иду ли – необыденно: притяжение земное – его суровая необходимость – вопиет ко мне непредвзято, отчаяннее, чем ещё вчера, к примеру, или ещё сегодня утром, – опекает. Трепетно, милосердно. То ведь и извеляет. Ну и понятно: мозжечок мой, штурман, будто отлучился – разнузданный: чуть что, *маленько я...* так и, про долг забыв – *бегун и хороняка*, брешь, а не штурман, – в *самовалку*... Раз набекрень-то, пусть дуркует. Обойдёмся. Ноги и без него, приноровились вон, управятся. Снуют, чешут. Как по струнке. Медведь, тот тоже косопятый, но догони его – куда там. И я вот... Правда, за мной никто пока не гонится.

Иду. Слышу: *днём денна моя печальница, в ночь ночная богамальница* – так во мне вдруг выкрикнулось –

как откликнулось. Будто опять меня включили только что и тотчас выключили – как транзистор. Смолкло. Шумит – своё теперь, не с чужа: душа моя стучится в перепонки, бьётся – назад, в Ялань обратно просится – так извелась уже, истосковалась – пленница. Я для неё – тюрьма?.. или – тюремный надзиратель?

Иду – по улице – как поршень по цилиндру – впри tiroчку – не заклинить бы, опасаясь. После Ялани так – в ней и обзор иной, свободно: куда ни глянь, повсюду мироколица, там зацепиться можно только взглядом, тут – тесно, сжато, нагорожено, после *маленько-то* – уж вовсе. Надо идти – инерция.

Иду.

Корова, комолая, игреней щери, яростно, словно решила, обозлившись, уронить и перегородить прямо передо мной ими улицу, чешется о деревянный, просмоленный снизу столб – один из четырёх точно таких же, между которыми висит серо-голубой электротрансформатор с убийственной *молнией* на крышке. Корова – молча, трансформатор – гудит что есть мочи, не только от напряжения, но, может быть, и от досады на скотину – привязалась; *малонья* – *сверкат*, но той – корове – *хошь бы хны*. Коров тут, в Елисейске, как собак нерезаных, как в каком-нибудь индийском городе, и ведёт себя эта скотина тут так же, как – в кино каком-то доводилось видеть мне – в Бомбее или в Дели: позволяет себе запросто, не обращая ни на кого и ни на что никакого внимания, расположиться бесцеремонно на газоне, общипать цветы с клумбы возле вездесущего памятника с кепкой в руке и обкаканной голубями и воробьями лысой и *самой умной в мире* головой, или разлечься дружным стадом в центре города – люди обходят их, машины – объезжают, а иностранцы, высыпав чужезыко и пустоглазо, как

причёсанные и помытые, но всё же дикари, с круизного теплохода, – их, коров, фотографируют – такую невидаль. Вот уж ума-то. И у этих, и у тех. Как в памяtnике. То, смотришь, фотоаппарат ослепительно вспыхнул, то он, дикарь, – многозубым *смайлом*. Коровам всё *по барабану* – даже не жмурятся от этих вспышек.

Прошёл. Иду. Пока не клиню. Сама для себя королева так и осталась в настоящем, думаю, а для меня она, комолая, уже, мол, в прошлом. Значит ли это, что я в будущем?.. по отношению к корове, которой... тоже всё *по барабану*, как и всем её сородичам. Надо обдумать будет это на досуге. Пока не думаю. Иду. Думаю: и ей завидую, корове, – та тоже родину не покидает. А она мне? Тоже вряд ли.

Сзади Ислень – давит мне своей многоводной мощью на затылок, тот онемел – не отвечает. Спереди – солнце...

О солнце речь, оно навстречь. Ярое.

Иду. Щурюсь – как мизюра. Как Вий ли, Господи помилуй: веки от света вилами хоть поднимай – ключий – так оцетинился с небес лучами; глаза совсем изнежились ли, обленились – экран компьютера давно уж не скоблили. И вижу поэтому радужно, но полуслепо – из-под ресниц. А рыбе как, с горечью думаю, мало того что в сырости всегда, порой и мутной, та и моргнуть даже не в воле – день и ночь, сутки напролёт то есть, пьался, во сне даже – ни век, у бедной, ни ресниц. Не то что я: только что щурился, как человек, теперь глаза, как рыба, вылупил, могу и вовсе закатить их – ошалеть только от такой свободы – шалею. Иду. По суху. За тварь несовершенную, вынужденную всю свою жизнь мокнуть, пока кто не выловит и к пиву не завялит, переживаю. И о другом

думаю – вразбивку. О чём-то важном, но – подспудно: я ж – как субъект – пирог слоёный. Сейчас – как взболтанный – бульон: что-то щемящее – посередине, что там, внизу, не разглядеть, а тут, вверху, воображаю, будто случилось со мной такое: будто какое-то, неопределимое в обычных единицах, время назад выстрелили меня из пушки крупного калибра с большим давлением в стволе, пульнули, забыл только, с какой позиции и где оно, это артиллерийское орудие, располагалось, – кого-то, теперь мне смутно-смутно представляется, мы с Димой вроде навестили, то ли родню его, то ли знакомых, людей радушных, хлебосольных, где и *маленько...* что-то закрашенное *под коньяк* – это засело в памяти, не потерялось; помню, какой была закуска: хлеб, маринованный чеснок и половинки сладких перцев, красных, жёлтых и зелёных, *казанки-лодочки*, загруженные доверху икрой стерляжьей или осетровой – чёрной. Помню ещё прощальные объятия – будто из нас кого-то *забирали на действительную*, а у других, у провожающих, от горя сердце обмирало. Ушли мы – те, проводившие, бы там не умерли – с тоски-то, – теперь печалюсь.

Ну и иду теперь такой вот, устремлённый, или несусь, кумулятивный, в ласково и приветливо сопротивляющемся моему напору упругом пространстве встречным воздухом лишь не посвистываю, по сторонам, как и положено снаряду, не оглядываюсь, весь в себе, пока не разорвался. Отслеживаю только, словно спутник-шпион или разведчик, при этом искоса – не боковым (тому мешает видеть *мушка*, заслонила), а нижним зрением, – как ладно и согласованно мелькают над дощатым тротуаром, отмеривая и отсылая шагами-метрами его мне за спину, носки моих, уже изрядно запылившихся тут, в городе, башмаков –

мелькают регулярно, без запинки: откуда, не припомню, зато отчётливо осознаю, цепко держу в уме, куда теперь целенаправлен, – поэтому.

Цвета луковой шелухи – чтобы второпях не выпалить другое, хоть и более точное, сравнение, – злобно и основательно потрёпанный явно не комнатно-кухонной, а суровой боевой, походной жизнью и облитый ещё кем-то и зачем-то по спине фиолетовыми чернилами или слабо разведённой синькой зрелых лет кот лежит на аккуратно, словно специально для него сложенной поленнице берёзовых, мелко колотых дров – кто-то его туда закинул будто – не упал же с самолёта. Дрыхнет. С тополя, с нижнего сука, что над самой поленницей, кричит на него что есть духу *большоголовая* и *большеротая* ворона – разбудить его, похоже, хочет – безрезультатно: словно сдох – не шевелится. Жив, не жив ли, может, проверяет – чтобы мёртвому ему в глаз клюнуть, – пакостница. От такого оглушительно и противного на редкость карканья и дохлый бы поднялся – как поленница ещё не рассыпается. Кот же и ухом не ведёт. Мухи на нём не сидят, роем не кружатся над ним – живой, значит, бродяга. И эта сволочь не завидует мне.

Прошёл я мимо, не оглядываюсь; слышу, ворона так и дурногласит – настырная. Не на меня ли перекинулась – мне в спину? С неё, охальницы, станет. Так же, как кот, и я не стану отвечать ей – пусть не надеется. Покричит, покричит, голова у неё закружится, и свалится она, стервятница, бывалому охотнику в лапы – и откритится – зря, что ли, тот искусно так представился... клювом в полено ли воткнётся – никто не выдернет.

Иду, раздумался вовсю и крепко нравлюсь сам себе в своих раздумьях.

На другой стороне улицы, вижу, на лавочке, словно прикрученные к ней снизу шурупами, около зелёных крашенных ворот, сидят плотным рядом, как матрёшки на лотке, три пёстро разодетые бабушки, не разговаривают – прохожего, меня то есть, взглядом встретили и провожают – камеры наблюдения – отслеживают. Этих, как камеры-то, не отключишь.

Прошёл я – не поздоровался с ними – не в Ялани.

Не заблудился: бывал тут не один раз – бессчётно, хоть и подвержен – в тайге, к счастью, нет, но в городе почти во всяком, если он, этот город крупнее Ялани и целиком, как на ладони, с любого места не проглядывается, пока свои пути не натопчу в нём, не обвыкну, не помогает мне ни брусонец, ни солнце, ни другой надёжный ориентир – топографическому крестинизму. И политическому, кстати, тоже. Но ничего, от этого, как от тоски, не умирают.

Шёл, шёл, думал. Теперь вот:

Приближаюсь, приближаюсь. И приблизился. Не разлетелся на осколки – взрыватель будто не сработал. Одно: дом нужный чуть не проскочил.

Частный. (В ряду прочих, не высовывается, не отступает, между двумя почти такими же; и там – напротив; и наискосок; стоят, полная их тут улица, как бобы в стручке, чем-то, конечно, друг от друга отличаются, но остальные – как не вижу; нет сейчас до них мне никакого дела.) *На одного хозяина.* Деревянный – со средней толщины, не обессоченного *химдымовца-ми-короедами* (не знаю, как правильно и назвать этих работников), выжимающими из сосен в лесу живицу, смолистого, как канифолью кое-где обсыпанного, кругляка. Пятистенок. С кирпичной, оштукатуренной и побелённой, подызбицей. Одноэтажный. Крытый жестью, красной когда-то – крашеной, конечно, – ныне

бурой; были облупины – замазаны пятнисто – чтобы ржа крышу насквозь не проела. С простыми – без резьбы, без завитушек – карнизом и наличниками – не старинный – это те-то – как игрушечки. Давно уже его подробно рассмотрел – гостил в нём часто, теперь, приблизившись, подробности в уме лишь перебрал. Без перемен. Совпали вроде. Полгорода здесь подобных, пол-Елисейска. Как в *ранешней, зажиточной* деревне – тут, от России за Уралом, там, в европейской части, я таких не видел. Город-то, слава Богу, соразмерный, человеческий – не вавилонское нагромождение, не сегодняшнее спально-промышленное убожество, не *новорусское* увечье: выше собора нет строения – смиренный городишко... хотя когда-то и *гремел* – сам по себе и золотишком.

Окон в нём, в доме этом, много – глазастый, как пчела, как стрекоза ли; *глаза* сверкают, как слезятся, солнце и небо отражая; ну и меня они, когда приблизился, мне показали, скоропалительно – едва успел признать себя в мелькнувшем: куртка моя отобразилась – по ней; и на кухне – через тонкую, голубенькую, в белый крупный горошек, занавеску просвечивает, – и в прихожей солнечно; уютно – живым, русским духом, как говорят в Ялани, пахнет – совсем недавно печка скутана, похоже, – на расстоянии теплом от неё веет. И камелёк, что у меня внутри, всю растопился, пылает – долго так будет, словно кто дрожа в него, сидит там около, подкидывает. Чувствую. И отрезвиться уже хочется – всегда так, только выпью, только захмелею. Не в коня корм, что называется. Ну а вот надо... Одержимый. Чем бы уж добрым, то ведь... ладно, себя стегать не очень-то удобно, пусть уж другие постараются, я потерплю. *Будь снисходителен к себе, не засуждай себя. Господь пришёл не ради пра-*

ведников... – это я сам себе когда-то читаное повторил – вникаю. Тут же другой мне кто-то будто:

Не позазрите на мя, господия мои и братие, веи бо и аз свою худость и зазираем бываю совистию... – выслушал это.

Голос его слышишь, а не знаешь, откуда приходит и куда уходит...

А по ограде пробежал когда, не пробежал, а чуть не с боем прорывался, кобель – и знал, но вспомнил о котором, ворота за собой, как в западне, уже захлопнув, – было меня не растерзал. Чудом горе не случилось. Ладно, что он на привязи, и я, задумчивый, не знаю, как спроворился: к стенке откинулся молниеносно, по стенке тенью – и протиснулся – так не достал, лохматый ксенофоб – ещё и хуже бы назвал, да воздержусь, – не дотянулся, злобное чудовище. Мне уж, нос к носу, и вовсе показался. Баскервилей отдыхает. Зять, Володя, муж моей двоюродной сестры Наташи, прицепил его тут с таким умыслом, вымерив чуть не до микрона, – безопасно с улицы влетевшему и так же вот, как я, ворота за собой захлопнувшему опрометчиво, шанс предоставил – лишь возле стенки проскользнуть. Сторож. Не прозевал. За харч усердствует. А я такой ещё: *маленько...* – он уж, учуяв-то, и пуще разъярился. Пнул бы его, но, раз мечтался, пни попробуй: цепь натянул – как та и выдержала только, – навис передо мной на задних лапах, передними – мне воздух возле носа вентилирует – такой матёрый; пасть, оголтелый, распахнул – клыки и дёсны напоказ – ощерился, легонько клацнет, малоумый, челюстями – дырки готовы в визитёре – как от компостера. Но обошлось. Разум немного разве прояснился: где сейчас был и что со мной случилось только что, какого страху натерпелся, сразу-то вряд ли уж забуду.

По обычаю, уверенный, что в это время дня никто, скорей всего, мне не ответит, для порядка – звонка-то нет, так – постучался, открыл тут же дверь, переступил порог, вошёл в прихожую и объявляю громко: «Здрасьте!» – как полундру, как побудку ли дневальный – привык за лето – мать глухая – вот и кричу везде уже непроизвольно, людей добрых пугаю – одним вроде и ладно, а другие косо поглядывают – как на больного или пьяного, напрочь лишённого благоразумия. А она, тётя Аня, на стуле, около стола, спиной к окнам – ноги, моталась по избе, намаяла, передохнуть, наверное, присела только что – лицом к двери уже обращена. «Добрый день, – говорю, – тётя Аня!» – «У-у-у... Я, – говорит, – слышу, что собака вроде лает, и ворота будто брякнули... Не показалось ли, думаю?» – «Лает, – говорю, – лает. Штаны с меня чуть не спустил. Не показалось... Брякнули». – «Да не-ет, – говорит тётя Аня. Поднялась, идёт ко мне навстречу, – он это так, впустую, не сердитый, – и моё как будто повторяет: – Сто-оруж... Уже извёлся на цепито, хоть погавкать». – «Сто-оруж, сторож, – говорю. – Погавкал». – «Олег, дорогой. Здравствуй... Вроде, по голосу-то, сразу не узнала», – говорит тётя Аня, со света яркого, склонила голову чуть вниз и набок – так ей меня, в дверном проёме тёмном, легче, пожалуй, разглядеть. «Тётя Аня», – говорю. «Поехал?» – говорит тётя Аня. «Поехал», – говорю. «Лето, и не заметили, как проскочило, – говорит тётя Аня, и говорит: – Слышу, как будто Буска расшумелся... Да проходи ты, проходи... Старая, глупая – держу-то у порога, будто рассыльного... совсем ума уж не осталось». – «Одна?» – спрашиваю. «А?» – говорит. «Одна, – повторяю громче, – дома-то?!» – «А-а», – говорит. «Глухая. Глуше ещё, – думаю, – чем мама». – «Совсем глухая, –

говорит. И говорит: – Одна. Они, Наталья-то с Володей... кто-то остожье там разгородил, какой-то вредник... поехали наладить... а то коровы доберутся... – смотрит на меня, глаза – как отсветы от неба, и говорит: – А как Алёна там, моя сестрица?» – «Ну как, – говорю я и вздыхаю. – Как уж». – «Да-а, – говорит тётя Аня. – Чё спрашиваю... Хоть бы сюда, к нам переехала, дак не заставишь». – «Не-е, не заставишь», – говорю. «Да знаю, – говорит тётя Аня. И говорит: – Вон и Наталья всё тростит: давай возьмём к себе тётю Алёну, мол. Дак где же... Известно. Не оставит она дом. Единолично жить привыкла». – «Да-а, – говорю. И говорю: – Я на минутку». – «Счас, счас... стою, бестолковая, – говорит, засуетившись, – на стол соберу. Ты проходи, садись на стул вон». – «Не-е, – говорю, – я только что...» Не слышит, пошла она, тётя Аня, гремит на кухне посудой. Сижу: день застыл там, на улице, ещё затылок онемевший ли... а с краю глаза – *мушка*... ну, думаю. И тётя Аня вышла с кухни, несёт – в одной руке тарелку с помидорами в сметане *от своей коровы*, в другой – вилку. «Хлеб на столе... Перекуси. Это пока, – говорит. – Чуть подкрепись. Потом уж и посерьёзней чем-нибудь... Рыба – недавно ею занялась, в духовку сунула, дак – не допрела... Омули». А я молчу, кричать уже устал. «Ты уж поешь, не обижай, – говорит тётя Аня. – Тебе чё, чаю, молока ли?» – «Чаю», – говорю, покорился. «Чай-то вот только что пила... ещё горячий». Ушла снова на кухню. Возвращается с бокалом. «Тётя Аня», – говорю. Не слышит. Села напротив, смотрит на меня. Молчит, молчит и говорит: «Как теперь будет там Алёна?.. Одна в хоромах-то таких... Зима долгая, морозная – тоскливо. Ну, Николай тут будет ездить... хоть на субботу-воскресенье.

Ешь, ешь, – говорит, – не в чужих людях, не стесняйся... Вот где беда-то... Старость подступила. В силах-то, ладно и одной... Случись вдруг чё, на помощь-то не позовёшь. Выть только – разве докричишься». – «Ем я, спасибо, тётя Аня». А тётя Аня – смотрит на меня, на фоне светлого окна, прищуренно – и спрашивает: «К Богу-то не пришёл?» А я – жую – в ответ киваю только: то ли иду, то ли пришёл уже – а что тут скажешь? «Иди, иди, родной, – говорит тётя Аня. – Только к попам не заворачивай – обманут... Скоро, скоро, совсем скоро. Близ дверей. Полынь-звезда уже упала. – И говорит: – Не добавляй больше... вижу». – «Нет, нет, – говорю. – Больше не буду. Это... душа-то не на месте». – «Душу на место этим не вернёшь. Не поддавайся, пусть и просит. На поводу у ней идти нельзя – на шею сядет... Сколько его, вина, зловредного, ни выпей, дело-то этим не поправишь, себе в ущерб только», – говорит тётя Аня. «Да нет, наверное, – говорю. – Не поправишь». И думаю: «Ох, а как горько-то, как горько...»

Засигналила на улице машина. Повернулся я к окну, но не разглядел за ним ничего, ушибленный резко солнцем. Поднялся из-за стола, благодарю тётю Аню. И говорю тут же: «Пора. За мной». – «Во... Соскочил уже. И не поел», – говорит тётя Аня – как испугалась. «Да я поел. Спасибо, тётя Аня». – «Кого там и поел, вот горе. Зашёл бы как-нибудь, побыл подольше, то всё набегом да набегом... погоди», – говорит. Ушла в другую *избу* – комнату. Вернулась. Протягивает ко мне зажатый кулачок – старенький, с искривлёнными пальцами, опухшими суставами, коричнево-пятнистый. Говорит: «Возьми». Догадываюсь я и говорю: «Нет, тётя Аня, нет!» – «Возьми, возьми, милый, не обижай. Дорогой, мало ли, и пригодятся. Нам-то тут

дома... Не пей только больше, не добавляй. Не надо. Но как на тятю-то на нашего, на дедушку, похож». – «Родня всё же», – говорю. «Сильно сшибаць». – «Сшибаю». Взял деньги, держу их в руке – ладонь вспотела моментально. «Кто тебя повезёт до станции-то, в Милуково? Ты же на поезде?» – спрашивает тётя Аня. «На поезде. А вон, подъехали уже... Приятель», – говорю. «Кого из внуков, может, попросить?» – говорит тётя Аня – не слышала, что я сказал, не слышала, как просигналила машина. «Не надо, – говорю. И говорю: – Ну, до свиданья, тётя Аня». – «С Богом, родной», – говорит тётя Аня, не крестит меня. Переживаю. И икон в доме нет – жалко.

Выхожу я на крыльцо, мну в руках деньги, которые дала мне она, засовываю их в карман куртки и про себя произношу: «Научи, Господи, жить и умирать... что и труднее-то, не знаю».

«Не выпадут?.. Не потеряй. Я провожу, а то кобель-то... – говорит тётя Аня. – Да и увидимся теперь когда уж?.. И увидимся ли?.. Господь знает, а как уж устроит...».

Прошли мы ограду. Мирно.

Пропустил меня, не взяв и даже не взглянув на меня теперь, Буска. Лежит возле своей будки, уткнулся мордой в свои лапы – пайнька. Но вижу: ушки на макушке. Такой – как будто безобидный.

«Он это так дуркует от безделья, а так-то смирный», – говорит тётя Аня.

«Когда спит», – подумал я, но не сказал.

Вышли мы за ворота. Стоим. Тётя Аня лицом к солнцу, я – от.

«Ну, я пошёл».

«Ну, с Богом, милый... Ты уж пиши ей... раз хоть в месяц».

Держит меня за руки – прощается; в глаза глядит мне – молится: зрачки через меня – к небу.

«Конечно».

«Господи, храни и наставляй».

«Привет Наташе и Володе... Жаль, не застал».

«Летом уж, будем живы, приезжай... Как снег сойдёт, так все глаза там проглядит – так тебя ждёт-то».

«Конечно».

Земля в ноги вцепилась – не отпускает: она – магнит, а я – чутунный. Но пересилил – человек.

Повернулся. Пошёл. Как за слюдой глаза – под пеленою – солнце их атакует, вот и спрятались, – до рези. Иду. Чувствую – будто проваливаюсь во что-то зыбкое и рыхлое, как погружаюсь, – и ухватиться вроде не за что, только за воздух – и тот как будто разределся – почти бесплотный: чаще приходится вдыхать. Но – шаг за шагом – утверждаюсь. И передумать успеваю – одновременно всё, как Юлий Цезарь, – пока к машине продвигаюсь, – давно уж думанное-передуманное, и тут вот повод:

«Ох, как горько-то, как горько... Почему так получилось?» – Задаю этот вопрос, но ответа на него не получаю. – «И не с кем-то там, а с нами». – И опять так – рассуждаю-то – словно записываю; конспективно, после как будто разверну: – Родилась она, тётя моя родная, Анна Дмитриевна, красивая, помню, женщина, теперь красивая старуха, в год начала русской смуты, всепопирающего мятежа, за месяц до *октябрьского* уголовного переворота, в – том же, естественно, где мама, – *глухам* таёжном волостном селе Большая Белая, или Бельске, бывшем остроге, поставленном от набегавших с *Тюлькиной землицы* на первые русские прикемские поселения *злых нехристей, кыргызов*, – за тысячи вёрст от взболтанной революцией столицы.

Времена не выбирают, – будто записал я это, скоренько подумал и продолжил: – Но, предоставь такую вдруг возможность, предложи ей, тётке Ане, поменять и место и время своего рождения, она, уверен я, не согласится. «Когда бы мы ни родились, и где, а искушения сносить придётся. За всё благодари Бога, Господа твоего, – как-то сказала она мне, когда мне было это напрочь неприемлемо и непонятно, мало того, и неприятно, казалось это мне тогда обычной человеческой серостью и жалкой, *деревенской*, забитостью (я же уж был тогда *продвинутый*: читал всю Хемингуэя; *битлов*, *кримов* и *роллингов* слушал; ну, лет шестнадцать-то тогда мне уже стукнуло), – и за хорошее, и за плохое, за всякую нечаянную радость и посланную тебе скорбь. Без креста к Христу не ходят. Это в другую сторону – как с горки; туда – один, оттуда – тысяча». Только потом уже, много позже, станет для меня *предметным и очевидным*, что это – *писал, писал*, остановился – шага четыре до машины, – задумался, двоечник, после подсмотрел будто в чужую тетрадку, к Ивану Александровичу Ильину, отличнику, и *дописал, списал*, вернее: «не пассивная слабость, не тупая покорность, а напряжённая активность духа». Ну вот. А когда отца её, *тятеньку*, раскулачили-расказачили и со всем его семейством отправили с обозом – и я как будто (*до ущему сердца*) был в обозе этом – *из Сибири в Сибирь*, было ей, значит, лет двенадцать, а когда в том же составе выслали их уже за Полярный круг Игарку строить – тринадцать. После войны, за фронтовые заслуги братьев и отцов, Москву отстоявших, разрешили великодушно желающим вернуться на родину. Никто из наших не остался там – в Игарке: *земля и наша вроде, но не родина*. Вернулась тётя Аня. Вышла вскоре замуж за Плисовского Владими-

ра Степановича, бывшего фронтовика, а в ту пору молодого председателя маленького колхоза, родила впоследствии шестерых детей – трёх мальчиков и трёх девочек. Сыновья её, мои двоюродные братья, Виктор, Василий и Иван умрут один за одним, но в зрелом уже возрасте – *от разного*. Пережила и это тётя Аня. Как? Не знаю. Можно догадаться. Но не видел, чтобы плакала, – тайком-то. Дочери же, сёстры мои, все, слава Богу, живы, берегут, как могут, свою мать, хвала и честь им. Одна, Наталья, живёт с ней, Галя и Валя – поблизости. Владимир Степанович председательствовал, а тётя Аня воспитывала детей. На работу её, как врага народа и как *богемолку*, не принимали. В сорок восьмом году, через три года после окончания войны, с пятью детьми на руках, выслали её в Хабаровский край *за тунеядство*. Мужу её было предложено остаться – вот изуверство, так уж изуверство – изобретательны на это бесы. Но Владимир Степанович жену и детей не бросил, а, отказавшись от председательства, поехал за семьёй. В пятьдесят шестом году, после смерти *главного Мучителя*, отбыв на чужбине назначенный срок, они возвратились домой, но обосновались уже не в деревне, а в городе – в Елисейске.

Машина, дверь – до ручки только дотянуться. А я – дописываю будто, и будто так – не успеваю:

Из православной семьи – казаки-крестьяне, русские из русских, – с матерью, Анастасией Амвросиевной, и с бабушкой, *баушкой Марфой*, в детстве и в церковь православную ходила, *Христорождественскую*, – стала вдруг тётя Аня пятидесятницей. Не в один день, конечно. И не только что. А там ещё, в ссылке, в Игарке, или после уже, на хабаровском лесоповале, – сама она не рассказывала, а я не спрашивал, не лез ей в душу.

И не встретился тётке Ане, к великому моему сожалению, в её мытарствах свой Стрельцов Пётр Андреевич, отец Арсений, старец, иеромонах, заключённый номер 18 376, воспитанник оптинских старцев отца Анатолия и отца Нектария, чтобы утвердить её в прежней, *родовой-то*, вере, а попался ей на жизненном пути какой-то агент злополучного мистера Парэма.

Итак, если скажут вам: «вот, Он в пустыне», – не выходите; «вот, Он в потаённых комнатах», – не верьте...

Без крестного знамения, без предстояния перед иконой. Без апостольской благодатной преемственности, без силы святых таинств. Без дорогих для сердца русского Святых. Без благообразного православного батюшки.

И так печально представлять мне и *дописывать*, что будто села она, моя родная тётя Аня, отделившись от матери своей и *баушки* Марфы, моей прабабушки, и от меня в какой-то степени, в ладью и поплыла совсем по другой, неведомой нам, речке, не сливающейся с Пельшмой, Учмой, Выгой, Чуругой, Обнорой, Елдой, Сянжемой, Андогой, Коряжемой, Ковдой, Куштой, Авнегой, Пешношой; Пёсьей Деньгой, не проплывая под горой Сторожей, возле городов Саров, Свияжск, около Соловецкого, Красного и Анзерского островов, по Радонежским и Комельским дремучим лесам, через Троице-Сергиеву Лавру и Оптину Пустынь. Так уж печально.

Но: признаёт ведь тётя Аня Пресвятую Троицу, наличие в человеке первородного греха, божество Спасителя и Его искупительную жертву, любит и Господа, и ближнего своего всей душою, всем разумением своим и всею крепостью – уверен, да и вижу, – носит тяготы других и терпелива к скорбям – знаю, – а тем закон Христов и исполняет, так что не зря ли я

печалюсь? Разве у Господа-то меньше милосердия, чем у меня? Если и *власы уж изочтены*. Утешусь этим.

Подумал так, тут же подумал и обратное. Никак в этом не определюсь, беда-то.

Сел я в машину, оглядываюсь на дом, который только что покинул, вижу – в воротах тётя Аня – глядит на нас из-под ладони – старенькая, мамы младше только на два года; прямая – не сгорбленная. Рукой нам: с Богом, дескать, с Богом. Крестным знамением не осеняет. Я её – мысленно.

Дверцу захлопнул.

Я – на заднем сиденье. Сажу. Молчу. Дима – на переднем, но пассажирском. Спрашивает, ко мне не оборачиваясь:

– Всё?

– Всё, – говорю.

– Попроведовал?

– Проведал.

– Ну всё, так всё... Уец, поехали.

За рулём племянник Димы – Женька. Лет восемнадцати. Ещё и не служивший. Смирный. Послушный. «А куда денется, – говорит про него Дима. – Зарплата – от меня: зависит, как щенок от мамки».

Поехали.

Не оборачиваюсь.

Смотрю вперёд – между двумя затылками – племянника и дяди; мой – тот опять как будто приотстал; догонит, может.

Молчим.

Спрашиваю после:

– А почему Уец?.. Уец, уец... ни от кого не слышал, только от тебя. Что за уец?

– Надькин сын, сестры. Племянник, – говорит Дима. – Бабушка Фиста так всё говорила. – Уец – пле-

мянник. Сам не знаю, по-каковски?.. Взял вот... Я – поддал-то – дальше не могу: те, милюковские, гаишники ещё не куплены мной с потрохами, – смеётся.

– Понятно, – говорю.

– Понятно... На выезде магазинчик будет... винный, продуктовый, – говорит Дима Женьке. – Притормози там.

Едем.

С двух сторон в глазах теперь *мушки* – похожие – как сёстры; слева и справа ничего теперь не вижу из-за них – так заслонили... Перед собой только – как из танка.

И на него, на город, я не обернулся.

Но цицероновское вспомнил:

«Здесь моя вера, здесь мой род, здесь след моих отцов; я не могу выговорить, какой восторг охватывает моё сердце и моё чувство...»

* * *

Как ни длился, вспоминаю, этот день, будто растягивал его кто, как экспандер, вижу теперь, всё же закончился – для меня в этом году, дай Бог не в жизни, на моей *тихой* родине, в бывшей *Макутской волости*, последний, к сожалению: только что солнце закатилось, упало в *Самоедию* – если смотреть отсюда, где стоим мы, – под Ялань, косым, но выверенным Творцом всякого движения падением, озолотив вокруг Ялани венец обеззвученного предвечерием густого ельника, обагрив угоры и поляны, богоозарив – в честь неизбывного престола – стены обезглавленной и осквернённой когда-то неустанными строителями обезбоженного ими мира церкви *Сретенья Господня*, запалив и оплавляя под самым куполом небесным свечи

поднимающегося из огородов дыма от собранной в кучи и сгорающей там и там картофельной ботвы, бархатно вычернив *глазницы* брошенных, полуразвалившихся домов и плеснув будто, как живой водой, на прощание в подслеповатые *глаза* ещё жилых клюквенным морсом... и тому, новому, большому, что на излобке: *хорамине*... Долго теперь, мол, не увидимся, до встречи. Нависший охраняюще с востока над Яланью Камень, с остывающею на нём за день накипевшей пеной лиственниц и сосен, как раз сейчас, в эти минуты, на фоне чистого, аквамаринового неба, принял малиновый окрас, скоро угаснет, потускнеет, позже, поднимая и раскручивая над собой, если всё в мороке не скроется, бессчётно-звёздный полог, скромно погрузится во тьму, сольётся с ней: день на нём длиннее, чем в Ялани, – и встречает солнце раньше, и прощается с ним позже – Камень. Ночь в село через него вползает – неизменно, вот уже без малого четыре века, с самой первой, проведённой там, на *пустомелье*, приплывшими на стругах по Кеми или пришедшими водораздельным волоком от предыдущим летом лишь поставленного Маковского острожка казаками-первопроходцами – может быть, и бессонно: опасались местных, сидящих по ручьям и речкам, воркотно и прозрачно втекающим поблизости в Кемь, и правящих о лещадки самородные и без того остроющие ножи намазских остяков или *заворовавших* и забредших в *воровстве* из-за Ислени *злых тонгусов*. Себя меж ними, казаками, в стане представляю – не представляется: Ялань, какая она есть теперь – состарившаяся, *разорённая*, мешает, ещё ж и... *мушки*... и само я ещё: *маленько*... Сердце встревожил только – ульем загудело. Но не кирпич – уймётся, успокоится – на то оно и сердце.

На перроне мы. Не одни. Малоллюдно – хоть и не как в лесу, но – как в Ялани. Группами – как для игры какой-то будто разделились – так мне кажется. Все говорят – как шепчутся – будто таятся. Это от предвечерия – так, думаю – людей оно смущает. И только мы – ко всеобщему сведению – ничего ни от кого не скрываем. Нам и скрывать, конечно, нечего – простые, как войлок. Я и Дима. Женька – тот в рот воды будто набрал – безмолвный, как его дядя выражается: рядом со старшими не вякает – похвально.

Уже и поезд подогнался. Сам по себе будто – по виду-то его – такое впечатление. Попыхтел, полязгал, погудел распорядительно. Туда-сюда, с пути на путь, вдоль молчаливых, солидных *товарняков*, порожних и гружённых *лесам, круглым*, покатался, маневрируя. И замер – около вокзала. Как ребёнок – играл, играл – да и сморился. Вскоре и объявили: номер такой, маршрут такой и через столько, дескать, отправление. Далеко, пожалуй, слышно. Лысый, с пшеничными усами, машинист, или помощник машиниста, разбери их, в высокое окно кабины, как из ходиков кукушка, высунулся, облокотился по-хозяйски – народ разглядывает, кого везти ему и тех, кто провожает тех, кого ему везти, – любознательный; не курит. Закоптелый, как печная выюшка, локомотив, старенькие, но чистенькие почему-то – вагон общий, вагон плацкартный, ничем один от другого не отличающиеся, ни снутри и ни снаружи, только ценою на билеты, и купейный – весь и поезд. С горки, в дороге-то, разгонится – и сам не свой от радости, развеселится – так кажется, в горку едва-едва уже взберётся, хоть, озаботишься, выскакивай да помогай ему, подталкивай. Стоит у каждого столба, бурундуков и зайцев пропускает, с каждой коровой разговаривает – такая про

него молва сложилась. Но *свой* он тут, незаменимый. Поголосуй среди тайги – он, несомненно, остановится. Так от деревни до деревни – на юг, в *землицу Тюлькину* – десять часов – не спать-то если, изведёшься.

Стою. Думаю: как бы нуждающимся всем помочь, не за большим, хотя бы моим близким, не знаю уж и чем, в тяжкий для них момент побыть бы с каждым, поговорить, послушать, поприсутствовать... стакан воды подать, и то бы дело? – ни средств, ни времени – жизнь так сложилась – суета. *Заела* – так, точнее и не скажешь, – как вошь тифозная. Везде сразу, мыслью лишь разве, не окажешься. А жаль. Стою. Сокрушаюсь – что не исполнимо. Со всех сторон – как обложило – и не вырваться. Потом: гордыня – думаю – она, изворотливая. Молиться только. Если и волос с головы... Но так непросто: ведь *человек*, известно, *звучит гордо* – погни тут шею, поклонись, высокоумый, – трудно. И вспомнил: «...живёшь не так и не там, как и где бы хотелось, а где и как приводит непостижимый Промысл Божий», – Святитель наш, Епископ Кавказский, Игнатий Брянчанинов к сестре своей родной Елизавете так в своё время написал – и сохранилось. Прочитал когда-то это я, давно, теперь вот вспомнил. Память у меня такая – сама по себе живёт, особенно тогда, когда *маленько* я, – вовсе уж как чужая, мне не подвластная.

И Дима с Женькой – те стоят. Рядом. Рослые. Только один в *комплексии*, другой – тощий: *каши мало в детстве ел* – про второго первый говорит так. Тоже о чём-то, поди, думают. Они-то, ладно, никого пока из своих, немощных, горевать в одиночестве надолго не оставили. В иных тревогах.

Собака, *бамжиха*, пожилая, с вислыми ушами и хвостом, с беспристрастным, как у судьи, взглядом, с

сиреневыми проплешинами по спине, серой, как у волка, *поношенной*, рубашки, привстав на задние лапы, с головой в урну с мусором сунулась, пакет полиэтиленовый оттуда извлекла и подалась с ним в зубах, как со щенком, от нас подальше, но неспешно; повалилась в траву под акацией, пакет меж лап под мордой положила, но пока его не трогает – то ли кого-то поджидает, с кем ей надо будет честно – по любви; по иерархии ли – поделиться, то ли просто с удовольствием в пакет забраться не торопится – толк в своей бродячей жизни знает.

– Погода завтра начнёт портиться, – говорит Дима. Без интонации – как об обыденном, о безразличном будто – по-крестьянски. Смотрел он только что сквозь клуб выпущенного им из себя табачного дыма на пылающий горизонт, пристально и с грустью, после просеменил глазами весело по мне, теперь уже по сторонам блуждает ими. – Похоже, завтра и испортится. Как пить дать, – говорит. И говорит: – Девки вон с тобой поедут. Хорошенькие. Всё, что положено, при них. Фигуристые. Как рюмки. Одна из них – как контрабас – дак та особенно... с мешком зелёным – с рюкзачишком...

– Тлеешь в похотях прелестных.

– Ну уж. Я – по-отцовски... Штанишки нравятся на них – смешные... Как пионерки. Может, пионервожатым к себе возьмут?

– Напросись.

– Да и мордахи, глянь-ка, милые. Сколько их, долгоногих, развелось – вроде и радуется, и беспокоит... В наше время таких не было. Или в башке у нас опилки были, а через них кого увидишь... Ещё одежда много значит... Кольца в пупах – привязывать кого-то... или – к кому-то?.. И чем их кормят? От молока

да картошки такими не бывают... Куда едут, зачем едут? Оставались бы... Женька ещё вон не женатый...

– Ага, о Женьке озаботился.

– О ком ещё... Поедешь, к ним не приставай, а то... я знаю.

– По себе, – говорю, – не суди.

– А ты другой, ты марсианин?.. Эх, до Исленьска, что ли, прокатиться?.. – Сигарету докурил Дима, окурок метко в урну бросил, другую достал, не вынимая из кармана пачки, помял её, сигарету, в пальцах, от спички прикуривает – ветра нет – не заслоняет. Коробок спичечный в руке всё время держит – чтобы, хлопая по всем карманам, не искать его каждый раз долго. – С уборочной... дожди направятся – прибьют, снег ли повалит... не успею. А-а... Не до жиру, быть бы живу. Верно?.. Есть листвяжок на Подъяланке – продам – от покупателей пока отобоя нет... И сосняжок на Богоданном. Пусть вырубают – нарастёт...

– Осинник, – говорю.

– Ну, чё, сначала и осинник – всегда так... Людей-то надо чем-то выручить – живут без денег... Я про колхозников своих, – говорит Дима. – Застрелят они меня... или утопят... И никто не узнает, где могилка моя... Точно – испортится погода.

– Похоже, – говорю, глядя как замороженный в окна с *фирменными*, раздвинутыми на края занавесками будто объятого изнутри пламенем вспыхнувшего там вдруг пожара, а снаружи окутываемого быстро наступающими нежными сумерками *моего* вагона с открытыми, прибранными купейными клетками, в одной из которых как-то придётся нынче ночевать мне. И думаю, вспомнив почему-то, Царство Небесное, про Диминого сына: «Вот – как название – “Предтеча”... Кто раньше в вечность переступит, и как от

этого зависим мы, часа своего не знающие, но пока ещё здесь пребывающие неисповедимо – в изменчивом и временном... У Димы – сын, в четырнадцать годков, а у меня – отец, в полных восемьдесят пять... Прах их, того и другого, давно уже покрыт землёю... И между нами, живыми и мёртвыми, смерть – непроходимый ров, перегородка или пустота – преодолеть которую способна лишь молитва... Бывает так – как будто слышишь». Это думаю, а через сердце, словно разрывная пуля, прорвалось вдруг: *Сниду к сыну моему сетуя во ад* – и опять, откуда и какой снайпер пулю эту выпустил в меня, не понимаю. «Вот ведь, – подумал я. – Вокруг, вовне и ничего такого вроде – подозрительного».

– Да чё похоже-то, испортится, – говорит Дима. – Стопроцентно. Обещаю. И на небо не заглядывай, мой метеоцентр – мои суставы, всё сообщили уж – не ошибаются. Ты нет, конечно, – птица перелётная, а мы-то с Женькой тут увидим, ещё и сутки не пройдут, может, уже сегодня ночью – в тёплые края на зиму не отлетаем... Турецкий берег нам не нужен.

– Да не особенно и тёплые...

– Могу поспорить, после проставишься, когда назад приедешь... что изменится...

– Не буду спорить.

– На ящик водки. Проиграешь. Дождь-то, ладно, пусть немножко и помочит, давно не было, если на месяц не зарядит... не подопрёшь... снег бы сразу не посыпал – очумеешь. Такое зарево, и к бабке не ходи, – не на тепло и не на ведро... Вроде на севере уж выпал. Где-то, в Игарке, или выше... Краем уха чё-то слышал, то ли по радио, то ли – откуда... Табак трещит – курю – примета верная – тоже никогда ещё пока не обманывала: на что кивнула, к тому и готовь-

ся, – не государственные синоптики – зря только деньги получают... Мне посулили – сводку дали на всю осень: сухо чуть не до Покрова – хорошо бы, если так. Никак не верю. Оно – и явно – высушит, так думаю, и скоро... Уж разойдутся, так уж разойдутся... В Питер хорошую от нас увозишь. А та ничё... как контрабас-то.

– Туда попробуй привези – своя не пустит.

– Сырость?

– Да широта-то та же самая.

– Раз на костях да на болоте... Со школьной парты ещё помню. *Все мы учились понемногу, чему-нибудь и как-нибудь...* Федю, историка, помнишь?

– Помню.

– Поэмы нам свои читал всё. Вам, поди, тоже... Служил-то где он?.. Про Корею... Вот уж где чудик, так уж чудик. Как заведёт – на полурока: Бу-бу, бу-бу, бу-бу, бу-бу – складно... А нам хорошо: не спрашивает – и ладно. Тихонечко и в карты можно было перекинуться... на папиросы. Думал, он – русский, он – татарин. Фарид. А то всё – *Фёдор Николаевич*. Или – Фарух?.. Узнал, когда его в могилу посадили... Тут, в Милуково, на татарском... Муса Джалиль. И как ты там, Олег, живёшь? Не представляю, – отправил Дима в небо табачный дым, смотрит на меня весело и продолжает: – Я один раз на юг, в Сочи, съездил – никуда больше не тянет, мне заплати ещё, я не поеду. У нас тут вон... оно – и дома... Опять на Таху не схожу, не попаду – занепогодит... А ни послать ли Женьку нам за водкой?.. Уец, давай-ка, ноги молодые... Время есть ещё, успеем. На дорожку надо выпить.

– Не успеем... Мы уже пили, – говорю.

– Ну, тоже вспомнил! – говорит Дима. – Когда это было... И на какую пили-то – на ту ещё дорожку...

Мы ж добрались – благополучно. Теперь на эту... Тебе и нам ещё тут ехать...

– И на дорожку пили и в дорожке.

Уеу стоит около. Помалкивает иронично, щурится чему-то – как хитрый. *За рулём*: трезвый – поэтому. Но кажется, что – пьяный, кажется так: пьянее даже нас.

Оба рыжие – и дядя, и племянник – не по природе – от заката. Так-то – русые – как пакля. И зрачки у них – в охре – заря осыпала, опудрила, что распылалась над Яланью. Свои зрачки – чувствую – как два гвоздя: затылок ими пробую приколотить... то разгулялся.

Тоска, тоска – такая: Господи!.. Силюсь, силюсь – как Андрей Юродивый... Не получается. Конечно. Кто Андрей и кто я.

Неслышно, как к глухим, подступил к нам почти вплотную бич – так приближаются, чтобы обнять или зарезать. Ниоткуда будто появился. Как мистер Уинстон и его пёс Казак – *бамжиха*-то, материализовавшаяся тут, на перроне, около нас прежде своего хозяина, – с *хроно-синкластического инфундибулума*. С запрокинутой, как у нюхающего ветер зверя, вверх ноздрями пипкой носа и с провалившейся навсегда в череп переносицей на битом-перебитом, мятом-перемятом, не жёваном только, но светлом и спокойном, как выдыхающаяся водка в поминальном стакане, лице. В парусиновой бейсболке с розовым целлулоидным козырьком, надвинутым на затылок. Под бейсболкой кудри – как у Александра Блока, поэта-декадента. Костюм – как от Армани, модельера. Без галстука – стильно. Под пиджаком зелёная, как национальный флаг Ливии, футболка. В растоптанных, заляпанных оранжевой краской зимних полусапогах с расстёгнутыми до упо-

ра, сломанными скорей всего, молниями. Без носков. Пахнет – как цветок. Резко – как щёлочь. Чем-то ещё – неузнаваемо. Сунулся *мистер Уинстон* в ту же урну, которую только что обшарила *его собака*, как опытный шпион за секретным контейнером – будто обыденно, несуетливо, ничего там подходящего для себя, наверное, не обнаружил, но на лице его ни тени огорчения от неудачи – как в бесконечности – и не убавилось, и не прибавилось. Выпрямился. Поджарый – как русская псовая борзая. Смотрит – мимо и небрито – куда-то – аж завидно. Сложил грязные, заскорузлые, с ярко-синими, как у негра, ногтями, пальцы *викторией*, маячит, как немой, Диме: закурить, дескать, не будет? – а нас с Женькой вниманием не удостаивает – мы для него не существуем будто. Угостил его Дима сигаретой. Заложил *космический бродяга* сигарету себе за ухо – под пегие *блоковские* локоны. Показал после бровями на стоящую рядом с урной пивную бутылку – можно, мол.

– Бери, бери... санитар, – говорит ему великодушно Дима. – Тут, поискать-то, их полно, наверное... ещё в траве вон.

Подобрал бич бутылку, остававшееся в ней на дне пиво, вывалив язык на подбородок, выплеснул себе в свободный от зубов рот и, словно свежее яйцо, устроил бережно посудину в кошёлку, пипкой носа протыкая, а ноздрями сипло втягивая в глубину свою сопротивляющийся вяло тёплый ещё воздух, побрёл прочь, как-то сразу ссутулившись и обвиснув, но громко шаркая теперь обуткой по асфальту – чуть-чуть, кажется, та с ног его не сваливается, хлябает – как-то удерживает – наловчился, – пересидеть где-нибудь какое-то время до обратной материализации в каком-нибудь другом пункте Вселенной? – а почему бы нет,

вполне возможно; и мне бы так – и тут, и там-то... без поездов, без самолётов. Стою, завидую. *Завидушый*.

– А что, в общий или хотя бы в плацкартный не было билетов? – спрашиваю у Димы, проводив взглядом поникшего и сгорбленного – от непривычной для него здесь, на земле, быть может, гравитации – *мистера Уинстона* за угол какого-то давно, похоже, до *Перестройки* ещё, начатого, но так и не достроенного белокирпичного сооружения: я в машине, помню, оставался, за билетом ходил Дима.

– А в купе, чё, гордый, не доедешь?.. Так же, – говорит Дима. – В одну сторону, по тем же рельсам... *Шестьсот-весёлый* – одинаково, другой тут не ходит, этот только – *наш*. Часто курсировал на нём когда-то – еженедельно, ещё на праздники, почти на каждый – было же время. Сейчас меня заставишь разве... Хотя, убавить бы забот... Живот и тут не помешает.

– Деньги...

– Отдашь, когда разбогатеешь. Наври сначала про меня, но – положительно – условие, строчи после хоть про бабушку, хоть про дедушку всех русских революций и переворотов, хоть про Ивана-царевича и Серого волка, книжку подпишешь мне – и мы в расчёте... Подружка в Гачинске жила, вот это де-евка, ты бы посмотрел, тебе бы я не показал, теперь под Минском где-то – за границей. Было на что в упор и издали уставиться – как на пожар – не оторвёшься... Куча детей уже, наверное... Мечтала. Так ли молола языком – они на это мастерицы: и чем уж только, лишь бы заженить, сладкоголосые, не завлекут – сирены... Уши развесил, простодырый, воском их сразу не заткнул, тут тебе вскоре Скилла и Харибда... А мне тогда – какие дети! – сам понимаешь: секс важнее был, чем дети, секс здесь и сейчас, – говорит

Дима, – а дети – там, как ангелы, в необозримом. Это теперь: дети – как долг, а секс – как обязательство... Забудь про деньги.

– Нет у нас секса, – говорю.

– Нет. Согласен, – говорит Дима. – Как и ангелов – не видел. Мы обязательства не любим, у нас хоть плохонькая, но любовь, или из ненависти – тоже... Секс – это спорт – для олимпийцев – те пусть потеют... Правда, и сексу-то у нас с ней было – год к ней, пока в армию не забрали, ездил, а снять с себя мне разрешила только тапочки – всё остальное, дескать, после свадьбы. А служил когда, всем ребятам сны снились нормальные, если не ввали, а я всё тапочки во сне снимал с подружки – на этом дело и кончалось – какая служба... Подъём крикнут, слетишь с койки, как очумелый, одеваешься, а *снятый* тапочек в руке – мешает... пока совсем уж не проснёшься. Так, с этим тапочком, и дембельнулся. Танька меня уже лишила девственности, так в оборот взяла – не пикнул... За лётчика выскочила, – говорит Дима. И уточняет: – За военного. Она – подружка. Танька – за меня. У них там полк стоял... Стоит, наверное, куда он делся, если китайцам самолёты не продали... вместе со взлётной полосой. Пока я честно барабанил срочную. Оно и правильно: кто лётчик, и кто я: тот – полетал по небу, полетал орлом, приземлился и – до следующего полёта сидит рядом, в глазки тебе, любимой и единственной, из-под пропеллера на фуражке заглядывает, в ушко про штопор, бочку и про мёртвую петлю нащёптывает жарко, за ручку, как за штурвал, держит... одной рукой, другой – бомбит грамотно точечными ударами по эрогенным зонам, а я где – Ди-има, Ди-има?! – нету Димы, далеко Дима – на Чукотке, чумазый, мучаясь по ночам с твоими тапочками, готовясь

с ними стать отцом-героем, в автобате лямку тянет, дальние рубежи Родины укрепляет, – смеётся Дима, умело отбиваясь от заката золотым зубом. И продолжает: – В пятницу – к ней, туда, а к понедельнику – обратно, в поезде только отсыпался... в общем вагоне, правда, до купейного не добирался – казалось дорого...

– Ну вот...

– Ну вот... Баран – *избега*лся – обычно, а я – баушка Фиста так и говорила: паринь, сувсем изъездился, ни рожи, мол, ни кожи – как бытто колышек обглоданный. Дело известное. Ох, ёлки-палки. До сих пор, как вспомню, так будто спирту неразведённого поллитру залпом выпью... Вот уж где жэншино-то было... И тут, и тут – миниатюрная, но это... Что-то почтовый-то не подцепили?

– Дорого, – говорю. – Купе. Пересидеть мне где, какая разница, в каком... и в общем можно. Ночь-то – не сутки.

– Писем не пишешь матери, и нечего возить вон... Я говорю: почтового не вижу... На этом не выгадаешь, – говорит Дима. – В постель завалишься... Пересидеть... Тебе и разница. По-путному хоть отдохнёшь. Там же готово всё – постелено. Нет, сказали. Есть, конечно. Им дорогие продать надо – для мамы, мама – государство, сами-то – чё они имеют с этого?.. Не знаю... Билеты левые, фальшивые? – так это вряд ли – теперь же всё через компьютер... На *контрабасе* поиграешь... В одном купе окажетесь вдруг – может... Она такая – для отдельного... С тобой мне, что ли, прокатиться?

Смотрю я на Диму, думаю, он, как и я, *маленько*... больше ли? А – *как огурчик*. Я же – *маленько*... и *маленько*.

– По старой борозде, – говорит Дима. Сказал, достал после сигарету. Курит.

– Скоро от курева зелёным станешь.

– Зелёным – ладно – Таньке спокойней будет на меня глядеть... Врачи в зелёных же халатах.

Пришагал вразвалочку к урне – всех к ней, единственной на перроне, всю местную фауну, на мёд будто, притягивает – голубь, *сизарь* – грудь на заре его переливается пунцово-фиолетово, идёт, налево и направо франтом поворачивается, как кавалер перед дамами раскланивается, и всё поклёвывает что-то, от каждого нашего движения крыльями резко взмахивает, но не взлетает – кушать хочется.

И воробей, упав с неба камнем, присоседился к голубю, тоже поклёвывает что-то – и тоже, видно, опасается – глазом-дробиною скорострельно изучает нас.

– Мунгалову, Андрюхе, позвони. А то забудешь, – говорю. – Предупреди. Кто меня встретит?

– Милиция, – говорит Дима. – Тьпу-тьпу-тьпу, не приведи Господи... Чур нас от них, а их от нас, не к ночи будь упомянуты... Да не забуду, ты не бойся, я из ума ещё не выжил... Смотри, а небо-то какое... Как на Канарах.

– Я не боюсь.

– А ты куда-то глядя на ночь... Добрые люди по ночам, Олег Николаевич, не шляются. Сейчас нашли бы куда съездить. Водитель есть – и увезёт, и привезёт – доставит в целости-сохранности... Я на Канарах, правда, не бывал. А ты?.. Ты всё в Ялань... И как ты там живёшь – без бабы?.. Целое лето... С ума сойти, тут только тапочком не обойдёшься... Вряд ли уже когда и побываю. Но небо-то везде, наверное, одно и то же. Чё нам Канары, у нас на пасеке не хуже. А то поехали?.. Ты не заботься, – говорит Дима. – Не пе-

реживай. Тебя проводим, к Ляпину заеду... Директор молокозавода... Номенклатура высшей пробы – такого пуза ты не видел – топор об него можно поправлять... Здесь по пути. А от него и позвоню... Мне за сметану много задолжал он. Денег у красного директора, а по совместительству буржуя, море, а за рубль бабушку родную порешить может. Держит ротвеллера – того вот любит. И ест с ним с одной миски. В постель к себе только не кладёт – ещё откусит... Я, правда, свечку не держал...

– По городскому не найдёшь, – говорю, – звони на сотовый.

– Как скажешь, – говорит Дима. И говорит: – Да не забуду, не забуду. Андрюха – сволочь предпоследняя – ещё найди его попробуй, но постараюсь.

– Да уж найди, – говорю. – Постарайся. Поезд мой с Исленьска ровно через двое суток. Ждать столько на вокзале – усохнешь.

– К Нинке пойдёшь, перекантуешься... Размочит.

– Лучше уж на вокзале.

– Дело твоё. А я бы – к Нинке... И коньячку тяпну у Ляпина – не удавится... Только сначала дозвонюсь... А ты не хочешь?

– Не хочу.

– А я бы тяпнул, – говорит Дима. – Подружку с Гачинска вспомнил, и, как мальчишка, растревожился. Ещё и спирту попрошу. Неразведённого... Времени сколько?.. А?! Ох, ё-моё, а где часы-то?! – Уставился Дима с изумлением на голое своё запястье, со светлой поперечной полосой на загаре – ей, полоске этой, будто удивился. Перевёл взгляд на меня – и я его не меньше будто поразил – часы-то я украл как будто. И говорит: – Смотрел же только что, ведь были!.. Он – бич! – зараза, скоммуниздил!.. Тёрся, тёрся, вот... умелец!

Сигарету-то когда ему протягивал... И ты проверь свои карманы... Уец... А-а, у тебя ни денег, ни часов – ещё счастливый... Ох, паразит!.. Каких уж вроде где ни навидался, а тут, стою, как ротозей, не понял, – говорит Дима. Смеётся. – Продаст ведь, сволочь... за бутылку – прогадает, если за две ещё, то – ладно... Во, марсиянин. И ему, инопланетному, выпить хочется, хоть и без печени уже, без почек – по роже видно, по прямой, как через шланг, протекает... Как нам теперь без времени-то с Женькой?

Полез я в карман, в один, в другой сунулся – и успокоился: всё на месте – паспорт, ключи, водительское удостоверение, книжка телефонная, билет на поезд, ну и деньги – и мои, и те, что тётя Аня мне дала *в дорогу*.

– Не спёр?

– Не спёр.

– Ну, слава Богу... Да к вам-то он не приближался. Это со мной – маленько не обнялся. Хотя такой и за два метра выудит – настроил цапки, а с виду – попа вроде круглая... Скажу Ляпину – всех тут на уши поставит, всю местную шелупень вздыбит, перевернёт всё Милуково... вот уж не город-не деревня... Отыщут... Пока предание свежо... Ох, ты! Орехи-то забыли! – говорит Дима. – Сбегай, Женька, принеси... Красный мешок полиэтиленовый, там, на полу, у заднего сиденья... слева. А не отыщутся, шут с ними – уже давно их собирался поменять... теперь, наверное, и поменяю... На три минуты в сутки отставали... И не заметил, как... Ловкач. Ладно, чё злюсь, пусть пользуется – хоть на бутылку заработал – день для него прошёл не зря.

Ушёл Женька. Вернулся с орехами.

– Принёс? – спрашивает у племянника Дима.

Молчит Женька.

– Принёс, – отвечаю за него я.

– Вот, – говорит Женька, кивая на мешок.

– Вижу, – говорит Дима.

Уложил я мешок в свой рюкзак – поместился.

– Ну, – говорит Дима. – Пора, наверное, тебе залазить. Уец, рюкзак... Пойдём, проводим.

– Да сам я, – говорю.

– Ещё наносишься, успеешь, – говорит Дима.

Подхватил Женька рюкзак. Пошли мы. Тут, рядом.

Подступили.

– Добрый вечер.

– Добрый вечер.

– Ты, – говорит Дима проводнице, разглядывающей подробно мои паспорт и билет на поезд, после меня – ещё внимательней – как стосковалась, – его, поедете, не обижай, это мой друг, – говорит Дима. – Наш... из Ялани. Нос, видишь, русский – не кавказец... А мы зайдём, посмотрим, как устроится, и выйдем... Ага, красавица?

– Тока недолго. И не подумайте там распивать, – говорит *красавица*. Серьёзная. Лет тридцати. Красивая, на самом деле. Глаза – закат, в тени стоим, их не хватает – ясно-голубые, без ржавинки. И униформа ей к лицу. Волосы рыжие – от хны, густые – под беретом – едва тот их сдерживает.

– Вот распивать-то, жалко, нечего... Не будем, – уверяет её Дима.

– Пошевелитесь там, – говорит проводница.

– Успеем, – говорит Дима. – А не успеем, с тобой до Гачинска прокатимся.

– Ага!

– Или его проводим до Исленьска.

– Тогда я вызову милицию.

– Не надо.

Дима смеётся, проводница улыбается.

Поднялись мы по очереди в тамбур. Прошли гуськом по проходу – Дима первым, я последним, – нашли моё купе. Открыта дверь. Втроём втесняемся – *пошевелинуться* негде.

Сидит в купе, за столиком, мужик. Руки на столе, пальцами в замок стиснуты. С бородой. Нос крупный, кирпичом будто натёрт – это, уж точно, от заката. Ничего больше в мужике не замечаю – не до него мне пока – мельком лишь по нему глазами пробежался.

– Во, попутчик, – говорит Дима. И говорит *попутчику*: – Здорово.

– Здравсте, – отвечает тот.

– А девка тут не заходила? – спрашивает Дима.

– Не видел, – отвечает попутчик.

– Значит, не заходила, раз не видел, ту бы заметил...

Рюкзак под лавку положи, – велит Дима Женьке.

Поднял Женька полку с аккуратно застеленной на ней постелью, устроил на бок рюкзак в ящик, опустил полку на место.

– Постель поправь.

– Она не сбилась.

– Вижу... Время есть ещё, пойдём, – говорит мне Дима, животом подталкивая Женьку. – Ведь говорил – за водкой сбегать надо было.

Вышли мы в обратной последовательности из вагона. Стоим на платформе. Прощаемся. Обнялись раз, другой раз обнялись. Крепко.

Небо светлое ещё, но на земле уже смеркается – мягко-мягко обволакивает.

Луна в небе. Подточенная. Кто-то из неё как будто шпонку начал делать. Старееет. Не тот, кто делает, – луна.

Вороны из тополя, совсем ещё зелёного, без желтизны, выпрыснули – как будто кто-то их оттуда жменей выпшвырнул, поорали, погалдели, в небе ошметьем чёрным поболтались беспорядочно и опять в листву, как блохи в шерсть собаке, втиснулись – снова не видно их, не слышно – и о чём там только думают?

– К тётке Елене я заеду, отчитаюсь, – говорит Дима, натирая ухо мне своей щетиной – за день, успела, отросла, как у *абрека*, благо, светлая, не видно. – Буду заглядывать – Ялань-то проезжаю. Не унывай... Сегодня – нет уже – назад, домой, скорей всего, поеду поздно, ночью – кое-какое дельце тут наклюнулось... не смейся... а завтра утром – обязательно... в город мне надо будет... совещание.

– Хорошо бы, – говорю.

– Пообещал ей мешок комбикорму, – говорит Дима. – Тогда ещё, на той неделе. Вот прямо завтра же и завезу. Нечем корову, жаловалась, подкормить... Раньше лафа была, теперь проблема с этим... Но в девяносто лет... Олег... не знаю...

– Ладно, – говорю. – Завези. А деньги?..

– Какие деньги?!

– За комбикорм.

– Да перестань... Жаль, – говорит Дима. – Будет не хватать. Сильно. Когда и мимо еду, без заезда, знаю – тут ты – как-то спокойно... Полсердца будто отрывается... Ну. Возвращайся. Будем ждать.

– Ладно.

– Ладно... Деньги отдашь, когда разбогатеешь.

Объявили отправление – далеко разнеслось.

Опять из тополя вороны выпорхнули – как будто выдавил их кто-то – сок так из стиснутого фрукта вылетает – брызгами, сок необычный только – чёрный. Прочь теперь сразу улетели, около не болтались.

Расселись вразнобой по полувагонам, гружённым лесом – лиственницей и сосной. Помалкивают – как мишени. Смотреть будут, как поезд мой поедет, – расписание знают. И я про них догадываюсь: *ушлые* – не просто так там притихли – что-то затеяли.

– Всё, – говорит проводница. – Хватит вам уже прош-шац-ца. Счас будет трогац-ца.

Обнялись мы с Димой. С Женькой попрощались за руку. Ещё раз с Димой обнялись.

– Да вы ишшо мне, мужики, тут расцелуйтесь, – говорит, посмеиваясь, проводница. Говор – чалдонский. Взгляд – лукавый.

– А чё, возьмём и расцелуемся... Можно с тобой, – говорит ей, отстранившись от меня, Дима. – Нас уго-нашивать не надо долго.

– Ага, – отвечает ему проводница. – Стою, об этом гока думаю.

– И я тоже, – говорит ей Дима.

– Ага. Конечно. Обойдётся.

– Ну, всё, – говорю.

– Давай, – говорит Дима. – Счастливого пути. До будущего лета. Возвращайся. Ждать – и мы, и Таха – будем... Соберёмся всё же, может, сходим?

– Сходим, сходим... Бог даст, сходим.

– Ну, давай, – говорит Дима. – И не грусти там.

– Куда денусь, – говорю, – стану.

Поднялся в тамбур, зашёл в вагон. Никого в коридоре. В большинстве купе двери настежь – без пассажиров. Тихо. Красная ковёр-дорожка. С рыжими поперечными на ней полосами – от заката – там, где двери-то открыты. Свет не включён – только от улицы – и того пока хватает.

Тронулся поезд – плавно, без дёрганья. Разгоняется надсадно.

Смотрю в окно на Диму и на Женьку, они с перрона – на меня, душа моя съёживается, сжимается – как поролон – тот-то бесчувственный, душе вот – больно. Скрылись из виду дядя и уез.

«Бог даст, до встречи, дорогие».

А так уж хочется, чтоб дал-то.

* * *

Постоял я в коридоре. Посмотрел в окно – тоскливо – острое у неё жало, у тоски – *аседия* – глубоко проникает.

Зашёл в купе. Сел на свою постель. Сижу.

Заря ещё вовсю пылает – над Яланью.

Мужик молчит. Борода у него русая, неухоженная. Словно дичка – как растёт, так и растёт. Заступом. Расчесал бы, мельком думаю. И думаю, его забота, я-то так, лишь отмечаю, пусть хоть в валенок скатается, веником-голиком ли торчит – он ей хозяин. Лицо продолговатое. Возраста моего мужик. Так, в бороде-то, лишь примерно угадаешь, а на самом деле сколько – непонятно. Но не старик – определённо. В самом прыску, сказал бы мой отец.

Смотрим – в окно оба; я – назад, откуда уезжаю, он туда – по ходу поезда.

Сидим – незнакомые – попутчики.

Позади осталось Милуково. Червяком обполз его состав наш. Протяжённое – вдоль Ислени – на многие километры. Ощетинившееся всевозможными подъёмными кранами, безразлично оттеснившими людей и их жильё от всё ещё живописного берега. *Флагман Российской лесной промышленности*. Миновали по задворкам, захламлённым *флагманскими* отходами – горами горбылей, обрезков и опилок, кое-где незатуха-

смо, изо дня в день, из года в год, зимой и летом, дымящимися, пуще торфяников. Тайга пошла – одно название, тайга – давно уже вырубленная, *в войну ещё* – на нужды оборонки, на гробы, остатки – жалкая. Там и там торчат по горизонту высокие, облитые зарёй, словно глазурью, лесины, – как-то топор с пилой не добрались до них за это время, – несменно родину мою осматривают, пока не высохнут, не упадут ли; а я – за них душой цепляюсь малодушно – оторви меня не больно, Господи, до времени, после – смогу когда – приблизь.

– До Гачинска? – спрашивает мужик. Голос у него сильный – простуженный, наверное; кричал ли перед этим на кого-то долго; острым перцем сжёл ли горло? Бывает. Водку с уксусом когда ли перепутал? Мать ли у него, как и моя, глухая?

– До Исленьска, – отвечаю.

– А-а... А я до Гачинска. Мне ближе.

– Ближе.

– Чуть не вполовину.

Сидим. Молчим. После:

– Да как раз что вполовину... Сам-то откуда, с Милюково? Вроде, по взгляду-то, не местный.

– Нет. С Ялани.

– Там живёшь?... Или оттуда родом?

– Родом.

– Знаю. Бывал в Ялани... в Маковск ездил... Собаку, лайку, покупал... у старовера.

В купе темнеет.

Небо гаснет – в последний раз будто. Изумрудное. Только по горизонту – полоса оранжевая – вянет.

– Красивая деревня, – говорит мужик.

– Какая? – спрашиваю я.

– Ялань.

– Была когда-то.

– Само место... Разорили... Чё, может, выпьем? – говорит мужик.

В окно он уже не смотрит – смотрит на меня.

– Да нет, наверное, – говорю. – Спать буду.

– Ещё ж не ночь... Я сына своего родного только что убил, – говорит мужик.

«Ну, ё-моё», – думаю.

Полез мужик под столик, порылся в сумке, вытаскивает оттуда литровую бутылку водки, ставит её на столик. «Сибирская».

«Ну, ё-моё», – думаю.

– Может, и не убил, – говорит мужик. – Убил-то – вряд ли...

Полез опять под столик, достал из сумки два пластмассовых стаканчика – будто на собеседника рассчитывал, меня предвидел, банку солёных огурцов, домашних, пакет с жёлтыми и чёрными свежими помидорами, кусок сала с *прожилкой*, буханку ржаного хлеба, разместил всё это на столике и говорит:

– Другого нету... Всё свое тут, кроме хлеба... Соли не взял, забыл... для помидоров-то... но остальное всё солёное.

Вынул из кармана бренок складник, раскрыл его, о рукав пиджака лезвие с двух сторон, наскоро его поправил будто, вытер. Настроенный. Не нож, конечно, а – мужик.

– Чистый, – говорит, – ничё такого им не резал вроде... поганого-то... давно валяется в кармане, – и говорит: – Но по башке его нормально тюкнул... сына. Чё в руке – не знаю как и – оказалось, тем и... это... приголубил... Выдергой, – в глаза мне прямо смотрит, неотступно – как в объектив прицела или фотоаппарата – будто снимается для документа, ими, глазами,

не мельтешит – чтобы не смазались на снимке. Светлые – голубые, может, или – серые. – Ну чё, дак это?..

– Ну давай, – говорю. – Только немного, – и я такой какой-то – подчиняюсь.

– А чё тут, литра, разве много?

«Ну», – думаю.

– Да ладно, – говорит мужик. *Порушил* хлеб – крупно, по-деревенски, *ломтями*; на одном из ломтей порезал тонко сало – то не успело ещё разморозиться, размякнуть. – А огурцы из банки прямо... рукой, наверно, вилок-то раз нету. – Свинтил с хрустом с бутылки крышку, разлил по стаканам, бутылку поставил. И говорит: – Ну чё, дак это... Раз тут вместе. За всё хорошее, как говорят. Ну не за встречу же – не расставались... хотя и встретились – за встречу.

Чокнулись. Выпили. Закусываем. С водкой лихо он, попутчик мой, управился: одним глотком, выдохнув прежде резко из себя весь воздух, запрокинув голову, выпятив вперёд бороду и локоток отставив по-гусарски, мизинец отпружинив, – как будто ртуть, свинец расплавленный ли в себя влил, а жуёт, вижу, вяло, неохотно. И я тоже – не оголодал.

Молчим.

Огурцы острые – попробовал я, – свежепросольные.

– Вкусные, – говорю. – Ядрёные.

– Нормальные... Последние сорвал вот, перед заморозками... С пупырышками. Эти уж специально – на закуску... исключительно. Зиму, посмотрим, как продержатся, задрябнут, может... Соли-то путней не найти... теперь ведь химия сплошная, – говорит мужик. И говорит: – Достал.

– Что? – спрашиваю. – Соль?

– Достал... Как клоп.

– Достал?

– Да сын... Володька.

– У-у.

– Ну, по второму, – говорит мужик. – Чтобы про первый не забыть.

– Да нет, наверное, не буду, – говорю.

Выпили по *второму*. Закусываем. После:

– Тащит всё... Тащил ли уж... Оттаскался... Не знаю. Вряд ли – не со всей же силы, не с размаху... Тюкнул легонечко, конечно, ну дак... Стемнело быстро... за окном-то, – на окно метнул глазами. Занавеску пальцами пощупал. И опять на меня смотрит – как из прицела потерять меня боится будто. И говорит: – Ну, всё подряд. Кому понравится... Как росомаха – та хоть к себе, а он – из дома... Серёжки золотые, ладненькие, с маленьким камушком, жучки такие, наподобие, у матери... не у моей, конечно, у своей... моей-то бабы... были – продал кому-то, так и не нашли. Найди там. Скупщик какой – тот разве скажет. У них там свой – какой-то проходимец – и не прижмут и не посадят – как будто так оно и надо... а-а, заодно они, наверное... менты-то с ими... И менты – жулики, многих-то смолоду я знаю, и эти – одна холера... От кого-то ей, серёжки-то, достались, может – от бабушки еёной... Всё и не вспомнишь и не перечислишь – много чего перетаскал... Бельё постельное. Посуду. Книжки... Морис Дрюён. Ещё какие-то, забыл уж... Джэк этот... Лондон... Всё про Север-то... Когда талоны были, покупали, – взял со стола складник, сомкнул и положил его на место. – Так не успел, не все и прочитал... В тайгу с собой брал, на охоту... Чё загнать где только можно, он-то в курсе, то и тащит... Про деньги уж не поминаю – не держим дома, спрятать негде – все закуточки-щели уже вынюхал... когда какие заведутся. С деньгами-то теперь не шибко просто, рань-

не пошёл и заработал... Чтобы на эту-то... ему... на дозу. А я за лето тракторишко себе сделал... Пусть худо-бедно, как-то пробиваться... Ты не геолог?

– Я?.. Геолог.

– Ну, сразу видно – с бородой-то.

– И ты?.. Ты тоже с бородой.

– Да я-то так... ленивый... бриться хлопотно. И где-когда там, в зимовье-то, для кого... Привык уже, и вроде не мешает, – взял со стола и снова разомкнул складник, нарезал им помидоры на четвертинки, положил его на место. – Чудные – чёрные, и кто такие вывел... Зато теплее с ней зимой – и шарф не надо... с бородой-то... Ешь... Соли нет, так с огурцом вон... или с салом... можно. Намучился, конечно... с тракторишком... собрал из разного – железа-то везде, старья... сначала побросали, теперь опомнились... успел. Весной огородишко вспахать, и где чё подвезти – без техники-то худо. Дизель... Это – давай за тех, кого уже нет с нами... третий.

Выпили мы, не чокаясь. И говорит мужик:

– Господи, помяни... Всех тех, которых Ты прибрал... на море и на суше... Третий – положено... Ещё со службы... Почти готов... где болт, где гайку – мелочи остались... А пускачишко кое-как надыбал... сейчас же это... выменял у одного – работал с ним на механическом – на самодельную тушонку. Своя. Сам – из лосятины, несной ещё – закатывал. Ну, положил его, пускач-то, в гараже на полку. Радуюсь: для кого дефицит – а у меня имеется он, приобрёл. Сегодня, дескать, уж устал, а завтра, сам себе думаю, пристрою. Резьбу нарезать... Вечером – выходил в ларёк за пивом, а после – глянул: нет!.. хватился чё-то... Ты не куришь?

– Нет.

– А я курю... Никак не отучиться.

– Кури.

– ...но потерплю... В лесу, в избушке, курево закончится, дак долго дюжу – траву жухлую, солому из матраса или крапиву прошлогоднюю – возле ручьёв, в логах, её полно, всю зиму высится над снегом, где его меньше, – не заворачиваю... Не займу пока уж у кого-нибудь, когда и так – до возвращения. Нормально. Не помираю... без табаку. Я – паперёсы. «Беломор». Когда уж нет, и – сигареты. От этих – кашиль... забиват, нутро всё наизнанку вывернет. Пришёл домой. Ничё, спокойный. Истопил баню. Помылся. Не парился. Сижу. В чистой рубаше – в этой, на мне-то вот... под бородой, поди, не видно... Причесался. Смирный. Включил – по телевизору чё-то... болтают... эти... пупы у девок... голые. Сплошная пакость. Баба на работе – нянечкой в детсаде... И он заходит – сын-то, Вовка – глаза... как этот... наркоман-то. Раньше не понимал, теперь сразу вижу: обдолбанный – обдолбанный и есть – как придурок. Так чё-то взмыло – и от себя не ожидал... не за пускам, не за серёжки... как накатило, взял и тюкнул... Придёт нормальный, думал, и поговорю... Может, и так вот, сядем, дескать, бутылочку разопьём, потолкуем... Выдержга, под рукой, в углу стояла – провод стальной вчера как раз на ней расплющивал... Упал на пол, лежит... так это... скорчился... Я походил... чё из продуктишков – из холодильника... вот эти-то... в гараж к себе – там деньги... в стареньком глушителе... взял их, за водкой в магазин сходил, и на вокзал вот... Надоело. Да не убил его, конечно. Отлежится... Крови-то не было, 'смотрел, и не пробил... да и потрогал... тут-то... знаю... бьётся... сердце послушал – то колотится. Оглоушил. Очухается.

«Вот», – думаю.

Лампочку включил мужик – загорела, но как не сразу.

– Когда один, ничё ещё, – говорит, – а когда с кем-то – не люблю потёмки... чё-то... да и глядеть-то утомительно.

Сидим. Глаза у него, у мужика, точно – серые. Нос – *на семерых рос, а одному достался* – внушительный. Лицо узкое – со стороны ушей как будто сдавленное, голову сунул куда, и чем-то стиснуло как будто, мало ли. А выражение такое – беззаботное.

– С дочкой нормально всё, а этот почему-то... Она такая, – говорит, – шибко уж нравится... И учится – почти одни пятёрки. И всё время: папа, папа, – ластится... Ну, думаю... Они – девчонки... В их родову, похожа на неё, с нашей-то стороны всё больше буки... В седьмом уж классе. Этот – выродок. Родной был дядя у меня – тот только спился... тогда же этого не знали – вены себе никто не портил, не дырявил... Со всем дошли уж... докатились. Здоровье было, дал Бог – дак а зачем оно? – лишусь. Сам, без принуждения. Ну, надо это... Лучше уж выпей, чем эту гадость-то втыкать.

Сижу я. Слева от меня – окно с раздвинутыми занавесками – не закрываем. За ним – темно, на тёмном – отражение. И – *мушка*... А справа – дверь – и тоже – *мушка*... Зеркало на двери, и в зеркале двоится...

«Вот», – думаю.

Поезд бежит, стучит колёсами – размеренно – не убаюкал бы до времени.

Эх, думаю, человек передо мной открывается, говорит правду, только правду, не сомневаюсь в этом, чувствую. Такое не придумаешь. Да и придумывать зачем? А почему же я, *как сивый мерин*, вру всегда налево и направо – но не всегда, конечно, – когда в

поезде, своим попутчикам, с кем разговаривать приходится, и за примером далеко ходить не надо – вот я... Совестно?.. Совестно... *Вдова*, однако, *допучает*... Как ещё бессовестно. И всё же вру: геолог, дескать. И успокаиваю сам себя: ну а к чему ему моя, мол, правда? И кто-то так, извне как будто, посторонний, добавил к этому, не очень, может, кстати: *Вся правда наша, яко порт жены блудницы*, – но тем не менее я успокоился. Теперь и выпить ещё можно. А где ж твоё духовное достоинство – когда *да – да, нет – нет, а всё, что сверху, от лукавого?*.. Помилуй, Боже.

– Ещё?

– Давай.

– То затянули... очередь пропустим. А я его, – говорит мужик. В окно при этом не косится. И на зеркало не оглядывается. На меня смотрит – пристально – как будто начал узнавать во мне когда-то навредившего ему изрядно человека. Хотя и *маленько* я, но оторопь меня коснулась. Глаза – как шильями, меня прокалывать ими начал – хоть отбивайся. «Ну, – думаю, – и угораздило: пустых купе столько, так нет – в одно с ним... И продают же так билеты, нет чтоб – возможность есть – для каждого отдельное, всех надо скучить». Взыерошил он, мужик, *пятернёй* волосы себе на голове, бороду не трогает, лицо его от этого ещё длиннее будто сделалось, вижу его через бутылку с водкой будто. – А я его, Володьку-то, ребёнком был ещё он, напугал. Не нарочно, по глупости, – продолжает говорить мужик и компостировать меня глазами. – Тот, ночью поднялся, в туалет направился посидеть, назад, в спальню свою, идёт, полусонный... луна, Наташки не было ещё – не родилась... а я возьми да и скажи... а баба спит – не очурала... с кровати ему громко: дескать, Володька! – чтобы за коврик не запнул-

ся... Так с тех пор и заикается. Заика... В армию не пошёл... там чё-то с печенью ещё вдобавок... Связался со шпаной, занаркоманил. И вот никак с ним, никаким макаром... и так, и этак я, а толку... не уладить. И на охоту брал с собой. Сходит – нормально, а потом... Ох, неприятно... А? Может, мы это... слышишь... по чуть-чуть?

Молчу я – как задумался, отвлёкся – и немудрено. К окну отвернулся. Как будто в темноту – на мужика, на отражённого, смотрю и думаю:

«Выбей ему глаз, и он на Одина германского станет похож... Один в один. Ещё и ворон залетит сюда, на голове его усядется, сообщит ему что-нибудь недоброе – рассердит. Ну, – думаю, – и подвезло... Пусть бы уж та... как контрабас-то... Другая там была поинтересней... Штанишки нравятся... Ну, Дима. У всех мордашки разглядел, хоть и, как я, же был – *маленько*».

Плетётся *наш* поезд, шатаясь, как пьяненький, вразвалочку – будто бы никуда ему прибыть ко времени не надо, и никого спешащего он будто не везёт – не поторопится – как на прогулке. Не очень-то о нём теперь и вспоминаю, правда. Стоял, стоял среди сплошного мрака, только что, как телёнок, погудев протяжно, кому и сам, поди, не знает, тронул – о нём и вспомнил-то поэтому.

Звёзд не видно, ни единой – где-то какая-то уж непременно бы да обозначилась – над тёмным ельником, над пихтачом, среди берёз ли, сейчас уже неразличимых: звёзды ж – как спицы – лёгкий-то морок, улучив момент, и просквозили бы – как пряжу. С северо-запада небо, значит, плотно затянуло тучами – нас нагоняют – непроглядно. Проспорил Диме бы – *как пить дать*. Не видно и луны. В Ялани редко где сейчас, кое-как, изо всех сил, и до рассвета будут так старать-

ся, оттесняя и уплотняя окружающую теменоту, под эмалевыми тенниками, сквозь клубы налетевших на их сияние и теплоту незнающих ночного сна мошки, мокреца и мотыльков, блистают со столбов электрические лампочки... И в окнах тоже... И в том, в *хорошине*, на взлобке... Я бы и спорить с ним не стал – испортится, конечно.

– А тут с женой ещё... Не знаю, – говорит мужик. И говорит: – Ты... вроде дремлешь?

– Чё-то... сомлел... чуть приморило.

– Выспаться хочешь? Завтра на работу? – спрашивает мужик. – А то я... чё-то.

– Нет, – отвечаю. – Мне не на работу.

– Тогда не спи, ещё успеешь... Я зиму-то, хожу, охотюсь. Вишь – борода-то – не геолог... Участок у меня, – говорит мужик. – На кряже. За Исленью. Там не бывал?

– Нет, не бывал.

– Красиво... Как в октябре зашёл, к марту-к апрелю только выбираюсь... Здорово, хорошо – и лето жил бы – никого там, туда пока не добрались... Ну и... Немного, может... это?..

Немного мы. И закусили – хлебом занюхали, точнее. Я уж не просто, а совсем уже *маленько*.

– Вернулся как-то раньше времени, – говорит мужик. – Так получилось. Дольше обычно там задерживался – до оттепелей, пока снег не станет просядать, не заноздрится, а то на лыжах-то – и камус обдерёшь, и не пролезешь... Утром, на восходе, по путику, по насту, без лыж, конечно, пробежался, капканы все, успел, собрал, спустил ловушки, петли снял. В избушке скоренько прибрался. Не от мышей – мыши там есть, в округе-то полно – их сеноставка не пускает – сама в избушке поселилась, а так, зайдёт кто, мало ли, пере-

ночуется – кому понравится, как беспорядок... К себе – пока ещё добрался, ладно, ребята, лётчики, от Елисейска довели, двое живут тут, в Милуково, – домой-то захожу, а там – сосед... Ничё, конечно-может, не было... Не знаю. Ночью. Мужик-то он, Виталька, неплохой, но всё равно – на сердце как осадок... И как-то так – а чё так испугалась?... Если нормально-то – так и нормально... И он, Виталька, как смутился... А вертолёт – когда другой уж?... через месяц. И прилетел – но не нарочно, так получилось, побыл бы дольше – и продукты оставались – недели две ещё прожил бы... Бутылка, вижу, на столе, почти пустая, и два стакана... Белое... Чё-то – какая-то – закуска... Нет, говорит, потом. И плачет. А он, Виталька, нравился ей – знаю. Да мне-то... За столько месяцев – отвык... Люди, бывает, что соскучатся... Да я и спрашивать не стал бы... Зашёл сосед, ну и зашёл, ну, посидел, ну, выпили... но – ночью... Я к чужой бабе среди ночи не попёрся бы... если какая-то понадобится помощь ей, тогда – конечно... ну дак и это... вобщем, сплошная несуславица.

Поезд стучит колёсами на стыках – о важном или о пустом – о том, об этом ли – однообразно. Прислушиваюсь – позвоночником – не понимаю; не о живом речь, о железном – догадываюсь. И мужика слушаю – ушами. Чем-то ещё. Не знаю. Может – водкой – через неё будто доходит – глухо. При голове мой непоседливый затылок, нет ли, не чувствую, и не могу рукой проверить – где голова, а где рука – не совместить, не дотянуться – так кажется, и не пытаюсь. Глаза слипаются, но раздираю их. И слышу:

– А у меня внутри перевернулось будто чё, – говорит мужик. – Хоть застрели, на место не поставишь... Всяко уж заставлял себя – никак. Живём. В одной квартире. Всё для других, со стороны-то, вроде и нор-

мально. Да и у нас... бузы особой вроде не бывают, как и раньше, но чё-то это... Не знаю. Как-то – смутно. Многое можно, это никак в себе не вынудишь... И одноклассницу свою бывшую – зуб пошёл в больницу дёргать, чтобы зимой с ним, на охоте, не замучиться... провод сталистый загибал в зубах, понадобилось, и сломал... пошёл в больницу-то – и встретил. Десять лет жила в Исленьске, работала, потом сюда переехала, на родину, тут теперь – в Милюково. Не замужем. Был какой-то – разбежались, по бабам вроде стал ходить – поэтому. Постояли, поговорили. В гости пригласила. Пошли. Посидели. Повспоминали. После ещё раз к ней зашёл – так уж, сам, без приглашения. Ну и всё лето... А потом: день не схожу к ней – и болею, из рук всё валится, не радуется ничё... И понимаю, сильно уж прямо как-то к ней, такая тяга... Даже боялся. Никогда такого не было. Ну вот – родное. Как магнитом прямо. Спать ложусь – она на уме, встаю – о ней думаю... Скажи кому-нибудь, ответят: напасть, или – присушили... И делать у неё готов всё по хозяйству... А совесть... Не могу вот... как на двоих-то... шибко плохо. У мужика должна одна быть – жена. Когда баба гуляет, это ещё туда-сюда как-то – слабая, она и – баба... Ну а мужик когда – это... плохо. Такие – кобели-то – мне не нравятся. Их дело. Но если такой в этом, дак и в другом он ненадёжный... так чё-то думаю. Я за серьёзно их не принимаю почему-то. Оно – не жалко, а противно... И я вот... Когда там хорошо, и тут, с женой, вроде нормально... Когда там только чуть чё, нелады маленько – всё, и на жену, приду домой, покрикиваю, ну а кричать-то – хорошо ли... Не знаю. И с ней, с женой – как про Витальку чуть подумаю, сразу и чувствую, и не люблю вроде её, жену-то, а ревную... И не ревную вроде – горько

как-то... Когда так – любви нет, а ревность... нехорошо оно, и всё тут. Может, я это... деревенский, в Милуково-то не с детства... тут – с интерната... А одноклассница – начальницей теперь на почте... С образованием. Я так – туда-сюда... никуда, вобщем... и – в армию, и после шоферил, пока не сбил... пьяного... Ну а она, училась в школе хорошо, в том же году, в Исленьск поехала, и поступила... На машине, на служебной, ехали, на «каблуке»... На встречную полосу крутой на джипе вырулил... их теперь сколько вон... как тараканов... Шофёр её... на «каблуке»... в сторону резко дал, и зацепил справа столб – бетонную опору. Ему ничё, шофёру-то, ушибами отделался... морду разбил себе да палец на руке сломал. А она... вот... неподвижна... ноги отказали. Всё как-то и разобралось... конечно, худо... А не брошу. Пока вот к матери поехал... под Гачинском, в деревне. Поживу у ней сколько-то, одумаюсь... Неделю, может, полторы – не дольше. Подружка с ней пока поводится... её, подружкина, подружка... дак чё – лежит – уход ей нужен... Не брошу... как-то не могу. А хоть и сяду... за Володьку, выйду – и к ней. Как без неё теперь – не знаю. Да нет, ну чё тут рассуждать... Ясно: не мы жизнью руководим, она нами.

Судьбы Божии – бездна многа, – через меня опять – по ходу поезда – как просквозило. И не успело это отзвучать, как следом: Клеть душевная – неизмеримой глубины.

«Ну», – думаю.

Выпили мы. Посидели молча. После:

– А жена-то... С армии пришёл. Чё-то – туда-сюда – и забеременела, я и женился. Как бы по долгу... Армия – долг, женитьба – тоже... Такого не было – чтоб сильно... Молодой был, глупый. Не стал сейчас бы,

без любви-то... Смешно, наверное, смеёшься?.. Я деревенский, ты не смейся... Ну дак и ты-то – из Ялани... Ну... и что дом-то мой, не чувствую. И делать в нём ничё не хочется. Так, через силу – как обязан, и без души. Эта... пусть и бездвижная теперь, но... прикипело... оно ведь так-то не проходит, и ведь она не виновата – так получилось... ну, что лежит-то... ну, или Бог там... я не знаю, – говорит мужик. И говорит: – Брат у меня... с женой своей... живут лад в лад. Смотрю на них – вот это правильно... но редко... Одна жена должна быть, одна женщина... у человека... Не знаю. Кажется. А мусульмане... дак они... у них и Бог иной – Аллах... А всё другое – баловство. Тётка у меня... по матери, с той стороны. До войны ещё с одним ходила, тогда – дружили. Он и она с одной деревни... у нас там, куда еду... рядом... Дозорной называлась. Тот – на фронт, она – туда же, ну и как-то потерялись – не в магазине – не саукаешься... Война, и в мирное-то время... И она замуж не выходила после, и он, потом как оказалось, не женился. Не почему-то там, а – ждали, забить друг дружку не могли... Хоть и... ну, я не знаю... как-то получилось. Не своевольничали – время-то такое... Тут уж случайно как-то встретились. В Братске – и как их там свело?.. Она к сестре своей поехала, а он туда – в командировку. Идут по улице – и увидались... Чё-то из них кому-то с сердцем плохо даже стало... Ну и ничё, живут теперь вот... вместе. Случайно, Бог ли, я не знаю. Дозорной нет – давно уже распалась – был как-то там – одна крапива... Живы оба ещё, слава Богу. Где-то там, под Ленинградом. Тётка и жить к нему уехала. А ты чё... ищите-то золото?.. Геолог.

– Что попадётся, – говорю – ложь свою двою, утверждаю – как против шерсти, совесть свою, *вдову докуч-*

ливую, глажу – терпит. И вру-то всё на один лад: да, мол, геолог. И зарекаюсь: последний раз, дескать, больше не стану, как воды в рот наберу. А как в поезд только сел, так и... поехало, под стук колёс – как под аккомпанемент – и хоть бы сбился.

– Интересно, – говорит мужик. – Надо сходить тебе на мой участок. Обязательно. На вертолёте только – далеко... Дороги нет туда пока, и слава Богу. Лес воить оттуда станут – сделают... Там по ручьям и речкам золотишко есть, это уж точно... Может, ещё чё, подороже... Переброжу когда, гляжу, как чё-то вроде и поблескиват. Мне-то оно – да и лежи там... А я до этого лесничил. Ну а теперь такое тут творится – пустыня будет... Ушёл из лесников, – говорит мужик, рукой махнул – воздух около себя пополам разрезал – не стенки бы, так развалился бы он, спёртый в купе воздух. – Сердце когда-нибудь не выдержит – инфаркт ещё, пойдёшь по лесу-то, где хватит. Теперь я так – самостоятельный... раньше-то как – одиночник.

Сказал мужик и будто растворился.

А после этого провал. Будто и меня, грешным делом, ни с того и ни с сего, по голове выдергой *пригнали* – как-то уж разом.

Так, полусидя, и проснулся.

Свет в купе неоновый – с улицы. Как в мертвяцкой. Пахнет... одеколоном – вспомнил, но не сразу, и каким – не различаю, может – «Тройным», может – «Гвоздикой». На столике порядок. Всё убрано, сам столик вытерт. Мужик готов уже, вижу, выходить; на плече спортивная сумка. Возле двери топчется – спиной к ней, к зеркалу, лицом – к оконцу, нос у него теперь – от света – синий. На меня глянул и говорит:

– Проснулся... Гачинск... Выхожу. Поезд стоит тут минут сорок... если ничё не поменяли. Мне на автобус... через час. Ну ладно... это...

Дверь открыл, из купе вышел, повернулся и говорит:

– Если тут чё, так извини...

– Да ничего, – говорю, еле произнёс: язык – будто свой потерял, чужим временно пользуюсь.

– А как тебя зовут? – спрашивает.

– Олег, – отвечаю. Не соврал.

– Меня – Василий. Ну, счастливо.

– Угу.

Захлопнул дверь. Ушёл мужик.

Открыл дверь снова. Смотрит на меня. Смотрит. И говорит:

– Я... это... помню... разговор-то... Баба ведь как... Бог может войти в каждую... но это... не каждая удержит... Поэтому. Да ладно. Ну, я сказал уже: счастливо.

Ушёл мужик. *Окончательно.*

Я остался – ехать ещё часа четыре – помню.

Чувствую голову свою – по ней как будто кони с этикетки от «Сибирской» скачут – затылок полый – нет бы вон – как по манежу, разгулялись.

Повалился на постель, как был – не раздеваясь; разулся только.

Скоро, не скоро ли, под непрерывный стук... *копыт*, забылся.

Среди кромешной немоты или тотального отсутствия, гудящего так, словно в его центре поставлен многомощный силовой и плохо закреплённый трансформатор, или оно, отсутствие, расположилось рядом

с высоковольтной линией электропередач, сплошь, как сетью, ими, линиями, ли опутано, среди небытия – сказать и так, пожалуй, можно – слышу вдруг, как будто только что родился, не понимая и не разбирая слов, помимо белов или децибелов, озлобленно и без передышки раздалбывающих изнутри мой хрупкий череп, голос человеческий, женский и, как мне кажется, знакомый – чувствую, что знакомый, но не думаю об этом, – издалека будто, как из еле-еле различимой точки, как от вечности ко времени ли – словно искал он, голос этот, меня по привычке прежде там, на моей узкой, деревянной кровати, на уютном и обжитом чердаке моём, в Ялани, долго взывал ко мне оттуда, тщетно кликал, после уж тут меня, случайно или по подсказке чьей-то, нашёл, ко мне приблизился и обратился – услышал я его, и до меня дошёл смысл этим голосом произносимого:

– И скока вас ишшо будить?! Долго?.. Вот наказание мне прямое... Хожу, как эта... Я вам не нянька, не обязана... Э-э... Вы живой?.. Вон по Исленьску уже едем. Подымайтесь давайте. Последний раз, пришла, предупреждаю. Чириз минуту остановимся. Почти приехали... А то водой вас окачу – добьётесь... И каких тут тока не увидишь: в дорогу ехать – и упиться... Милицанера позову – быстро разбудит. Тогда в кутузке отоспитесь... Э-э... вы... И вправду ли не помер?

Где я, кто я, не понимаю. Я – как тело – и сознание моё – с ним мы пока ещё отдельно – крепко, похоже, раздружили. Есть я, присутствую, но где, мне не известно; по каким палестинам оно, сознание моё, шляется – не знаю. Затылка нет. Темя тут, трещит от боли, а его, затылок свой, не ощущаю – не вернулся ли он в Милуково, не уехал ли он с Димой, чтобы там, в Ялани, при проезде, выпрыгнуть незаметно из гремяще-

го уази́ка? – станет с него – так озорует... Без затылка неуютно – как зимой, с открытой настежь в доме дверью. В зияющий и никем не охраняемый образовавшийся прогал не только сознание, и жизнь из меня может запросто выскочить, тогда и вовсе не проснёшься – *скоропостижно* не хочется. Душа с великим нежеланием, будто по принуждению, из глубины хмельного сна, через него ли продираясь, с какой-то дальней будто, приглянувшейся ей стороны, в тело, как в терем опостылый, возвращается. Душе, ему ли, телу, хуже? – пока на это не ответить мне.

В моём бреду одна меня томит каких-то острых линий бесконечность, и непрерывно колокол звенит, как бой часов отзывал бы вечность. Мне кажется, что после смерти так...

«Должно быть, в поезде – вчера ещё в него садился... Если сегодня это, а уже не завтра, а со вчерашнего – не послезавтра?... Да и стучит: так-так, тук-тук, во мне, простёртом, отзываясь», – первая мысль, с которой я очнулся, – из ничего как будто просочилась и заструилась родничком.

И точно: в поезде – опомнился – будто из бездны Аввадон или из океанской пучины, правило декомпрессии нарушив, вынырнул – необходим теперь мне шлюз лечебный, то речь расстроится, рассудок помрачится, и паралич, к тому же, ещё хватит... Не поздно ли?... Болезнь в разгаре.

Раздираю с трудом веки – кое-как, заторопившись, с ними справился, так испугался – за время сна, провала полного, они как клеем кем-то были будто склеены, словно не разомкнулись сами по себе, а принуждённо лопнули, как на разваренной, *рассыпчатой*, картошке мундир, – и вижу: день – если солнечно – глаза пронзает; в дверном проёме – женщина в одежде

форменной, но не военная, не прокурор, а – проводница. Сразу не узнаю её, и говорю ей:

– Вы... или нет?.. У вас вчера глаза другого цвета были... Что вы ворчите?

– Не добудиться-то – не поворчи тут... Вчера не я была – другая, – сказала так и засмеялась: она, значит, та самая. Она, конечно: волосы рыжие и выговор чалдонский. – Я туалет закрыла – не умоетесь и... что... Теперь уж тока на вокзале... Как таких жёны ишшо терпят?

– Я не женат.

– Ага, все вы так говорите... В поезде мало кто из вас женатый.

– Вчера ещё вроде как не был.

– Вот – уж и *вроде*. Подымайтесь давайте. А то я это... Кольцо – поехал от жены – снял с пальца и в карман, наверное, запрятал. Все вы такие.

– А пива нет у вас... не продаёте?

– Нет, пива нет у нас... не продаём. Проснулся тока – и про пиво...

– А что?

– Хотя бы причесались...

– Какая вы...

– Какая?

– Повелительная.

– Ну уж.

Ей хорошо, думаю, «Сибирскую» вчера не принимала, из бездны сегодня резко не выныривала, и шлюз лечебный ей не нужен.

Удалилась проводница – как покинула: будто, успел, привык к ней, привязался. А потому так, думаю, что уезжаю: сердце моё к ней как к землячке тянется – я покидаю родину свою, *малую и тихую*, надолго, а она там снова будет уже завтра. От Милюково до

Ялани *кочергой бабка дотянется* – одного уезда, в прошлом, сёла; давно Ялань уже деревня, доумирает, а Милюково нынче – город, нелепый, правда, – как выкидыш. Добродушная женщина – про проводницу опять вспомнил. По жизни не озлобилась. Хотя и похоже, что – была когда-то, может, но теперь – не замужем. То попадают такие: *своими мужикам* по каким-то причинам не обзавелась, и все при этом перед нею виноваты – на каждом встречном *отрывается по полной программе...* Хотя и ушла, стоит перед глазами – волосы рыжие, в косу заплетённые, коса толстая, как канат, висит из-под берета – как медная. Ключ в руке – от всех замков в вагоне. Дверь не закрыла. Солнце в купе втекает беспрепятственно – как тигль золото, его наполнило – и мне бы не расплавиться. Морок нас, значит, не догнал – почти полтысячи-то километров – не везде ему быть сразу, только – где-то. Это я так, без сожаления.

Лежу. Ощущаю: штормом нахлынувшее сокрушение, себя – будто урановый или свинцовый: не шевельнуться, не подняться, ладно, хоть так, распад бы только не начался – и то, что поезд замедляет ход; остановился, чувствую.

Лежу ещё минуту, две ли – сколько-то – они, минуты, передо мной не отчитываются, – словно рухнувший на землю столб бетонный и, как в тесто, в неё, в землю, вмявшийся, – всё же поднялся – я один, взяв за грудки, поднял себя другого будто; поднять-то поднял, но как из вагона вынести?.. Вижу, одетый. Благо штаны такие, что не мнутся. Куртка тоже – так, значит, я её и не снимал. Обулся – пыль на башмаках, вижу – елисейская, хоть собери её в платочек. Про рюкзак вспомнил, достал его из ящика. Смотрю в окно: город, вокзал и – люди, люди – так тоскливо.

Первый день – после Ялани – одиноко. К шуму когда теперь привыкну – к чему б хорошему – в природе звук, в ней шума не бывает, здесь монстр – рычит. В Ялани шум благословенный – только от ветра и дождя; собаки лают – это песня.

Август, ночь, Ялань, допустим, – звёзды шумят над ней? – звучат, конечно, – это не я, со мной так кто-то согласился.

«Ох, – думаю. – Как много во мне и около меня всяких разговорчивых».

Попрощался с проводницей – там она, в своей камерке, бельё постельное в мешок засовывает, что ли, – наклонилась; коса мешает – головой мотнув, откидывает косу за спину; опять та медленно с плеча сползает. Лицом только ко мне обратилась и спрашивает, улыбаясь:

– А там, в купе, ничё из своего-то не забыли? А то такие...

– Да нет вроде. Всё при мне. Всего хорошего. Спасибо, – говорю ей.

– В таком-то виде.

– Вид как вид. А что?

– А в зеркало гляделись?.. Пожалуйста. Счастливо, – отвечает. Глаза опять уже другого цвета: теперь – зелёные уж – как вчера.

«Ну», – думаю.

И никогда с ней больше не увидимся – наверное. Хотя... Располагаем-то не мы.

– Хоть причешитесь.

– Причешусь.

– А то... как эти прямо... С Богом.

– Зеркало мне, в отличие от вас, не скажет правды... Не замужем? – спрашиваю.

– Уже не важно, – отвечает.

– С Богом.

Вышел на платформу. Вдохнул неосторожно полной грудью – воздух, конечно, не таёжный – как в большом гараже, в котором завели все разом и прогревают перед выездом автомобиля, – прожив три месяца в деревне, *вне цивилизации*, где трубы есть, но лишь печные, удобогабаритные, не исполинские, и топятся не каменным углём и не мазутом, а дровами, берёзовыми преимущественно, остро это чувствую. До отвращения. Не угореть бы без привычки.

Глаза плачут, и сердце узвлено, а мысль яснее и твердеет.

И тут уже осень, не такая ещё, правда, явная и откровенная, светом себя едва лишь обозначила, сквозистым, утишённым, блёстками паутин пронизанным, – как будто намекнула только о своём приходе – всё же значительно южнее – так в Ялани лето выглядит в начале августа, сразу после Ильина дня, и, как обычно, перемена происходит резко – лето астрономически, а по погоде уже осень, – в одни сутки, когда *какушка заглохнет* – никуда не улетает, до сентября болтается на прежнем месте, заодно со своими возмужавшими подкидышами, высиженными и вскормленными чужими родителями, но умолкает – первого августа её ещё услышишь, ну а второго уже нет, – словно на самом деле *голоса её Илья-Пророк лишат* – так надоеет же, и на самом деле: с конца весны, как там объявится, на родине своей, на общей нашей, беспечная и громкая, всем до *Ильи* в округе уши *прокакует*.

И тут так же, как ещё вчера в Ялани, небо голубеет, только вот не такое здесь оно глубокое и чистое – тонко его застило пеленой белёсой, будто зрачок при катаракте, – а потому и город в небо так от этого гля-

дит – подслеповато; скоро и пелену за небо станет принимать – когда совсем-то *обезвидит*.

На другом, далёком и, несмотря на ясную погоду, из-за тяжёлых испарений и плотной загазованности тускло просматривающемся берегу тут ещё не такой широкой, как у нас, Ислени – здесь уж не сопки, как у нас, а – горы *настоящие*, щедро одетые в густое разнороселье – сохранившееся потому, что *заповедное*, и ни людьми, ни шелкопрядом, к счастью, не погрызенное, – и торчащие кое-где причудливыми и известными всем нашим альпинистам скалами, в жёлто-багряной проседи, пока ещё легонько только ею тронутые, – над самым городом нагромодились, над его правобережной, более индустриальной половиной, мало того, ещё и дым над ней сгустился, над несчастной – так она выглядит, в чаду-то вся, как в преисподне, тут вот, на левом берегу, его поменьше – всё же продувает – с места не сдвинется, висит лепёшкой маслянистой, в золе и саже ещё вываленной, будто бы брошенной ему, как угощение собаке, но до него, до города, не долетевшей, – где-то, похоже, зацепилась – антенно-то мало ли да вышек всевозможных – ну вот и ешь её теперь *вприглядку*. И как живут под ней, под *лепёшкой* этой, люди?.. Представить трудно. Солнце-то видят, словно через закопчённое стекло, – всегда затмение, помилуй, Господи. Почти как в шахте, под землёй. Но человек, подлец, и не к такому привыкает – не помню, кто так и сказал. Возможно...

Достоевский, – будто подсказал мне кто-то из плотно окруживших меня словоохотливых невидимок. И сам я вспомнил: Достоевский. Где, когда и от своего имени или от имени героя своего – не помню.

Трубы, домны, трубы, домны, глянь налево, глянь направо и куда ни обернись – будто мальчишки, из-

дали кажется, нагородили – *промышленность* однако – и днём и ночью курят не стихая – какие фильтры тут нужны, какие лёгкие – чтобы рак лёгких городу не заработать или ещё чуму какую; про горожан уж и молчу – за них молиться и молиться; можно и мне, но лучше праведнику. Это сейчас – после Ялани, посвежевший и проветренный, как вынесенный во двор из затхлой коммунально-проходной квартиры засанный матрац, да от «Сибирской» крепко – чуть, *маленько*, не до хруста – подмороженный и пока не оттаявший, как говорят французы, с деревянной ещё мордой, – это сейчас так рассуждаю. А пожил бы здесь, немного *отогрелся*, а заодно приняхался и пригляделся, может, иначе стал бы думать: *живу я здесь* – как в анекдоте?.. Возможно. Но первый взгляд – *он верный самый*: не пристальный, только что кинутый, сам ещё по себе когда, а под хозяина, врасплох застигнутый, угодливо ещё не подловчился.

Стою. Переминаюсь хлипко с ноги на ногу – ходить будто разучился. Бывает. Так и с любым другим умением случается, и даже – ползать. И торопиться-то мне некуда – никуда не опаздываю; вышел из вагона, шага два в сторону сделал, чтобы проход собой не загораживать, остановился тут же и стою, жмурюсь от света яркого, покуда не обвык, – солнце такое, что и веки пробивает – *лепёшка* тут его не заслоняет. Асфальт подо мной – от бликов солнечных и пятен тени словно в рыгвинах – не оступиться бы, пойду-то – опасуюсь. Всё окружающее – зыбкое, чужое – как враждебное, и я – будто бы вышвырнут сюда откуда-то, где, по сравнению с теперешним, гораздо лучше себя чувствовал, – как заспанный котёнок в форточку из тёплой комнаты на улицу морозной ночью, – стою, хвостом воображаемым дрожу – неуютно, и некому меня

погладить. Ощущение отвратительное, но к себе самому отношусь пока сносно, даже с какой-то нежной жалостью, ещё *маленько-то* и очень, после уж стану люто себя ненавидеть, когда последние дробинки от *сибирского* озноба выпадут из тела, но то нескоро будет – так мне кажется. Осматриваюсь еле-еле – свет белый мне, болезному, в копеечку – поэтому, пока и повсе не смотрел бы, так только разве, через кружку разливного пива, пусть бы и керамическую, непрозрачную, и то прищурившись, – стою, гляжу – не вижу истречающего. Был бы где тут, выделился бы в толпе – приметный: *вышел и ростом и лицом, спасибо матери с отцом* – это и без подсказки чьей-то вспомнил, что – Владимира Семёновича. Дима, что ли, думаю, не дозвонился: может быть, нет его, Андрея, в городе, по делам коммерческим куда умчался – допустимо; все телефоны, схоронившись у какой-нибудь из многочисленных своих подружек, отключил ли – тоже вероятно – женолюбивый он, Андрей, не в меру. Или, как Дима говорит, до баб без удержу охочий, сам не свой до них, как кот до валерьянки, юбку увидел и затрясся.

«Вот...» – думаю.

Тут же ещё и состояние... как после менингита, после какой другой ли продолжительной болезни мозга – будто разжижился он, мозг, и булькает, как гейзер, ладно ещё, как тот, фонтаны не выбрасывает. И не в комплекте – без затылка – в прогал-то дух бы из меня, боюсь, не удалился. Благо ещё, что пар в дыру выходит, – темя сорвало бы, как крышку в закипевшем радиаторе.

Шумно – вокзал-то – как на *ярманге Ирбицкой*, на стадионе ли *«Петровском»* в момент забитого-пропущенного гола, когда *«Зенит»* – допустим – с *ЦСКА* встре-

чают, помилуй, Господи (решил бы я, предположим, закончить жизнь свою самоубийством, направился бы после матча по Большому проспекту Петроградской стороны в Санкт-Петербурге, в сторону Князь-Владимирского собора, или на Чкаловский, поближе к дому, и прокричал бы вплотную, пивом и водкой разящую, толпу взбудораженных выигрышем-проигрышем *рогатых* ребят в бело-голубых шарфиках: «“Зенит” – параша, победа будет наша, ЦСКА – чемпион!..» – и долго бы не мучился, ещё раз: Господи, помилуй, и лучше избегать таких предположений, то даже нервно передёрнуло-перекосило, что не на пользу мне сейчас); фоном вокруг ещё ж и город с миллионным населением – Исленьск – как будто в улей растревоженный засунул сдуру-спьяну голову – люди бы жалиться не стали – робость-пугливость на меня напала вдруг; вчера отважный был, отчаянный – с руками голыми, позвал бы кто меня, и, не раздумывая долго, на медведя бы пошёл, в пекло крошечное бы, не колеблясь, с проводницей ринулся – как лист осинový, душа не трепыхала.

Думаю:

«И как, пострел, всё успевает? Расторопный. Дошлый, отец бы мой сказал. Но погорит когда-нибудь на этом. Примеров много. Книжек умных не читает, а самому порассуждать на эту тему некогда... Было ведь сказано: *в бесстрастии ума взирай на лики женщин и обидчиков* – кто-то же внял, ему неймётся... Найдю, – думаю, – место поспокойнее, в укромном закуточке, где докучливых цыган не будет и детей поменьше будет егозливых, устроюсь поудобнее и до самого отъезда, до следующего своего поезда, уже отсюда, из Исленьска, пересижу... смогу, пожалуй... ведь на рыбалке же высиживал... ну, тоже мне, сравнил... там-то и времени не замечаешь и – безлюдно – кругом

тайга, перед тобой река, а над тобою небо – только. Сутки и целый день ещё... Смогу, наверное?..» – подумал это и устал.

Стою и ни о чём теперь вроде не думаю – будто сильным, порывистым сквозняком всё начисто из головы выдуло – как растерялся.

Слышу, смеётся сзади, гавкнув прежде, чуть ли не в самое мне ухо. Прятался от меня. Там, за киоском.

– Баловник, – говорю, оборачиваясь осторожно, чтобы окружающее из глаз не выплеснуть и самому наземь плашмя не опрокинуться. Как неуклюжий. Так оно и есть. Почти немощный.

– Здорово, – говорит Андрей. – Чё, перетрусил? – спросил так и, громко, словно мы с ним тут одни, заготовав, хлопнул по плечу меня – в руке какая-то газета, туго свёрнутая в тубус, – ею.

– Да уж, – отвечаю.

– По роже вижу... Вылупил глаза вон.

– И без того, – говорю, – еле-еле душа в теле, ещё и ты тут... расшалился.

– Чумной – после деревни, – говорит Андрей. – Нянька тебе нужна, руководитель... в городе-то.

– И ты про няньку.

– Чё?..

– Да так... Про пиво б лучше.

– Чтобы понервничал чуток, а то расслабился в Ялани. Анахорет... Истомин, – говорит Андрей, – ты бы хоть раз когда по-человечески приехал – на выходные... Нет, он всегда среди недели... И причешишься... Как чёрт косматый.

– Здорово. Не ругайся, – говорю. И говорить мне сейчас, как и стоять, тоже непросто – слова со мной будто в хоронки разыгрались, и не они меня, а я ищу их постоянно, *маясь* – так, если выразиться по-ялански,

ну а какое там, в сплошных потёмках, и нащупаю, поймаю, на свет его сразу, чтобы распознать и *застучать*, не извлечь – упирается, вдобавок к этому, ещё ж и высыпаются – через затылочный проём – те уж, наверное, с концами. Только одно не укрывается, не упирается, само, как нескромная выскочка, напоказ лезет, как девка публичная, себя настырно предлагает: *пива!* – Пора приходит, – говорю, – и еду. В календарь при этом не заглядываю. А у тебя бывают выходные?

– Ну и худо, что не заглядываешь. Очень худо, – говорит Андрей. – Не в прошлом веке живёшь, Истомин. Время сжалось – всех прессует: одних на жмых, других на масло. И ты не увернёшься, не надейся. Тысячелетие уж новое... Миллениум... А ты тут... Лермонтов и Пушкин. Это они могли себе позволить – свинтить в деревню к бабушке и, на диване лёжа, прохладиться... Ты хоть число сегодняшнее знаешь?

– Знаю. Они не в прошлом веке жили, – говорю, – а в позапрошлом... Как всё грохочет... Одуреть.

– А-а, всё равно что в допотопном. В прошлом, в позапрошлом, какая разница!.. Не придирайся. Время-то припустило, видишь, как – пятки сверкают...

– Нет, не вижу.

– В прошлом бы веке ты ко мне неделю добирался. Или дней десять... если не пешком. Пешком бы месяц топал от Ялани.

– Говори громче. Мне, с непривычки, уши заложило... В прошлом бы так же. В позапрошлом... Или молчи, потом поговорим. В машине... В прошлом скорее бы – на самолёте.

– Глухарь. Оглох в своей деревне... От тишины. Там, чё, собаки только лают. Надо заглядывать и в календарь.

– Коров забыл.

– Каких коров?
– И лошадей. Ну не одни же там собаки.
– А-а... Выбрался из берлоги, – говорит Андрей, – глаза протёр и – посмотрел... А то придёшь, а там закрыто...

– Где? – спрашиваю.

– Где, где... Не где, а к шапкиному разбору. Да где угодно, я к примеру... И опять к себе в берлогу – лапу сосать и с боку на бок переваливаться да на погоду из берлоги хныкать – виновата.

– Виновата: не я для неё, а она для меня.

– Ты-то, дремучий, тип свободный, болтаешься где и как тебе вздумается, как снежный человек, тебе и ладно... Захотел – сюда, захотел – туда, вольный... Месяцем раньше, месяцем позже, чё там, – говорит Андрей. – Сентябрь – тят-тят и – май, как наш историк, помнишь, приговаривал... Федя, покойный. Вот уж был тоже... клоун настоящий – девчонок наших всё и тискал. Теперь его я понимаю... Чё-то приснился мне недавно... Все молодухи кажутся красивыми... С чего?.. О нём я даже и не думал.

– К себе не звал?

– Да вроде нет. А, может, не запомнил... Истомин, сплунь... Как на уроке будто, в школе... А я, в отличие от вас, от беззаботных трепачей, халявщиков и лодырей, товарищ, слава Богу, занятой... К вечеру дождь пойдёт, передавали... Зонтик, не помню, где оставил... Смотрел, в машине вроде нет, всё там валялся, на сиденье... Планы страдают, одним словом... Кофе пил вчера – у Эльки, может?

– Бизнес?

– Прежде всего. Частная жизнь по вашей части тараканьей... Машина там, на площади. Пойдём. Ну, как там мать твоя, тётка Елена?

Пошли.

– Да ничего пока, нормально.

Шагаю – вроде удаётся.

– Мою не видел? – спрашивает.

– Видел, – говорю.

– На ногах?.. У Эльки, точно, больше нигде.

– Давно уж, жалуется, не был... Да на ногах.

– Ну, скажешь тоже... А мне когда?!

– За огородом вашим как-то встретил... Траву косила для телёнка.

– Приеду – сдам, продать заставлю. Зачем он ей, телёнок этот?.. Мяса я так ей привезу. Отправлю с кем ли. Не проблема.

– Нужен, наверное, раз держит.

– Сама уж ходит еле-еле...

– Пусть, пока может...

– Пока может... Это же дурость.

– Что не дурость?

Идём.

Галки на тополе – разгалделись – наперебой о чём-то, или ссорятся – живые; полно их там, словно блох на собаке, – не выколотишь – как только тополь их и терпит, то и гляди суком от них зачесется. Чайка – куда-то полетела – нашла бесхозное, стащила ли где что-то – с добычей – что-то мясное или рыбное – кишкой болтается на клюве.

Троллейбус – весь в рекламе, как уголовник в наколах, – людьми наполнился – как засосал их, – дверцы сомкнул, насытившись, поехал мягко; заискрился на повороте – как сварка.

Не смотри. Это мне отец когда-то. Давно. Как эхом повторилось. *Глаза будут болеть – как засоришь.* И не смотрю. Отвернулся. Думаю:

«Отец».



И думаю:

«Иду вот – тут, а ещё вчера утром – в Ялани».

– Украл побольше – продал подороже, – говорю. Так, чтобы тему поменять, а эту мне – о старости – сейчас не вынести. Ещё за пивом бы – потолковали.

– О чём ты это? А-а, про бизнес... Ну, хоть и это, – говорит Андрей. – И своровать надо уметь. Тоже наука. Не согласен?

– Скорей, забывчивость, а не наука.

– Эту неделю был у Эльки только – там только, у неё... Не на загорбке ночью уволок мешок муки со склада... или шурупы, не спёр у бабки гробовые из чулка... из-за иконы ли, из-под матраса, не знаю, где ещё те прячут...

– Забыл?

– Забыл... Всё по кубышкам... В магазин с автоматом не ворвался, дневную выручку из рук у намочившей с перепугу юбку продавщицы не выхватил, или на танке с пушкой не вломился в банк, а так – красиво, благородно. Развёл – как пенку ложкой на ушнице – и причмокнул. Из пункта А, не твоего кармана, в пункт В, свой, переместил, пошевелив мозгами только, а не бицепсами. Кто прозевал – тот прозевал. Без всяких выстрелов, налётов. Круглую сумму. Не копейки. Из-за копеек-то мараться... Ни у кого при этом кровь из носа чтобы не пошла – вот это дело. Уважаю. Ловкость и предприимчивость – всегда ценилось... При чём забывчивость, не понял?

– *Не укради...*

– Не укради?..

– Не *укради*... Ну, уж всегда ли? И при коммунистах?

– Ценилось-то?.. При них-то, может быть, ещё и больше, – говорит Андрей. – Но не для всех, а между

ними... Это как в Торе для евреев... Только дано вот избранным, не каждому... Не укради...

– Тебе, к примеру.

– Да, к примеру.

– Тору читал?.. В Талмуде, может?

– Зачем?.. Меня никто ни в чём не укорачивал, ни в детстве, ни сейчас – зачем мне Тора?.. **Плоть не отщипывал** никто мне... В какой-то где-то книжке, в нашей, – говорит Андрей. И говорит: – **Какая разница, в Талмуде или в Торе?..** Ну, я-то, ладно, дело делаю, стране в прибыль, приумножаю достояние. На таких, Истомин, как я, держава ещё держится, не развалилась...

– Кит?

– Кит... Просто забрать, украсть, ограбить и придурок деревенский сможет. Сила есть, ума не надо. После пропить, проспать, пустить по ветру... Раз ограбил, два ограбил. А поймают, где он будет?.. Это и мы когда-то проходили. Не канает. Сейчас *укра*л не называют... Пошла вон! – говорит Андрей поднявшейся со скамейки и решительно направившейся к нам цыганке разноцветной с тюком сзади. В тюке ребёнок – словно куколка в запряжке, только не спит, а – глазками сверкает: вот-вот раскуклится, чтобы покушать. Заругалась та, цыганка, по-русски сначала, по-своему после, в нашу сторону руками замахала. – Сдам в ментовку, вшей попаришь... Ты смотри-ка, прямо буром.

– А как, – спрашиваю, – если не *укра*л?

– Раньше их столько вроде не было. Как саранча. Где-то и были, может, здесь я их не видел: летом тепло, зимой-то – зябко... И отовсюду. Как потравил их кто-то где-то. Своих, русских, не пускаем, препоны ставим всякие, а этим – вэлком... После развала по-

налезли... Сладким им будто тут намазано... Табор покинул, высунулся – дихлофосом... А то усами шелеят... На столе стоит стакан, а в стакане таракан, я его за усики, а он меня за трусики... Народ здесь мало ими ещё, жуликами, наученный – пользуются.

– Как, не *украд*-то если, интересно?

– И всех их, чёрных... обнаглели. Сиди в щели своей, не рыпайся... Или, приехал в гости, и води себя нормально, как следует. Ещё права, скучкуются в гурток, качают... Семером против одного – смелые... Не у себя – нагнеть-то так вот – нечего... Пущу бездомного к себе, пусть поживёт, возле двери поспит на коврике, но если этот хмырь начнёт плевать в икону мне или в тарелку, то, извини, урою сразу, а коврик брошу на могилку... или зарою прямо в коврике.

– Не любишь?

– Брезгую... Жук ещё этот колорадский – каждый второй, куда ни ткнишь, уж косоглазый с Поднебесной... За что любить-то их?.. Достали. Где ты рюкзак такой надыбал?.. И все вонючие, как пропастина – в баню не ходят они, что ли?.. Сумку себе приличную купить не можешь?

– Я с ним не первый раз... Со службы.

– Мне есть любить кого, хватает... Ну, ты, Истомин!.. Взял бы ещё мешок холщовый где и облепил его цветными заплатами, как хиппи... Раньше наш мужик, посмотришь, идёт, два китайца за ним баулы его ташут, теперь – наоборот. Обули наших они быстро... За народ тошно, а за державу обидно – власть нажила себе такую...

– Так поменяй.

– Ты как на дачу – с рюкзаком-то... Мне некогда – я делом занимаюсь. Это уж ты там, ближе к Центру... Тут – жёлтобрюхие, у вас там – Тору что чита-

ют... Когда ни включишь телевизор, днём или ночью, всё носом свесится и бороздит какой-нибудь через экран тебе по полу, будто махорку собирает, и всех умнее, как всегда... И не включаю... Не убивать – патроны надо экономить, ещё понадобится могут, если совсем стрелять уж не разучимся... по тирам только... из воздушшек... или по пустым бутылкам и банкам в резервации, – а всех собрать и отослать по месту жительства, в аулы, лучше, конечно, по этапу – это же можно, так ведь нет... А кто-то с них имеет, значит. Просто и чирей так не сядет – всё почему-то.

– Ксенофоб хренов, – говорю, хоть и мысли все мои о *жидком хлебе* – как бы вкусить-то поскорее – иду, страдальчески переживаю.

– Это который... Нет, не надо, – отвечает. – Хорошо тебе в Ялани... Правда, пока. Скоро и там не отсидишься – грядки пропалывать и поливать заставят. На старухах яланских женятся, дерьмом своим и твоим завалят твой огород и лук на нём начнут выращивать, тебе работу им, только тухлым, оплачивать. Сами всех в округе ящериц, жуков и кузнечиков выловят и сожрут... А заведутся в доме у тебя клопы, ты ж их выводишь?

– Ну? – спрашиваю.

– ... через колено гну. И правильно, – говорит Андрей. – Нечего плодить.

– Ведь это не клопы.

– Хуже. Дихлофосом не отпугнёшь... А мне противно – дом-то мой... И вся Ялань твоя пропахнет... говном и луком... не хвойным лесом – весь выпилят на палочки для жратвы да на свистульки. Перераспределение доходов и имущества, Истомин... а не украл, – говорит Андрей, уже забыв, похоже, про сбившую его с темы гадалку. – Мыслишь мелко и

убого. Ты отстранись... В природе так же ведь – вон чайка в клюве понесла – у крыс же чё-то отняла... или у кошек... От лоха к стоящему, к деловому – чтобы добро не пропадало. Пример тебе – природа вон диктует. Голова на плечах есть – учись, вникай, перенимай, учебник вот тебе – перед глазами. Мозги-то если не прокисли... Ну зачем дураку деньги, Истомин, скажи мне, пожалуйста?

– Не знаю, Мунгалов.

– Да он и сам, дурак, не знает.

– Дураку-то, может быть, как раз они нужнее.

– Ага – нужнее. Ты по себе-то не суди... Такого деньги только портят. Пьяный и баба за рулём – преступники, а дурак с деньгами – отвязанный петлюровец с пулемётом, отморозок-террорист с атомной бомбой... Пусть копит фантики – бумажки тоже, но – для себя безвредно и для общества... Между такими же меняться можно, между дураками. Можно и воевать поненарошке и просто морды бить друг другу.

– За что, за фантики?

– За Родину, за Сталина, за мир во всём мире, за царя ли... Дури для них, для дураков, всегда хватает, слава Богу. Лозунги в руки – и пошёл... Приватизировать, а не украсть... Воруют мужики в колхозе... Воровали. И когда-то. Спроси у Димы, теперь – нечего. Купил подешевле – продал подороже! А ты как думал?.. Не ворон считать в Ялани и не тучи разгонять... веслом. Ты, я смотрю, совсем отстал от жизни.

– И догонять не собираюсь.

– Такой упёртый?

– Нет, ленивый.

– Смотри, как жизнь людей меняет. В школе надежды вроде подавал.

– Ну, детский сад бы ещё вспомнил... ясли.

– В яслях тебя не помню, только – няню.
– С горшка не слазил, и не помнишь: няня снимала и садила – только и делал.
– Не оскорбишь.
– И не пытаюсь, – говорю.
– Прошлым числом не устроишь, – говорит Андрей, – переносить намеченное, объясняю для ленивых, вперёд сдвигать, куда-то втиснуть – в ущерб себе, на радость конкурентам... Ты там – поднялся, почесался... Хотя бы заранее предупреждал – ну не за месяц – за неделю. Всё ж не по дням расписано, а по минутам.

– Не по секундам?
– С горшка не слазил – почему?.. Где и, бывает, по секундам... А ты в себе держал всё, что ли?

– Ну, Штольц ты наш тунгусского замесу... Откуда знать мне – почему... Переживёшь, купчишко новоявленный... Бабы замучили, наверное? – все бизнес-планы. Пока я здесь, дождя не будет.

– Наглец, Истомин. Тебя встречают тут, как барина, а ты... У вас, туда-сюда, у болтунов, минута просто, а у нас за эту самую минуту и без штанов и без всего остаться запросто... ну без штанов-то – ещё ладно, а то и так – без головы... Киллер управится и за секунду. Скорее пули только мысль: мама, прости меня, сыночка. А время в пятницу никак не может подойти?.. Чтобы собраться и поехать.

Идём. Вышагиваем нога в ногу – мне так удобней: голова не по такому маленькому радиусу кружится и, значит, не частит, а реже обращается вокруг своей оси, как какой-нибудь Юпитер, – так кажется, – боюсь и сбиться. У Андрея на руке, как у застольного прислужника салфетка, перекинута лёгкая светло-серая куртка – тепло, так и разделся; в бледно-розовой ру-

башке, с галстуком – широким, красным, как рабоче-крестьянское полотнище; Троцкий в таком, поди, разгуливал, или Свердлов, или Бухарин; газету-тубус в урну выбросил по ходу. Одеколоном, не определяю – каким, от него разит – как в парикмахерской – мне даже дурно – после «Сибирской» – так уж вовсе. У меня – двумя лямками на одном плече – рюкзак брезентовый, зелёный, мой – *служебный*, с инвентарным, институтским, номером 04-1001 на клапане, выжженным хлоркой, – *археологический* – привык к нему, не расстаюсь с ним – что раздражает-то Андрея. Пусть. Мне с ним на *стрелку* не ходить. Куртку с себя не снимаю – действие для меня сейчас трудно выполнимое, сниму потом уже, на месте, – иду, об этом думаю периферийно.

– Как уж получается... Планов особых нет, не строю, – говорю. – Страдать нечему. Сидел, сидел – поехал... Бог даст – доеду.

– Ну вот, поэтому так и живём, – говорит Андрей. Идёт он быстро, едва за ним поспеваю: мне же ещё и равновесие держать – даже и запыхался, ему-то что – шагает бодро – пил только кофе... у какой-то Эльки.

– А как живём? – спрашиваю.

– А так, как получается...

– Ты не мудри, мне пока сложно... Пива вот выпью, уж тогда. А лучше что на опохмелку... водка?

– Как краснобай один наш выражался: хотели, мол, как лучше, а получилось, дескать, как всегда... Взгляни вокруг.

– Себя бы выделил.

– Да я-то ладно... Выходных в бизнесе, дорогой ты мой, нет. Пока ты станешь кости свои нежить, спинку жирненькую солнцу подставлять да с мокрых губ слюнями в пространство брызгать о высоком и прекрас-

ном, кто-нибудь далеко тебя объедет, и правильно, заметь, сделает... Можно убить его, но – уважая.

– И пусть объедет, – говорю. – На Бесконечности гонок не бывает, и это не победа.

– Ну это там, – говорит, – а на кривой тут... Тебе, Истомин, не понять. Ты и всегда был с прибабахом... На том свете будем отдыхать, короче. Понял?

– Кто знает?... Ещё не был. И на лучший исход не рассчитываю.

– А чё тут знать... Лучше совсем не выпивать. Или уж делать это, так умеючи. Чтобы потом не похмеляться. Ну, можно в меру... иногда, чтобы расслабиться, так ну не то же, что вы пьёте... Денатурат не пробовал?

– И лучше проиграть, чем выиграть.

– Ну уж ты скажешь.

– Для души полезней. Победа мало чему учит, – говорю.

– А стеклоочиститель? – спрашивает Андрей.

– Другой купишь.

– А ты про чё?

– Про чё – про зонтик.

– Да, хорошо вчера вы с Димой, видно, посидели.

– Не только с Димой, – говорю.

– Уж кто бы в этом сомневался, – говорит Андрей. – Свинья друзей и грязь найдёт. Истомин, ты меня не удивляешь. Ладно, порода крепкая, а так давно бы уже спился.

Смотрит он, повернулся, на меня. Смеётся. Смотрю и я в глаза его чёрные, раскосые, непроницаемые, как антрацит, и представляется мне почему-то, будто в зрачках его мелькают циферки – как в калькуляторе – можно считать: во сколько обхожусь ему я, *по-минутно*. Уезжать буду, думаю, взгляну, каким окажется *итог*.

Вот, думаю.

Подождали к его машине. «Жигули» какой-то модели, из последних; я в них путаюсь. Вишнёвая. Со спойлером. С другими *наворотами*. Словно в приветствии, давно не виделись как будто, выставил Андрей к ней руку с пультом, что в связке с ключами, – вякнула машина – будто поздоровалась – и подмигнула всеми фарами – отзывчивая.

– Рюкзак в багажник положи.

– А что в салоне не поместится?

– Воняет от него.

– Чем?

– Черемшой. Ты-то принюхался, тебе-то – как родное.

– И что?

– Привык жить, как в хлеву... Зачем мне это надо?.. Мало ли кто ко мне тут сядет. После тебя полгода не проветришь.

Положил я рюкзак в багажник. Наклонился над ним, над рюкзаком, носом потянул в себя – нормально вроде – запах Ялани и тайги – действительно, родное.

Сели в машину. Поехали.

Едем.

– Окно открою... Запотели... Любой гаишник остановит. Ну, ты... Истомин... надо ж так нажраться.

– Ничё, откупишься.

– Где так наклюкался? – спрашивает.

– Между Яланью и Исленьском... Да с Димой, с Димой, – отвечаю. – Ну и ещё с одним... Купи мне пива.

– Перебьёшься, – говорит Андрей через какое-то время, остановив машину перед светофором. – Домой приедем, выдам тебе пива. А здесь мне нечего... устраивать пивнуху. Ещё тут с рыбкой разложишься...

Да то, что с Димой, я уж знаю. Он мне вчера, звонил, уже похвастался. Болтал, болтал – в своём репертуаре. С тем больше делать нечего, как только напиваться. Два сапога пара, – говорит, из-под щитка косясь на светофор. – Сколько ж вы вылакали – как из сопла... С Димой. Тому ведро налей, употребит, мало ему, потребует второе. Как конь сельповский... Его хозяйство-то ещё не развалилось?

– Да вроде нет пока.

– Ну, за счёт леса, может быть, ещё потянут.

– Который ты в Китай толкаешь за бесценнок – Родину грабишь... А то разнылся тут про косоглазых. Что бы ты без них делал?

Поехали. Лавируем в потоке. Обгоняем, прижимаем. И с нами так же поступают. Никто ни с кем не церемонится: ты – на дороге, а не в бане. Не по-людски как-то. Ну уж какое по-людски, где *бизнес-планы*.

Сижу, думаю:

«В Ялань хочу, хочу обратно».

Окно открыто – газы выхлопные, не мои, с улицы – угореть от них можно и не очнуться. И чем они лучше, чем от черемши, – думаю. Андрей – тот, явно, придышался – не реагирует, похоже. Мутант.

– Противогаз, пока я здесь, заедем, купим, – говорю.

– Не только в Китай. Почему? Лес всем нужен. И везде. Строятся люди. И у нас, – говорит Андрей, меня будто не слышит. – Если у тебя там есть тупичок какой, тебе вагон могу отправить. Кругляка. Можно и доску. Ты поспрашивай. Но только с предоплатой. Продашь – десять процентов твои. Дело пойдёт, подружился. Процент прибавлю. Только по старому знакомству. А кинешь, под землёй найду и голову сорву тебе, не пожалею. Не кровожадный – бизнес так диктует: не прощать ни папе и ни маме, и себе тоже, а

то какой же будет бизнес... Иди тогда в консерваторию, дуди на дудке, скрипи на чём-нибудь, пиликай, надоедай добрым людям – может, и сжалятся да поладут, чтобы заткнулся... Цветочки в поле собирай, плети из них веночки, после неси их на базар – кто, может, и купит; для бани веники вяжи – на эти спрос уж, точно, есть. Бизнес – занятие мужское. Хотя и бабы есть, не дай Бог... поцелуй да выбрось... Одну я зна-аю – вепрь в юбке... Зачем тебе противогаз?.. У этой зонтик не оставил бы... Тебя закажет, и п...й не дрогнет, а только клацнет ею, как капканом. А ты мне тут: противога-аз... Зачем тебе противогаз?

– Да ни за чем. Уже проехали.

На панели приборов пристроена икона в пластмассовой золочёной рамке: Богородица, Владимирская. Между мной и Андреем свисает с потолка плюшевый панда, болтается – оберегает.

Господи, Господи, Господи, Господи...

– Ну, тупичков там у меня хватает, – говорю. – Только туда вагончик не загонишь.

– А чё такое?

– Ничего... Без головы ходить не хочется. Хотя сейчас... пусть бы её, до пива-то, и оторвал кто.

– Чё ж вы такое пили с этим... с Димой? Не жидкость тормозную?.. Одеколон «Тройной»?.. Родину грабишь... Кто кого, – говорит Андрей. – Соки последние вытягивает. Родина. Кому-то Родина, кому-то – шило ниже поясницы... И всё равно ведь кто-нибудь займётся этим. Кто же клондаик такой упустит. Это ж – пространство, применение... и – рынок. Лучше уж я, не дядя издалёка, я-то по-божески ещё, да и не жульничаю шибко... Ну только там, где грех не смухлевать. Сам Бог велел...

– Что – мухлевать?

– С сестрой – нельзя, хотя и можно... если, канес-на, осень хосэц-ца.

– Не помню, – говорю.

– Чего, кого? – спрашивает.

– Когда велел Бог мухлевать.

– Мы не домой пока... Надо тут съездить... Всё равно день по твоей милости насмарку, заодно уж... Дачу строю... На этом берегу. Выкупил место... Уже неделю не заглядывал... Тут спокойней, чем на правом... Ох уж, Истомин... Глаза бы мои на тебя не смотрели.

– А на меня не надо. На дорогу.

Едем. Из города выбрались. Теперь быстрее продвигаемся. И тут машин всё же меньше, к тому же, встречные всё больше – в город, шуршат по смежной полосе. И выхлопные газы поредели.

Солнце близится к притину – из-под щитка глаза едва цепляет.

Отвалился Андрей на спинку кресла, покрытого не то циновкой, не то ковриком – из круглых косточек как будто от конторских счётов. Пальцами барабанит по рулю. Под нос себе что-то тихо замурлыкал – как сытый кот, которому за ухом почесали. Перестал тут же. И говорит:

– Истомин!.. Я бы, конечно, дал тебе немного денег. Чтоб ты хотя бы приоделся, то ходишь вон... как чмо поганое... Тут так бомжи не одеваются... Может, у вас там, в Питере... не знаю.

Осмотрел себя, как смог.

– Нормально вроде, – говорю.

– Картошкой, видишь, вон торгуют на обочине, пойдди скажи им, – говорит. – Но таким, как ты, а таких, как ты, Истомин, лентяев и мечтателей долбанных, у нас в стране навалом стало, к сожалению, надо давать не рыбу, рыбу вам дай, смолотите, и толку-то, –

а удочку. Вот, предлагаю ж вагон лесу... Подшевелись, подсуетись – компьютер добрый себе купишь и на машину заработаешь... От дяди всё подачки ждёте. Когда придёт кто, в рот на ложечке положит.

Вдоль всей трассы, с той и с другой стороны, стоят кучками люди – чем только, видно, не торгуют – с дачных участков, или с деревень. Многие – в фартуках, в белых и в чёрных.

Глазною мазью помажь глаза твои, чтобы видеть... – через меня в упор откуда-то – едем же – скорость – так навывлет.

– Зачем мне твои деньги, – говорю. – Благодетель. Не умножай глупости и пошлости, и так отбою уже нет – заплонила, уши забивает... Удочку.

Моё только то, что я отдал... – опять оттуда же, опять навывлет. Как сито, стану скоро, как дуршлаг ли.

– Да пошлости-то почему?! Заткни их ватой, свои уши... Жизнь, – говорит.

– Жизнь, – говорю. – Пошлости – потому, что пошлости... *Или еще рыбы просит, еда змию подаст ему?* Иногда надо дать удочку, а иногда, наверное, и – рыбу. Христос и рыбу ведь давал. А после Сам, ради таких, как мы с тобой, чтоб искупить, на крест отправился. Всякому случаю – своё... Человек будет умирать от голода, лежать без сил, а ты ему, умный такой и деловой, удочку станешь навязывать. В лицо не плюнет?.. Сначала рыбкой накорми... А мне бы пива... И у меня в Ялани есть удочка, и даже спиннинг. Не заботься... Ловить сетями не люблю. Мне так хватает... Ну а одет – нормально вроде.

– Ну, накормить-то – накормлю. Не жалко, – говорит. – Рука моя не оскудеет.

– Мошна, – говорю.

– Бабки сидят – я подаю им, – говорит. – А то рассядется... такой – по морде только ему хлопнуть... Ну а потом-то?... Вы так привыкли – на халявку... Заладил: пива – обойдётся.

– Потом – суп с котом, – говорю. – Мне уже дали денег – долго не истрачу... Страсть к деньгам неестественная, и кто добровольно преодолевается оною, тот грешит непростительно. Это не я придумал. Не моё. Я лишь запомнил. Ефрем Сирийский. Ты не читал, поди, такого?

– Когда читать, Истомин!.. Некогда. Это тебе – лапу в берлоге посплюнь да книжечки полистывай.

– Богатство течёт, не прилагай к нему сердца... Это уже *Великая Труба Святого Духа* – апостол Павел.

– Душу за деньги не продам.

– За что другое?

– А за что?... За власть? Она мне не нужна.

– Это пока. Не зарекайся.

– Нет уж, Истомин. Боже, упаси. И без неё, без власти, жить не успеваю. Мне дело нравится моё. А порулить – я лучше на машине.

– Какое дело? Деньги множить?

– Сейчас без денег ты никто... Поп есть один тут, книжку мне подсунул... Давал немного на ремонт им – денег бы не было, и чем бы, кстати, им помог?! Почитал. Сказки и сказки – так мне показалось. К тюрьме какой-то там подходит, и двери сами открываются. Оковы с рук и с ног, как по волшебству, сваливаются. Книжка. Придуманно. Нет уж, не свалятся, пока ты сам их не распилишь. Раньше, конечно, люди верили – им это нужно было... для чего-то... для дисциплины, для покорности. А мы-то не рабы... Царь или Церковь приказала, вот и писал кто-то, старался... за деньги тоже.

– *Рабы не мы.*

– Без денег-то – трепаться только – это сейчас не запрещают, хоть весь язык себе сточи... И на кресте висит там суток сколько-то, и поучает, в книжке... А до того ли?.. Ты подумай: прибитый, без воды, без еды и под открытым небом... Давай уж честно – сочинёно... Как бы спастись или скорее помереть – об этом если бы, тогда уж – правда... Но я крещёный, покрестился. И мать крестила, как родился. А я ещё тут... для надёжности. Может, неправильно тогда, не докрестили?.. С бабушкой, на коне, меня возили в город крадче. А кто там, где там, я не знаю, не в церкви, может, на дому... Изжога чё-то... Не от кофе ли?.. Надо на сок переходить.

– Спроси, – говорю, – у матери.

– Зачем?.. Спрошу, узнаю – что изменится? Спрошу, приеду, если не забуду... В Бога-то верю, – говорит.

– И хорошо делаешь; и бесы веруют и трепещут.

– Есть, конечно, – продолжает: – Нельзя без Бога. Русским – особенно. Построже б. Чтобы, как провинился кто где, сразу и наказывал.

– Забил бы стрелку.

– А нет Его, кого бояться, и народ тогда совсем распустится. Было такое – революции... И храмов сколько вон – сами не строили, а – поносили, сколько утробили народу – как траву выкосили... И для здоровья, – говорит, – оно, крещение-то, полезно.

– Самое главное, – говорю.

– А как ты думал?.. Батюшка мой – мужик он интересный... хоть и с причудинкой... после Афгана. И в могиле полежать пришлось, рассказывал. Один снаряд ухнул – засыпало, похоронило, второй взорвался рядом – выкинуло из земли... воскрес. Смеётся. Орден имеет и медали. В августе, в день десантника, и Девятого мая, два раза в год, надевает их на рясу, а в

карман кладёт плоскушу с чистым спиртом – ветеранов угощает... Что-то привиделось, когда в могиле-то лежал или летел когда из неё, привиделся ли кто-то. Что, спрашиваю, кто? Не распространяется. Смущать не буду, говорит. Не на того напал – меня смутишь. Но не пыгать ведь, паяльник не всовывать... Мы с ним на Пасху даже разговлялись. Бутылка виски у меня стояла. Чуть ли не год никто её не трогал – тебя же, слава Богу, не было, Истомин. Та же сивуха, самогонка – успокойся. Лучше уж водки, правда, выпить... Поговорили – понимает: благословил меня на бизнес. Время для сказок, дорогой, прошло. Какие сказки, а, Истомин?.. В каком мы веке-то живём. А написать можно всякое. Я вот сейчас читаю Данта. «Божественную комедию». Это конкретно. Там, у тебя вон, в бардачке, открой-ка. В супере. Руки-то мыл, а то запачкаешь. Бабу всю ночь, поди, протискал... знаю, после Ялани-то – как бык.

– Ладно, – говорю. – Потом... Читаешь всё же.

– Не расстаюсь, – говорит. – Вожу с собой уже полгода... Одна знакомая оставила в машине... с работы как-то подвозил.

– Честолюбие пучит тебя, чтобы эту болезнь устранить, следуй верному средству – почитывай книжки... Гораций.

– Гораций. Чё мне твой Гораций?.. Истомин, времени нет этим заниматься... Старьё, наверное?.. А этот ловко там со всеми разобрался, всех их по аду рассовал. Честное слово, уважаю, – говорит Андрей. И говорит: – А чё, скажи, тут неестественного?.. Деньги и деньги. Средство. Кто от них, ты назови такого мне, откажется? Кто-то их может смолотить, а кто-то нет, и вся проблема. Вроде и просто, а попробуй... Запоминаешь только то, что для тебя сейчас удобнее, чем

оправдаться всегда можно. Фрейда почитывай... и психиатров... Кишка тонка. А то какой-то там Гораций... Гораций – слышал вроде чё-то.

– Может, психологов?..

– Психологов и психиатров... сами придурки, но полезные... а не Ефремов. Ефремы – прошлое, деревня... Ещё Ефремова – «Туманность Андромеды». До сих пор помню, а читал ещё в школе. Правда, про что, уже забыл. Тямы нет, не можешь заработать, ну и нашёл себе вот: непростительно... Имеешь деньги – чё плохого? Чем больше, тем лучше. Я же наркотики на них не покупаю, втридорога потом не продаю. Детей чьих-то на иглу не подсаживаю. А позволяю людям прокормиться. Плохо завидовать, а не иметь... Ты знаешь, сколько на меня работает?

– На тебя?

– Ну – у меня. И на меня... бывает тоже.

– Кто говорит, что плохо. *Не иметь плохо, а иметь с пристрастием.*

– Я без пристрастия. Имею и имею. Дышу-то я... тоже с пристрастием?

– Есть у меня знакомые... дал бы им удочку, позволил прокормиться.

– В Питере?

– Да. Вложил бы деньги.

– Во что конкретно?

– В технологии, – говорю, – в высокоточные приборы.

– О-о, нет, – говорит. – Это ещё получишь назад деньги, не получишь... Скорей всего, что не получишь. Как подарить – отдать с концами. Если получишь, то когда?.. Себе на похороны разве. Уж и без денег похоронят, на земле лежать не оставят. Не Дед Мороз – подарки делать... Меня съедят за это время. Мне нужно так: сегодня – деньги, столько, больше желатель-

но, а завтра – втрое. Дело хорошее, конечно, понимаю. Но в перспективе... Та-ам, за облака-ами... Песенку помнишь?... Роскошь. Такое я сейчас себе позволить не могу...

– Ладно. Не можешь, так не можешь...

– Да, не могу, – говорит.

– С голоду, – говорю, – не помрут.

– У меня железа листового на два миллиарда...

Лежит на складе.

– Рублей?

– Рублей. И пусть лежит, в цене не упадёт. Законсервировано – не сгниёт, не заржавеет. Нет на примете покупателя?... Хотя один тут вроде замаячил...

– Забыл спросить, ты был на похоронах?... Нет у меня таких знакомых, – говорю.

– На чьих? – спрашивает.

– Виктора Петровича.

– Нет. На погрузке задержался. Жалко. На нижнем складе, под Иркутском. Но на могилку после съездил. Хорошей водочки плеснул, икорки чёрной положил... рассыпал по могилке, чтобы бомжи кладбищенские не склевали. Хлебушка, – говорит, – корочку. Огурчик. Чин по чину. Как полагается. И сам стопочку за упокой принял... Такие люди умирают... А проводить вот не пришлось. Приехал, тут уже узнал...

– Ну, он теперь тебе всю вечность будет благодарен... За икорку, – говорю, – особенно.хлопотать там теперь за тебя станет, чтобы к тебе придирик меньше было...

– А ты, Истомин... кстати, да!.. – резко ко мне вдруг повернулся. – Профилактику не делал?

Едем.

– Какую? – спрашиваю.

– Пора. Здоровье-то... Уже не мальчик.

– Нет, – говорю. – Но я пока... вроде не жалуюсь.

– А зря, что не делал, – говорит Андрей; вернулся глазами к дороге, вперёд смотрит. – Это кажется – здоровый, а начини проверяться – и ахнешь... Простата, парень. Не шути. В один прекрасный день, или в ужасную ночь, в штаны к себе заглянешь по привычке, а там оно – на полшестого. И опозоришься. А так – что нужно будет очень – для удовольствия взаимного – обидишь женщину – или для пользы... Стреляться вздумаешь ещё... Вы же там, в Питере, все нервные, чумные... В больницу лень идти, сам утруждайся.

– Чем?

– Этим.

– То есть?

– Этим, этим... Когда сидишь, и напрягайся. Делай, делай... И когда ходишь, делай, делай. Возьми себе за правило, в привычку. Немолодой уже, Истомин. Или всё в мальчика играешь?

– Играю. Жизнь же – игра: сегодня в мальчика, а завтра – в старика... то в казаков-разбойников, то в прятки.

– Ага. Дошутись, Истомин. Каким ты был, таким ты и остался. Жизнь ничему тебя не научила... С прибабамом... Где-то учился там, а толку?.. Институты ума не добавляют, убавляют... сохнет от долгого учения.

– Да, толку, правда, никакого... Не добавляют, убавляют... А-а, да, о чём ты в прошлый раз втолковывал мне... Вспомнил, – говорю. И подло думаю при этом: «Ну вот. Андрей Такойтович Мунгалов. Едем. Разговариваем. Доверительно – так мне кажется, да вот ошибочно. Я с вами всерьёз, хоть и, по временному состоянию своего в добрые дни обычно крепкого здоровья, ныне с великою потугой, но зато честно. А вы сидите себе, руль покручиваете и – *утруждаетесь*: не

со мной – со мной-то так только, по пустякам – ведёте *беседу* основную, а, ёрзая незаметно, со своим другом-сфинктером содержательно и непрерывно разговариваете: *делаю, делаю*. И надоумил кто-то же, где-то ли вычитал... Продвинутый. И как на всё тебя хватает?... И профилактика, и Дант». – Нет, забываю, – говорю. – Памяти нет совсем – *не молодой-то*. Тут про склероз бы не забыть.

– Ну и напрасно, – говорит. – Когда жареный петух в задницу больно клюнет, меня помянешь... Вечером, может, сходим в ресторан? – спрашивает. – Есть у меня... знакомый держит. Чёрнозадый. Обязан мне... Лично обслужит, – говорит. – По высшему разряду. Попросим – песенку споёт... и стриптиз, попросим, спляшет.

– Живого места уже нет – так исклевал... Всё-то тебя и поминаю... Нет, не сходим, – говорю.

– Почему? – спрашивает.

– Потому, что тяжело болен, – отвечаю.

– Чем?

– Социофобией.

– А это чё ещё такое?... И чем ты её лечишь?

– Заморскими оподелькоками... Конечно – водкой.

– Ага, Истомин, весь ты в этом. Из рода в род – тот же урод... Для вас, для русских, панацея, – говорит Андрей. – На всякий случай жизни применима. Средство незаменимое. Все свои хвори водкой лечите. И насморк, и тоску... и паховую грыжу. Зуб заболел – стакан на грудь – и полегчало... Куда он прётся – на обгон-то?... – *Обошёл* нас кто-то на *японце* на высокой очень скорости, *подрезал*, резко вырулив на нашу полосу. – Радость – отметили, горе – залили... Сколько их развелось тут, отморозков... А не болит ничё – тоже ведь повод.

– Ну, верно: пить – горе, – говорю, – не пить – вдвое... А почему себе такую же *крутую* не купишь?

– Кто-то родился или умер, неделю, минимум, не просыхаете, – продолжает Андрей, пытаясь разглядеть за чем-то номер обогнавшей нас *тоёты праворукой*. – Местный. Наш регион. Придурок... Тоже, наверное, под мухой... Как поросята, нахватаетесь, потом замучаете всех своим похмелем, и за примером далеко ходить не надо, рядом: пива подай ему, хоть тресни... Всех заучаствовать хотите, всех зазываете к корыту... чтобы уж все вокруг, воронкой вверх, рогами в землю... Тогда нормально всё, отлично. Свои, родные. А трезвый кто вдруг затесался, того по морде...

– Как за ревизию марксизма.

– То посмотрел на вас не так, косо, – говорит, – то сказал вам не то чё-то.

– Правильно. *Пусть либо пьёт, либо уходит*... Не мы одни, наверное, такие, раз – *аква витэ*. И нет греха непростительного, – говорю, – кроме нераскаянного... Я же раскаиваюсь.

– Каждый раз?

– Да, каждый раз.

– И думаешь, прощается?

– Надеюсь.

– Ну это же смешно.

– Как есть. Прости меня, смешного, – говорю.

– Да я-то, ладно, – говорит, – мне вас, пьяниц, даже жалко, когда вижу где какого под забором... Лишь бы опохмелиться, там хоть с чёртом... Где-нибудь так наобгоняется. Лихач – подрезал, тоже... клоун... урыл бы – встретил. Тоже, наверное, соскучился по пиву...

– С ним вот не надо. Зря не наговаривай. Черти не пьют, и без того пьяные – от гордости... Да пусть, объ-

ехал и объехал. Тебе-то что?.. Может, торопится куда-нибудь.

– Куда торопится – на кладбище... Зачем такая тачка мне? Светиться лишний раз?.. Еду на этой, и спокойно... А то завистливых-то много, – говорит. И говорит: – Сопли и слёзы – по полной программе. *Ты меня уважаешь?* – *Уважаю.* Душу свою, как приבלатнённый – ватник, нараспашку, и в чужую, отрыгая перегаром, лезете бесцеремонно, ещё и вилкой в ней поковыряетесь, как в винегрете...

– А в винегрете-то зачем? – спрашиваю. – В нём всё, что есть, и так известно... Проще уж некуда...

– А не пускает кто, за нож...

– Преувеличивать не надо, и так довольно оболгал... *Ко мне, горемычные люди, ко мне, молодцы, поскорей! Ко мне, молодцы и девки, – отведайте водки моей!..* А ты не русский?

– Русский. Но – не поросёнок... Я – новый русский, – и смеётся. – Обновлённый. – И говорит: – Не куришь, хорошо ещё, в машину бы не пустил.

– А как?

– А на такси тебя бы посадил или пешком отправил, чтобы выветрился...

– Ну?!

– Баранки гну... Не выношу табачный запах. От пропастины будто...

– Скажешь тоже.

– И тому, кто дышит им, табачным дымом, говорят, среди курильщиков, вреднее.

– Полутунгус-полутатарин... Оно и видно... Обновлённый. Тебе вот пить совсем нельзя, это уж точно.

– А почему? Я – не монах.

– Монаху можно, а тебе нельзя.

– Так почему?

- А потому, что нет иммунитета.
- Придумал тоже... Ну, Истомин. Иммунитета б не было, давно бы уже спился. Взглянул бы лучше на себя.
- Я – славянин.
- А я?
- А ты почти *эвенка*... И раз-то в месяц, то и в два. Редко, да метко, правда, тут уж не поспоришь, зато потом – как стёклышко...
- Пока не предложили... За прощание, за встречу – каждый день у вас, у алкашей, – говорит, – повод.
- Ты деньги любишь сильно, вот и держишься. Деньги отнимутся, карман твой избегать начнут, сопьёшься сразу... Только кумыс и простоквашу, и то, – говорю, – по разрешению доктора. А так-то пепси, поди, выбрал?
- Нет, что ты, вредно для желудка... Отнимутся... А кто отнимет? А? С умом-то если...
- Я бы сейчас и пепси, будь оно неладно, выпил. Один-то раз – не повредило бы, пожалуй... Во рту уже всё пересохло.
- Водки?
- Про водку мне не поминай.
- Не хочешь?
- Нет.
- Это пока её в стакане не увидел... И тебе не советую – сплошная химия. На капот капли – прогорит, краска-то, точно уж, облупится. Лучше квасу, но тоже только домашнего, чем эти пепси, колы, фанты... Всё, что ты ешь, должно быть натуральным.
- Водка?
- Из-под коровки прямо, с грядки, и без пестицидов... И водка в том числе. Не из опилок.
- Опилки – что уж натуральнее?

– Здоровье – главное, куда ты без здоровья.
– *Поклонившийся здоровью, его утратит.*
– Ну уж... В здоровом теле и здоровый дух.
– Конечно!.. Если не путаю, то Чикотило был физически здоровый, но был ли дух вообще в нём, я не знаю. Дьявольский?.. Может ли это пребывать в одной душе одновременно – Дух Святой и сатанинский?.. Да, кстати, а Амвросий Оптинский, Игнатий Брянчанинов... Здоровьем, кажется, не отличались.

– Да чё ты мне про Чикотилу. Он просто выродок... Маньяк. Городишь чё-то... чё попало... Амвросий Оптинский, Игнатий Брянчанинов... Все святцы мне ещё тут перечисли... Это здоровый-то, так духаришься.

Свернули с трассы на просёлок. Едем тихо – по колдобинам. Как подкрадываемся.

– Никак дорогу не отсыпят, – говорит Андрей. – Всё у них денег не хватает.

– А ты им дай, – говорю. – Благое дело.

– На всех не надаёшься... Давалка отвалится. После дождя творится тут такое... Всю ходовую разобьёшь, пока до места доберёшься. Ямы зальёт водой – и разбери, где глубоко, где нет – не видно; всем колесом в какую рюхнешься, и сердце ёкнет... Грунт ещё, слава Богу, твёрдый, то поелозил бы, как вошь по маслу... В левом переднем надо поменять подшипник... Ну, в ресторан не хочешь если... Хотя, Истомин, почему?.. Вкусно поели бы, попили бы и тёлок ещё сняли... там девки классные... как мотыльки слетаются... на кошельки-то... не дешёвки.

– На твой особенно.

– Мой редко там бывает.

– Я говорил тебе уже.

– А-а, вспомнил, ты ж у нас больной... да хорошо ещё, не спидом, а то сиди с тобой тут рядом, опасай-

ся... Тогда я девок наших привезу, твою Цветкову и Наташку.

– Была когда-то... Не моя.

– А в ресторан-то можно было бы и с ними... Те не больные – не откажутся. И со своими кошельками... Была. Что значит была?!. Про первую любовь нельзя так говорить – она не умирает, – говорит Андрей. Смеётся. Его, Андрея, в школе называли Живчик. – День покатаюсь по делам... После уж, вечером. Очень тебя хотели повидать. Пообещал им. Забрать их должен, где договоримся... Нинка и с этим, с третьим, разошлась. Наташка тоже одинокая. Уже старухи настоящие. Исто-омин!.. Время-то... Раньше мне пухленькие нравились, теперь – худые.

– Дозреешь скоро до резиновой.

– Типун тебе на язык!.. Хотя хлопот с такой, конечно, меньше, только надул да после сдул... Есть, пить не просит. Подарков не требует. И не зудит.

– Ну вот.

– Киллера не наймёт... и не отравит, сводись-разводись – половину имущества не отсудит...

Долго ехали – так мне показалось. Не по просёлку лишь, а – от вокзала. Когда и долго ведь не долго, как прогуляешься, и не заметишь, а тут – мучительно и для души и утомительно для тела – ещё в моём-то состоянии.

Приехали.

Остановились около подножия горы, крутой, высокой и поросшей: внизу густым, мелким березником, здесь совсем ещё зелёным – возле Ялани он такой в июле только, а уже в августе, после первых утренних заморозков, принимается, испуганный, резко желтеть и жухнуть; сверху – сосняжком, тоже некрупным и нередким. Вознеслась гора макушкой под самое небо.

Но чтобы посмотреть туда, сейчас и голову не запрокинуть мне – пока затылок не вернулся – мельком и глянул лишь и сразу отвернулся – не до большого мне сейчас, не до великого.

И отстранившись от горы – словно отпятившись: на всякий случай, мало ли, кто вдруг прикажет ей, и с места сдвинется, не раздавила бы нечаянно при этом, – какое-то сельцо или деревня, сельцо наверное: церковица сверкает новым цинком купола, – подковой обогнувшее бакалду, в которой, крякая и гогоча, плавают, беспорядочно перемешавшись, домашние гуси и утки, испестрив собою отражённое в воде небо, и сбитый в островки упавший с них пух – как будто облачка на этом небе. На берегу сидят мальчишки. Человек десять. Рыбы в бакалде нет, наверное, – и не рыбачат, так-то бы вряд ли утерпели.

Благославляю вас, леса, долины, нивы, горы, воды, благославляю я свободу и голубые небеса! – сразу и вспомнилось.

Саяны. Уже нет ли? Ещё нет ли? На том, на правом берегу, они – конечно. Тут – не знаю. Отроги?.. Может, и отроги. Какой отдельный ли массив? Но всё равно: красиво – зачаровывает. «Ваш пленер меня пленяет», – так мой двоюродный племянник, живущий в Елисейске, ровня по летам мне, художник, выражается, когда меня в Ялани навещает, но извлекает при этом бесстрастно из сумки, испачканной красками, не кисти, а – бутылку самогона собственного производства: *чтобы ещё сильнее вдохновиться*. Ну и приходится – искусству не откажешь... Вблизи столица *малой* моей родины – Исленьск, нашими елисейскими казаками в первой половине семнадцатого века основанный, тогда острог – *от злых кыргызов*. Родина *малая* – это по *метрикам*, метрически, то, что измерить

можно, указать, ну а *большая* – это по духу – как укажешь, как измеришь? Есть на земле точка, центр – там ты впервые, вынырнув из материнских вод, рот открыл и разодрал окрестный воздух своим воплем: «Господи, Господи – где Ты, куда Ты меня вытолкнул?! Зачем?!» Мало кто помнит, что Господь ему тогда ответил. И радиус охвата просто разный, вплоть до границы государственной. Он, радиус, отсюда до Ялани – пятьсот, примерно, километров, когда-то – вёрст, исхоженных ногами моих предков, а по Ислени, так – *исплаванных на кочах и на стругах*. Андрея – тоже, тот уж и вовсе тутошний, туземец, по материнской линии, *остяцко-тон-гусской*. Глаз узкий, нос плоский, а сам русский. Отца не знает своего и никогда его не видел. Возник однажды перед матерью, как говорит Андрей о нём, и растворился. Андрей – *нагулок*. В кино б ему играть индейца – Куонеба. Не по характеру, а по *фактуре*. А по характеру?.. Не знаю. Штольц? Но Штольц же был не бабник, вроде, да и изрядно образованный, а у Андрея за плечами только девять классов средней школы, всё остальное так, по ходу и по яголке, прихватывал, что где лежало плохо, хорошо ли, – *нахватался*, теперь и Данте, его «Божественная комедия», в бардачке вон... *в супере...* как руководство.

Я болею, родина моя порой бывает нездорова, и хвори у нас случаются одинаковые, значит, и я, и родина несовершенны, и ей, как мне, выходит, можно, или нужно, посочувствовать, а совершенен только Бог, и вездесущ и всемогущ, так, Боже, помоги и мне, и моей родине – теперь кто хочет, тот в меня и покричит, подкравшись сзади, – через затылочный прогал; на всякий возглас отзываюсь – как ничем, кроме исполнительного и безотказного эха, не заполненная ёмкость. Не подобрал-

ся бы так и косматый – нашепчет вкрадчиво или уж гаркнет оглушительно – и ошалеешь.

Забор кирпичный. Красный – как собака – отец мой так обычно говорил про что-то ярко-броско-красное – про глину, например, им где-то выкопанную, про рубашу или юбку на ком-то надетую, или осину в сентябре, про чей-то нос ли на морозе, про мой, допустим. Если уж точно, то – малиновый. Словно не настоящий – нарисованный – забор-то – на картоне. В грозу, как Зверь, наверное, багряный – из темноты при вспышках молний возникает тут – из Ада будто. Представить страшно. Ровно сложенный – не придерёшься. Как крепостной – такой же неприступный. Железные ворота, чёрные, как воронок, глухие – без прощелины, без дырочки – не подглядишь, если захочешь. Площадь, забором этим огороженная, немного разве меньше той, что занята селцом, – обширная. Нашёл где строиться – под самой-то горой – стоит, стоит, а вдруг да и на самом деле стронется, пятой своей нечаянно растопчет. В страхе ложись и засыпай. Где-то такое уже было?.. Лучше сейчас об этом и не думать, и без того тревога одолела, неотвязная, беспредметная, и всех сейчас мне жалко без разбору – братца-комарика и братца-муравья... и братца-жулика и братца-живореза, но больше всех – себя, конечно, – не расплакаться бы.

Неподалёку тоже *крепостца*. И с кирпича того же цвета. И так же сложена – добротна. Только там, за забором, и дворец уже воздвигнут – не над горой, но над забором – возвышается. Окна пока лишь без стекла – *бойницы*. С башнями по углам – четыре их – шатровые, так же под цинком, как и купол церкви.

– Сосед, – говорит Андрей, перехватив мой взгляд. – Не помню, кем-то там при губернаторе... Сейчас же так всё – не по-русски... язык сломаешь.

- Шустрей, чем ты... Не экстрасенсом?
- Он раньше начал... Нет, советником.
- Одно и то же.
- Кадр незаменимый.
- А губернатора уйдут?
- Беда... К другому примостится. Сами придут за ним и позовут – мужик толковый, знает дело... Ещё в крайкоме кем-то был, при коммунистах... Такими средствами ворочает... Истомин, – говорит Андрей, четко, громко, с выражением, будто тупому, глухому или иностранцу, выговаривая слова, – губернаторы приходят и уходят, запомни, а контингент, который лямку тянет, остаётся. Губернатор – этикетка, а люди эти – как сосед мой – содержание, оно от этикетки не меняется... Когда он, губернатор, это понимает, тогда нормально, дело ладится, а если нет, тогда...

- Понятно.
- Примеров масса... Чё тебе понятно?
- Понятно. Всё, что ты сказал.
- Ему понятно... Не по Кеми да по Тахе со спиннингом и с вываленным на плечо языком таскаться... Ты за тайменем бегаешь, ломаешься, ему его на блюдечке доставят... я про соседа.

- Ясно.
- Чё тебе ясно?
- Небо вон ясное... Дождя пока не будет.
- Ну... ты наивный... пень дремучий.
- Не поместится, – говорю.
- Кто не поместится? – спрашивает.
- Таймень на блюдечке.
- Придуток.
- Пуля случайно в тело залетит, муха в кортеж нечаянно ворвётся...
- К чему ты это?

– Я про губернатора...
– А что ты хочешь...
– Честно?.. Пива.
– Власть и деньги... Заиметь их осень хоц-ца, а делиться ими с кем-то – нет... Ну так и правильно, с какой бы стати?

– Власть, деньги... женщины, забыл добавить.
– Много охотников до этого, – говорит Андрей. И говорит: – Всегда станет кто-то поперёк дороги.
– Ты же во власть идти не хочешь, – говорю.
– Боже упаси... С пивом достал уже, Истомин.
– Сразу на блюдечке-то разве интересно?
– А ты про чё?
– А про тайменя.
– Чумной, Истомин... Каждому, – говорит, – своё.
– Папа Целестин Пятый, – говорю, – святой, отказался, кстати, от власти, а твой наставник, в супере, которого ты возишь в бардачке, определил его за это в Ад, в какой вот только из кругов, не помню. Когда хороший человек отказывается от власти, её берут плохие люди. Это характерная черта наша, русско-тунгусская, перекладывать власть на чужие плечи... потом ругать её, как проститутку.

– Истомин, ладно.

Внутри заезжать не стали. Оставили машину около ворот.

– Я, может, здесь, в машине посижу.
– Пойдём. Посмотришь. Дома насидишься.

Зашли в ограду.

Вижу: фундамент, слышу: *под коттедж*. Под замок – вяло отвечаю. Сил нет делать вид, будто мне это интересно, – и не делаю. Плетусь следом. Ещё один фундамент – *под гараж*. Ещё какие-то великие начала. Почти, *без внутренней пока ещё отделки*, дострое-

на лишь баня. Двухэтажная. Котлован рядом – *под бассейн*. Конечно – *крытый*. Второй этаж у бани и переход из неё в бассейн будет *застеклённый*. *Стеклопакет, чешское*. Парилка, *русская, и сауна*. На втором этаже – *столик, кресла, самовар – не электрический, а настоящий, и уголёк берёзовый или таловый*. Ничего лишнего. Чаёк из трав, *без всякого спиртного*. И мне, дремучему, можно будет приезжать – *оттягиваться, одному, и с девочками*. Ну, преогромное спасибо – и я вписан в книгу. Септик – о нём рассказано было особо, только подробности вошли в меня и тут же вышли – не велика, пожалуй, потеря.

– Это тебе не у тебя в Ялани. Всё как положено, Истомин.

– А пулемёт где будешь ставить?

– Как у людей... А ты всё шутишь.

– Да почему?... Колючку надо протянуть. Вышку поставить. Часового.

– Там, у соседа, кстати, постоянная охрана.

– Кого-то, думаешь, удержит?... Я и подходы заминировал бы.

– Кого-то, думаю, удержит. Всё же... Ко мне он очень хорошо относится. Тут как-то съездил на рыбалку, куда, не спрашивал, а он не говорил, туда, к нам, вниз, наверное, куда тут больше... Меня увидел здесь, принёс мне два добрых куса нельмы и осетрины слабосолёных. К себе пока не приглашал. Поговорили, познакомились? Мужик серьёзный... Сразу видно.

– А к нельме и осетрине пива не добавил?

– Пива не пьют такие люди.

– И что же пьют такие люди?

– Коньяк. И водочку. Но не такую... какую глушите вы с Димой... А может, только минералку?

- Ну, значит, долго проживёт.
- Не знаю... Инфаркт недавно вроде был.
- Опять неладно.
- Говорили.
- Пусть на пустырьник переходит... валокордин ли.

Тут же и огород. Грядки, сделанные как попало, не то что у моей матери – там уж порядок, так порядок – у неё-то. Рядом парник, едва, наспех, сооружённый. Ботва ещё не пожухла, вижу, и огурцы ещё не околе-ли. Намного всё же тут теплее... чем в Ялани. Здесь и ночей-то белых не бывает. Об этом думаю.

Сорвал Андрей с парника огурцов, вырвал из грядки несколько морковок, редьку, ещё какие-то овощи, сходил, помыл их под краном возле бани. В пакет полиэтиленовый их уложил, унёс за ограду, там положил, наверное, в машину – багажником-то хлопал. Вернулся.

– Галине, – говорит, – отвезу. Девчонкам. Вита-мины.

– Ещё кому-нибудь? – предполагаю.

– Нет, – говорит. – Обойдутся. И так от сытости лоснятся. Нельзя женщин баловать, Истомин. Ни тебе от этого пользы, ни им самим, ни государству.

– Только захватчикам.

– И чёрнозадым.

– О государстве озаботился. Уж не смешил бы.

По территории ходят робкие, смуглые люди, оде-тые в *строительную робу*: в кроссовки и в спортивные штаны и куртки – *адидасовские*.

Работники. Эти уж точно: на меня.

Крупноносые, густобровые и тёмноглазые и не си-бирские совсем по своей внешности – *южане, персы* с монгольской или с тюркской примесью, *не наши*, – смотрят с заискивающим достоинством на Андрея

издали, словно воспитанные лайки – нет хвостов, и не повиливают – всё во взгляде и в позиции, но подходить к нему, к Андрею, не осмеливаются, хотя по виду-то – намерены. А тот внимания на них не обращает – и нет их словно тут, поблизости, как будто нет их и вообще. После уж подступил один, набрался храбрости, самый из них старший, похоже, – определить их возраст не умею я, лет тридцати или пятидесяти, – как холоп к барину, на плохоньком русском языке изъяснил что-то – про деньги – так мне показалось, но, что конкретно, я не разобрал. Андрей, не глядя на него, ему ответил:

– Когда?.. Решите, скажешь. Уже на той, наверное, неделе. Куплю билет ему. Только на поезд. На самолёт не заработал... Пока и сам сижу без средств. Всё. Приступайте.

Стоит *работник* – соображает – так кажется; дня три, наверное, небритый.

– Спасибо, – говорит, – хозяин, – ни слова больше.

– Иди, – говорит ему Андрей. – Что-то не вижу, что вы тут успели сделать... В пятницу к вечеру приеду. Продукты есть пока?

Кивнул *работник* утвердительно и отошёл от нас, к своим приблизился. Подались молча кучкой – шестеро человек – к бетономешалке, закопошились около неё, та зашумела – заработала, а их не слышно.

Чувствую себя неловко, виноватый будто перед этими людьми. Бывает. От малодушия порой не знаешь куда деться: не перед ними отвечать мне – перед Господом, и всё равно вот... суетливый.

– Иди, садись в машину, – говорит Андрей. Так – для меня-то – прямо к стати.

Пошёл я, сделал, как мне было велено: сел в машину. Сижу. Вижу: вокруг красиво. Креста на церкви

ещё нет, не установлен, но всё равно – глазами на неё перекрестился – благолепие. Чуть-чуть сместилось: слева Ялань теперь, справа – две *мушки*, одна такая – оперлась на палку...

Господи, Господи, Господи, Господи... Там, на горе, на самой её маковке, куда я вскинул всё же взгляд, голову заломив излишне резко, Андрей Юродивый мне поблазнился, перстом как будто погрозил мне – усо-вестился я; птица большая опустилась там в сосну – так, может, ветка закачалась; отвёл глаза, в себя у-ставился я ими – как в пустое.

Вскоре и он, товарищ мой, пришёл. Сел в машину, дверцу захлопнул. На руль облокотился – устал буд-то, на самом деле ли. Молчит.

– Ленивые, – говорит после. – Пока стоишь над ними, вроде шевелятся. Кнутом и палкой надо подго-нять... как раньше негров на плантациях. И только плёткою, без всяких пряников. Денег, подходит, ещё просит. Ты заработай! – заплачу... Как чё, навевывался в прошлый раз, назад неделю было сделано, так и осталось, с места нигде, смотрю, не сдвинулось. Чуть, для близиру лишь, поковырялись. Вот настоящий долгострой, перед соседом даже стыдно... Чёрноза-дые, они и есть, Истомин, чёрнозадые, а ты: с при-страстием ещё мне... Никакой Маркс вместе с Энгель-сом и никакой Дарвин их не исправит... Львом не по-мрёшь, макакой-то родился.

– Наших найми.

– И с наших толку... Эти не тащут хоть. Пока не замечал. Если замечу, руки отрублю... или в цемент всех замешаю.

– Нашим платить больше надо?

– Ага. Посуточно: сегодня – пью, а завтра – похме-ляюсь, а послезавтра – на душе тошно, или на солнце

магнитная буря. Сам не знаешь?.. Тебе-то ладно – снежный человек – не касаешься... И покуражится – мастеровой, если один такой на всю округу, нарасхват если – и потопчись вокруг него, поклоняйся. Убил бы, гада... Ещё и праздники да выходные. Наши живут – куда им торопиться: за день всё равно Россию не объедешь...

– Что там у них?.. Случилось что?

– У этих?.. У одного – маячил в кучке там, как попугай, в красных штанах и в жёлтой куртке – из родни кого-то зашибли... И сам по себе, может, загнулся – наркотики-то... Билет ему на самолёт. Ага. Бизнес-классом. Пешком дойдёт – недалеко тут... Ты ж вот на поезде доехал... Город какой-то... чуркестанский... или аул. Сначала поездом, а дальше на верблюде... Денег ему, конечно, дам. Пешком, голожопого, не отпущу... Уроды. Кто вот, не я-то, их кормил бы!

– Кормилец.

– Да! Представь себе, кормилец!

– Не дармод.

– В отличие...

– Понятно.

Развернулись. Поехали.

– А кто они? – спрашиваю.

– Кто, эти люди-то?.. Таджики, – отвечает.

– Жёстко ты с ними, – говорю.

– А не шалили чтобы, – говорит. – Иначе как...

На шею, парень, сядут... Младшие братья... По Союзу. Теперь на них жениться уже можно – вдрызг разроднились... В паспорте чурка ведь не пишут. Таджики вроде... по бумагам, а так-то хрен их разберёшь.

– И лев не пишут, – говорю.

– При чём тут лев? – спрашивает.
– При том же, что макаки.
– Скорей бы пива уже выпил... Как ты, Истомин, надоел мне.

– А я полдня о чём тебе талдычу.

– Деньги плачу, кормлю – какое уж тут жёстко... Жёстко у них там, в Чёрножопии... Я ж их в зиндане не держу... Хочет – работает, а нет – и скатертью дорожка... Кто ему больше где заплатит?!

Врубают Андрей в машине на полную громкость *музыку*. За задним сиденьем, пристроены колонки: *низкие*, словно кувалдой по пустой цистерне, бухают – контузят, визжат *высокие* по-пороссячи – мороз от них, *высоких*, по коже – как, для меня, гвоздём по пенопласту – нервно в сверло сворачиваться вынуждают – как уж могу, сопротивляюсь, чтобы стекло не продырявить лобовое. Тут же ещё: и голова с затылка полая, так что от этих адских бронебойных звуков глаза из черепа, боюсь, не выскочили бы и перепонки бы не лопнули ушные. *Блатная* песенка – теперь их море – наводнилось. И сам Андрей хрипатому шансону подпевает, того ещё и перекрикивает, да врёт, к тому же, при этом *неш-шадно*... как Чичиков. Не в словах, слова выучил – в мелодии, а там: *семь софок* – сколько ж можно – чуть не из каждого динамика и рта – как не в России будто мы находимся, а в ближайшем зарубежье, и поджидаем с нетерпением, когда подкатит поезд «Жмеринка – Одесса». Да подкатил уже давно, распахнул двери, и пассажиры из него все уже вывалились и разбрелись повсюду – мурлыкают, за деньги-то, да за хорошие, мурлыкать хрипло – везде родина.

– Выключи, пожалуйста, и сам выть перестань!

– Не нравится?!

- Не нравится!
- Как я пою?!
- И как поёшь!
- А песня нравится?
- Не нравится.
- А почему?
- Да потому...
- Ну почему? – спрашивает.
- Да уши вянут, – говорю. – Швондеры отступились

от «Интернационала», за шансон дружно ухватились, а Шариковы, вроде тебя, выучившись выговаривать «Главрыба», им усердно подвывают... и все хрипят, как при ангине.

- На вкус и на цвет... товарища нет.
- Я к вам в товарищи и не навязываюсь.
- А ты не Шариков.
- Не Шариков. Я из крестьян. Из столбовых. У нас

другие песни пели.

- Пели... когда-то, может быть, и пели.

Выключил Андрей *музыку*. Смейтся и говорит:

- Желание клиента – закон... Тёмный ты, Истомин.

Непомерно. Может, тебе до вечера с проспекта девочек доставить?

- Зачем?

– То злой какой-то, озабоченный... Ну а зачем нужны бывают девочки?

- Не знаю.
- Ну вот, и выяснишь.
- Нет, не хочу.
- А что ты хочешь?
- Уже знаешь.

– Ну и напрасно, алкоголик. То оттопырился бы нахаляву – за просто так, по старой дружбе. Нашли хороших бы, шершавеньких... А у моей Галины и под-

ружки дорогой моей, последней и единственной, эти... проблемы... в одни дни... Так неудобно.

– Не говори, Андрюха, пакости, а то... что черемшой не пахнет тут, в машине, пожалеешь... Мне это знать совсем не хочется. Воротит. По телевизору прокладки надоели. Ещё и ты тут...

– Кержак. Истомин, – говорит Андрей. Хохочет. – Воздерженец. Ещё не пил бы, и вообще...

– Зубы об руль, смотри, не вышиби... жеребчик. Живчик.

– Это же жизнь...

– Бока надсадишь.

– Или ты этот – женоненавистник?.. И седина вон, вижу, пробивается, блестит на солнце...

– *Слава юношей – сила их, а украшение стариков – седина.*

– Ага, старик, уже украсился... Только навыворот: бес не в ребро тебе, как у нормальных мужиков, а в печень въелся... как солитёр... тьпу на тебя!.. Цирроз ещё не заработал? Сходи, проверься.

– А разве в печени?.. С чего бы это?

– А с Димой больше пообщайся, попей с ним всякого говна – денатурата, водки самопальной – чё вы там жрёте?.. Какая разница, Истомин! Главное – не в ребро, как полагается... Без секса жизни не бывает. Так, прозябание сплошное... А телевизор не смотри, зачем тебе он?.. Время тратить... Только футбол когда транслируют...

– Не увлекаюсь, – говорю. – В окно гляжу – там интереснее. В Ялани – вовсе.

– Ага. Коровы и быки – одно сплошное загляденье. Там уж, поди, и этих не осталось. Старики вымрут, – говорит, – и скотину держать будет некому. И самой Ялани скоро не будет – место распадут под картофель... под коноплю ли.

– Ты ж говорил – под лук... Не пьёт Дима денатурат – с чего ты взял? – пьёт медовуху – чаще, реже – водку...

– Смотри на девок, здоровее будешь.

– Какая есть, из заграницы не заказывает...

– Не на экране – на живых, как можно ближе, а не издали...

– Такие же, как ты, бизнесмены *обновлённые* и производят...

– И смотри, а не подглядывай, как психопатошный.

– И в магазины поставляют...

– Спрос если есть, и поставляют... Да, с тобой, Истомин, не соскучишься... Тут как-то, весной ещё, засел у Эльки – надо было отлежаться, то стресс за стрессом, как на фронте... Зима-то год – без витаминов истощился. А Галька номер Элькиного телефона назубок выучила – по моей записной книжке, как по бутику, погуляла, – говорит Андрей. И говорит: – Заскочить надо, фильтр поменять. Ну ладно, после, ты уж как уедешь... скорей бы сплавить уж тебя, – и продолжает: – Сижу, пляюсь в телевизор: концерт, не помню, или сериал – какая-то муготень, как обычно. Звонок мне по мобильнику. Не отключил. Беру без всякого. Не думаю. Моя... А Элька в ванне плещется и благовонится. Разговариваю. Тут вот с клиентами, мол... разбираюсь, в офисе буду до утра. И телефон звонит, нормальный – железяка. Откуда знать... Кто-то приехал в город, что ли?

– Почему?

– Да поплавки... За каждым вон столбом. Гибэдэдэ... язык сломаешь.

– Я вот приехал.

– Ты – понятно... Так-то она всегда снимает, Элька. Тут я: алё-алё – туё-моё!.. Со мной по сотовому, секельдя, треплется, а сама по городскому номер на-

бирает. Кто подсказал или сама допёрла – развела меня, как лоха... Так кое-как потом оттаялся. Деньги ей в зубы сунул, чтобы не кусалась... Вцепилась – не вырвать... К себе тебя не повезу. Там дочки, Злата с Виолеттой. Занимаются. Одна – на скрипке, младшая, другая, старшая, – на пианино... Пива там, точно, не попьёшь... Такие талантливые: играют – слёзы наворачиваются. Я, правда, редко там бываю – времени нет, в разъездах больше.

– Ясно.

– Нанял учителей им, двух, приходят на дом. Ясно. Да ничего тебе не ясно. Детей родишь когда, тогда и будет, может, ясно... Одному из них помог издать какую-то книжонку... ноты сплошные, ерунда, а он – взахлёб об этих закорючках – хлюпик. Зоб, как у этого... у голубя. Нищий такой же, как и ты. А ты: с пристрастием... Чумные. На правый берег тоже не поедем – там знакомая моя остановилась. Просто знакомая, Истомин!..

– Да дела нет мне до твоих знакомых.

– А чё скривился?

– Я о другом.

– Вспомнил про гадость ту, что вчера пили?... Ну, пусть и выйдет эта книжечка, кто её купит, а, кому она нужна?... Тут у меня, на левом, есть квартира. Малогабаритная. Для Златы приобрёл. Для Виолетты есть, давно купил уж. На будущее. Они пока, мои, о ней не знают. Ни девчонки, ни Галина. Этим – рано, а той – вредно. Есть у неё подруга, у Галины, вместе они на юридическом учились... Всё нелады какие-то по жизни... да тут ещё... по женской чё-то части... Отдал квартиру ей на юге, в Краснодаре... Вот тоже... горе... женские-то части. А ты... Ефрем ещё какой-то... Филин. Я тебе – Данте... Алигьери...

– Выучил, – говорю.

– Ну, всё, приехали... Вот это книга.

«Ну, наконец, – сижу, в испарине холодной, ду-
маю. – Ну, наконец-то».

Свернули с улицы, медленно, объезжая детские, пустые, скучные сейчас, без детей, площадки со сказочными избушками на курьих ножках, с жёлто-синими лесенками, качелями, песочницами и красно-мухоморными *грибами*, покрутились по двору и остановились в тени под дикой яблоней, усыпанной, как забрызганной, сплошь красными ранетками, напротив одного из подъездов многоэтажного белокирпичного дома.

Сидим в машине. Отвыкаем от скорости, от набегавшей дороги и мелькающих обочин.

– Тут, – говорит Андрей.

– Слава Богу, – говорю я.

– На солнце всё... Глаза устали, – закрыл Андрей глаза и пальцами одной руки их помассировал. – Элитный дом. Заметил, – говорит, – въезд под шлагбаум... Ещё к главному надо, выбрать время, съездить, тянуть с этим нельзя... То как песок порой в них будто. А ты не знаешь, отчего?

– Не знаю... Может быть, от блуда.

– Блуд!.. Для здоровья, а не блуд... Худо, скажи, кому от этого?

Подходит к машине женщина лет тридцати пяти-сорока – откуда появилась, я и не заметил, словно из воздуха сформировалась, – просто, но не бедно одетая и, судя по ровной, гладкой коже на лице, *непылюшная*, в косынке чёрной, *газовой*, с *искрой*, повязанной, как у старушки, наклоняется к окну и говорит Андрею тихим, сдавленным голосом:

– Вы не дадите денег мне... немного?

Повернувшись к женщине и окинув её долгим изучающим взглядом, Андрей ей отвечает:

– Ходишь, попрошайничаешь. Ещё не старая. Не образина. Девки есть пострашнее тебя, а идут и зарабатывают, не ходят и не кланчат. Вон, на проспекте. К ним подошла бы – объяснят... Не на проспекте, место не уступят, ну на трассе, – сказал так и окно закрыл, ко мне обернулся. – Много вас тут... Так разлентиться, представляешь! Проще им руку протянуть, чем на панели честно заработать.

Не захотелось мне при этом, чтобы женщина увидела моё лицо – склонился вниз – штанину будто поправляю.

Отошла женщина. Скрылась за углом дома – и за собой весь воздух будто утянула.

Не догнал я её, не дал ей денег. Душа в малодушии – как ноги в вязкой глине – трудно ей оттуда вырваться – черствеет. Только подумал: «Не для неё ли деньги тети Анины предназначались?»

– Дело тут у меня одно наклюнулось, Истомин, – говорит Андрей. – Не знаю, как и быть. Это по поводу того железа... Папка там, в бардачке... открой, достань-ка.

Достал я из бардачка коричневую кожаную папку с кодовым замочком, подал её Андрею.

– Нельзя в машине оставлять, – говорит Андрей. И говорит: – Мужик объявился, как с неба свалился, готов купить... довольно много. Оплата сразу. Наличкой. Из рук в руки. Но что-то мне в нём не понравилось. Сейчас поеду с ним на встречу... И не мужик, по виду-то... а полубаба-полухряк.

– Обманет, думаешь?

– Да нет, не то чтобы обманет... Нет, что обманет, и не думаю. Дело не в этом. Время не то уже, когда

так, в наглую, все кто хотел кого, кидали... Было... Всё же немного устаканилось, – говорит Андрей. Взглянул на себя в зеркальце. Ощупал пальцами свой подбородок. – Побриться надо, – говорит. – А то, как этот... Дикобраз... Бритву оставил... где, не помню.

– У Эльки.

– Вряд ли.

– У *знакомой*, – говорю. И говорю: – Не устаканилось, а умогилилось.

– Хорошо тебе – не бриться... Пока опять всё не взболтнули... Умогилилось... Да, полегло ребят, немало. Как листьев осенью... Щетинка вон, – рукой ощупал подбородок. И говорит: – Ну, есть, конечно, отморозки-беспредельщики. Но у него на лбу же не написано... Вряд ли обманет – бизнесмен. Да и такой, к тому же, верующий... Крест золотой. С камушками. И не искусственными, не стекляшками, а природными. На половину туши, как на крышке гроба. Поверх рубахи его носит, не скрывает. И цепь – вот, в палец – золотая, – показал мне, вверх подняв его, свой палец. – Такой-то верующий – вряд ли... И я ж его потом, как простыню, катком разглажу – ляжет заплатой на асфальте... На ширину дороги хватит – боров толстый... А интуиция, ты знаешь... В глазах его мне чё-то не понравилось... То ли еврей, то ли татарин, может – и немец – если Мармер – у тех же *ер* всё на конце, как у нас – *ов*...

– Есть *ин*...

– Есть *ин*... Ага – Истомин... Ты не из них?.. Шучу... Глазки навывают, бегают, на месте не торчат, чё там у него, у рыхлого, на уме, не угадаешь, но то, что хитрый, сразу видно: Анд-гюша, мой годной, Анд-гюша... Когда это я ему родным стал!.. Но он же крестится почти при каждом слове. Ты же не станешь просто

так креститься... Не знаю... Не упадёт в цене железо, не прокиснет. Лежит – и пусть себе лежит... Может, где крутится, пронюхал чё про сбыт, про рынок? А я... пока там месяц на загрузке... и пропустил... Плохо без информации. Хуже, чем без рук. Скажи, Истомин, посоветуй? – просит.

– А я тем более не знаю, – говорю. – С рынками вашими никак не связан, слава Богу. И со сбытом. С базаром только, с барахолками, и то по мелочи – блесну купить, леску дешевле... Сам, – говорю, – решай. То насоветую, утروбишь заодно с ним, с этим... *бизнесменам...* лягу тут где-нибудь, как *мёртвый полицейский*... к тебе на дачу по дороге. – И говорю: – Андрей, пойдём. По пиву умираю.

– Умрёшь – не первый – похороним... Ну, ничего, и мы не промах... А вдруг в Чечню, бандитам, хочет сплавить?.. Я не прощу же себе этого...

– Спловишь-то выгодно, простишь.

– Правда, зачем оно в горах им, козлодоям?.. Перепродать?.. Так чё-то чёрных не люблю. Узнал их больше, так и вовсе.

– Расист... Ты на себя бы посмотрел.

– Я чуть раскосый, а не чёрный. Чёрный – не нация, а – сволочь... Не знаю, есть ли там у них нормальные? Здесь вот, у нас, среди наплывших, как говно, ни одного из них не видел путного. Может, и есть – всех же их много.

– Путние тонут.

– В смысле?

– Не наплывают.

– Будет сейчас тебе, Истомин, пиво.

– У Димы пасека – он медовуху себе варит. Не сам, а пасечник...

– Ты надоел уж с этим Димой.

Выбрались мы из машины.

– Рюкзак, – говорю.

– А тебе в нём чё-то надо будет? – спрашивает Андрей, тыкая пультом в сторону машины.

– Нет, – говорю.

– И пусть тогда лежит в багажнике.

– А черемша?

– Чё черемша?

– Пропахнет-то...

– Ну а в квартире?..

Вошли в чистый, просторный подъезд, обвешанный по сияющим девственной белизной, не опорооченной обычным творчеством *не могущих молчать* подростков, стенам всевозможными горшками и корзинами с разными, больше похожими на океанические водоросли, цветами – по стенам вьются и причудливо свисают – как будто в ботаническом саду.

Среди цветов – картина. В раме багетной, золочёной. Масло – не поскупился сибиряк художник – щедро, *пастозно*, положил. Холст. Метр на полтора – примерно так. Пейзаж. Местный: горы, Ислень, на ней баржа, гружённая лесом. Буксир. Моторные лодчонки – снуют вдоль и поперёк по водной глади. Впечатляет.

Я озираюсь даже – так диковинно, хотя и головой вертеть сейчас мне без особой надобности не хотелось бы – и догоняй потом глазами окружающее и возвращай его обратно – всё слёдом устремляется за головой, срываясь с места, словно по сигналу, как будто гончие за мимо пробежавшим зайцем, – можно, не справившись, и растянуться, – так, осторожно уж, без резких поворотов.

Поздоровался Андрей с вахтёршей, женщиной далеко ещё не пенсионного возраста, *в самом прыску*,

крашеной-перекрашеной, будто испачкавшейся и выстиранной потом с хлоркой не один раз, блондинкой, в косматом ядовито-розовом, как чупа-чупс какой-нибудь, мохеровом свитере, в такой же, одной вязки явно, пышной, как взбитый крем, шляпке, с выщипанными жестоко и тщательно, как боровая дичь перед готовкой, бровями, с тяжёлыми, как саморезы, от косметической туши ресницами, хлопнет, как взрыв-пакет, такими рядом, и оглушит – страшно приблизиться, сунул в оконце ей какую-то конфету в яркой хрустящей целлофановой обёртке и получил в ответ улыбку златозубую:

– Андре-е-ей Петрович! Здрасте, здрасте. Давно вас не было, не посещали, – угодливо, через оконце грудью чуть не вырвалась – как пламя – чуть не опалила. – Уж не болели ли? Без вас тут скучно.

Ну, думаю.

– Дела, – говорит Андрей, слатостями только – разговорами не балует, похоже, – фасон держит.

Я, грешным делом, и не знал, что он *Петрович*, хоть и росли мы с ним, с Андреем, одноклассники, вместе, на одной улице в Ялани, и учились в одном классе, пока в колонию он не попал перед десятым; всегда *Андрюха* и *Андрюха*; сам он себя при мне, не помню, чтобы величал когда-то полностью, а я стеснялся отчество его спросить; вот и узналось: Петрович, значит.

Поднялись мы на лифте на третий этаж. Из лифта вышли.

– Ну? – спрашивает.

– Отлично, – отвечаю.

– Плачу я ей... Приплачиваю то есть.

– Кому?

– Кому ещё... Консьержке.

– А с ней не спишь?

- Совсем рехнулся!.. Да жалко просто – баба незамужняя.
- Что незамужняя?
- Что без достатка.
- Мало таких... Годам к семидесяти на грудных потянет...
- А перед смертью – на зародышей!.. Думай, чё говоришь...
- Отвечу за базар?
- Ответишь... Не в Голландии, – говорит, – не чумные, и там чёрных уже – больше, чем в Африке... Картину видел?.. Я купил... Художник есть, знакомый Галькин... Помогаю... Вы же все нищие: пода-а-йте, Бога ради.
- Спонсор.
- Не спонсор – так, по-человечески... С начала августа уже сидит дома безвылазно – и без аванса согласился – портрет мой пишет.
- Не в мастерской?
- На мастерскую он ещё не заработал.
- Благодетеля, – говорю. – Пишет-то.
- По фотографии, – говорит. – Я там на десять лет моложе, правда...
- Ну ничего, для вечности без разницы.
- Аванс ему, мазилке убогому, дай, станет думать, как потратить деньги, а не про искусство, и козью морду нарисует... а не портрет. Похожий буду – не обижу... А то наляпают-намажут... Шеде-е-ервы, тонкая рабо-ота – смотреть тошно. Заказ нашёл ему. У арика. Для ресторана три картины. Не подведёт, надеюсь... То урою. Шею сверну ему, как зяблику. Не я, так арик – тот не спустит.
- Может, ты Мамонтов, а не Мунгалов...
- Все вы, завистники, такие.

– Или Морозов... Пива сначала дай народу, опохмели, насыть, потом и про искусство...

– Тебе давно лечиться надо... хроник.

– Ну, так и я тебе о том же.

– Без алкоголя жить уже не можешь... Дочкам на память пусть останется. Потом – и внукам.

– И Отечеству.

– Истомин, ладно... И Отечеству.

– Тогда уж Шилову бы и заказывал.

– И закажу. А это – пробно... Я, – говорит, – дело делаю, Истомин, Россию с колен поднимаю, а вы, бумагоизводители и холстомаратели, филологи-учёные, олухи и архиолухи, языками только зудите да под американский образ жизни подстилаетесь – окей да вау... Стоит, жвачку жуёт, вау да вау, как попугай, тростит, а по-русски, сучье вымя, и двух слов связать не может, только: на жизнь подайте бедному интеллигенту... не ради брюха, мол, ради искусства.

– Ох, завернул... Интеллигенты многие устроились неплохо.

– Так бы по морде-то и въехал... Всех по своим местам рассадит время... кто чего стоит.

– Данта не зря с собой, похоже, возишь.

– Ой, ну не надо... Пиво, пиво.

– Не это – Элька?

– Кто?

– Вахтёрша.

– Ты чё, Истомин, обалдел?

Вступили в квартиру. Холостяцкая – сразу себя и обозначила – по обстановке и по запаху: густо мужской – хозяина, так надо полагать, хоть и нечасто тут, как говорит, оттягивается; чтобы отметить, достаточно – и едва, но всё же выделяемо из общего, приходящих или приводимых сюда хозяином *подружек* –

что-то ж от каждой остаётся – ароматная молекула, волос душистый ли с себя обронит, вовсе уж что-то еле-еле уловимое – от имени; чем-то чуть дышит и из нижней бездны, может быть – крайностями – *похотью и негой*.

Небольшая. Однокомнатная. *Малогобаритная*. Вся из прихожей и просматривается. Прямо – кухня, слева – комната, справа – *удобства*. В комнате – кресло, стол, кровать двуспальная, магнитофон кассетный, видеомагнитофон и телевизор с плоским экраном, форматом чуть ли не с окно, – какой-то, вижу из прихожей, THOMSON, так, на паркете прямо, и стоит – шкафчиком притворился – для меня будто: чтобы не приставал к нему, *дремучий*. Но он не шибко мне и нужен. Совсем не нужен. Обои тёмные, с цветами – распустившимися розами. На кухне – столик, табуретки, одного со столиком набора, холодильник белоснежный – от пола и почти до потолка – такой огромный; тут потолки-то, правда, низкие, но всё равно – могуч уж очень холодильник – я никогда таких не видел, меня в нём стоя можно заморозить. Дверей-то две! – а не одна. Вот провинюсь, и заморозит...

К нему вниманием я, к холодильнику. Как прилепился. Смотрю, и он ко мне, уже отчаявшемуся, зоркой зелёной, обнадёживающей лампочкой – обещает. Вроде и мелочь, но приятно – после страдания такого. Местный, наверное, исленьского происхождения. Земляк. Всего скорее, «Бирюса». Не то что THOMSON, галл надменный, не строит из себя лишнего, пустой сундук не изображает – стоит там, на кухне, один среди немой и бесчувственной мебели – то еле слышно заворчит, то умолкнет, сам с собой. Почти живой, так и – соскучился, поговорить ведь с кем-то надо же, – а тут и я к его услугам, и я к нему *глазами кролика*.

– Пива там нет, Истомин, зря не пялся, – говорит Андрей. – Уже и зенки засверкали... Не покупаю, не держу. Так только, – говорит, – для анализа, когда мочу нужно сдать, немного выпью. Какое было, всё использовал.

– С чего другого не годится? – спрашиваю.

– С другого долго ждать приходится, а время – деньги, – говорит. – А я – не ты – я не могу себе позволить...

– Анализы. Продукт переводить, – говорю. – Без удовольствия-то... Время дороже денег, так мне кажется.

– Когда кажется, тогда крестятся... Найдёшь там, чем опохмелиться... Коньяк армянский – это точно. Чё-то ещё, не помню, есть.

– Адрес бы уточнил.

– Какой?

– Да в холодильнике. Искать-то стану, заблужусь.

– А ты там долго не гуляй и глубоко не забирайся... На дверце, – говорит, – в нижней половине... Не нагружайся, как свинья... Пивом напрасно, кстати, увлекаешься, Истомин... Ты вспомни немцев – разнесло как...

– Немцы есть всякие, – говорю, – есть и худые. Как и везде, как и другие... Разве что чукчи... По тундре бегать – жир не накопишь... ну и едят они не гамбургеры, а сырую рыбу.

– И оленину.

– Оленину.

– Тощих фашистов я не видел... Как от водянки... Только Гитлер.

– А Геббельс, Йозеф?

– Пива с сосиками попей-ка столько.

– Расит, как ты же, и насильник... Тогда и чехи.

– Лопнуть только... Те же немцы... Все толстопузые, и твои чехи, всех их обалят скоро турки. Или обабили уже... раз демократы.

– Арабы, может?

– И арабы... Арабы – турки – те же чурки... Тапочки вот, любые выбирай, только не трогай эти – женские.

– Да почему?

– Не для медведей косолапых – на твою лапу не налезут... Да потому... Лучше уж стопку водки, но хорошей... Что те, что эти... онемечились.

– Ты про кого?

– Про твоих чехов. А те, кто пепси пьют, – американцы... Жуют всё время, как скоты.

– Сказал. Хорошую. Да где её возьмёшь?.. Я так, в носках... Ноги от обуви устали... Не увлекаюсь им особенно. – Снял куртку, впервые за сутки, повесил её в прихожей – обвисла сразу – как устала. Говорю: – Уже три месяца не пробовал, вот только с Димой... Да и – по баночке – всего-то.

– Нашёл, чё пить. В банках – особенно... сплошные химикаты. Печень не жалко?

– Опохмелиться – ради этого.

– Возьми ключи... Куда пойдёшь вдруг. Опохмеляться лучше всего водкой. Стопочку холодненькой тяпнул, но не больше. Пивом, – говорит, – дурную голову обманывать... Про Диму мне не поминай.

– Да не пойду я никуда, – говорю. – Бери их с собой... Откуда ты, Андрей, всё знаешь?.. И про водку.

– Знаю. Я, парень, десять лет по северам копейку заколачивал, когда ты джинсы протирал в студентах, ласы точил да девок соблазнял портвейном...

– Ещё служил до этого три года... Портвейном. Уж не портвейном, а вином. Ну, правда, было, и портвейном...

– Было... Ну, послужил – на всём готовом... А там, на Севере, с компота не согреешься... На полке, тут вот, их, смотри, оставляю, – и положил ключи на полку, прежде побрякав ими в воздухе. – Без них не выйди, дверь захлопнется... потом без слесаря не попадёшь, – говорит. И спрашивает: – Весь день дома, что ли, просидишь? И на улицу не выйдешь?.. Я ведь не скоро.

– Просяжу, – говорю. – Есть если с чем. А что?.. Туда идти – мимо вахтёрши... Я их боюсь, робею под их взглядом, перед Медузой будто, цепенею. Это ж мне сколько выпить надо – много, чтобы загородиться, как щитом... Они страшнее для меня любого зверя. Ещё и тех, что в жилконторах, тех – пуще смерти... И нечем мне ей *приплатить*... И что я там, на улице, ещё не видел? – сказал так и запыхался – от нетерпения: ждёт меня там один, с зелёным, добродушным оком, тихо мурлыкает – не забываю. Андрей – здоровье бережёт и за рулём пока – тут лишний.

– Совсем в Ялани своей чокнулся... Истомин! Ты чем старее, тем чуднее. Тебе бы валенки сейчас, шапку-ушанку, драный полушубок, – говорит, – на грудь четушечку принять и на завалину – свежий пока яланский воздух портить.

– Возможно, – говорю. – И с радостью бы... А Гитлер пиво пил и ел сосиски – не растолстел. Только *распутчился*. Так что не надо клеветать на немцев... они такие – и арабов перемелят... и кому надо нос утрут. Или в Судетах, или в Гданьске. Они ещё на нас полезут... чтобы *обабить*... вожделеют.

– Да нет уж. Крякнули. Слабо им, – говорит. – Выродились. На трёх толстозадых немцев-демократов два нагрянувших в Германию пожить с комфортом чёрножопых террориста, от которых они, гостепри-

имные хозяева, с белокурыми детками и рыжими грет-хенами под кроватями в своих благоустроенных домах прячутся – додемократились, арийцы, дальше некуда... И белобрысых бестий скоро не останется.

– На всё воля Божья, – говорю.

– Ты Бога с немцами не путай... Часам к семи только приеду. Не раньше. Может, чуть даже задержусь... Как получится... И хрен с ним, – говорит, – с Гитлером, он – извращенец... И был да сплыл. Пусть хоть... как эти, калоеды... Люди мочей, читал тут, лечатся... Пораньше постараюсь.

– Своей?

– Своей.

– Вот это да!.. А сам-то пробовал?

Не отвечает.

Ну, я бы тоже промолчал...

– Чё толковать с тобой – ты неотёсанный.

– Своей-то если, ещё ладно... своё всё же – не пахнет... хотя моча и есть моча – пописать можно и необходимо, но ведь не пить же – не шампанское, даже не пепси... Сам себе, – говорю, – и нужник, и аптека.

– Ради здоровья, – говорит, – и не то выпьешь.

– По мне уж лучше помереть...

– Чё ж ты без пива-то не помираешь?.. Душу всю вымотал мне – кланчил.

– Ну, несравнимое сравнил – мочу и пиво...

– Одно и то же, – говорит. – За малой разницей.

– Тебе виднее, – говорю, – спорить не стану... Организм это, – рассуждаю, – за негодностью из себя выкинул, а ты подобрал и опять в него пихаешь – нелепо вроде... Как младенец.

– Вот именно, – говорит. – Младенец. Ум-то ещё незамутнённый – чётко читает информацию из космоса. Это у нас программа сбилась...

– Из космоса – про мочу?.. Это интересно... А есть ли он у него ещё – ум-то – у младенца?.. Это как одни питаются в ресторане, а другие – тем, что выносят из него на помойку... Ради себя я пить не стал бы, – говорю, – ради тебя, может, и выпил бы, если тебе бы это жизнь спасло... А ты, – спрашиваю, – когда добро своё, хоть и ненадолго, но с риском для жизни и с постоянной оглядкой на пользу или вредность первопродукта приобретённое, на анализы сдаёшь, потом его по весу-то не проверяешь?

– Зачем?! – удивляется.

– Зачем. Как, – говорю, – зачем! Да, может, гады, отпивают?! Они же, эти неподконтрольные аналитики, не одну собаку на чужих отходах, поди, съели, точно знают, чем лечиться, и пристроились на дармовщинку, потягивают себе в своих лабораториях, смакуя, ни чью попало там, а бизнесменскую – рафинированную, безопасную, не то что наша – после метилового спирта, палёной водки и другой разной дряни. Я – про урину. А ты тут, сидишь в тоскливом одиночестве, пивом вредным давишься – почки нежные свои, не дядины, терзаешь и, хуже-то всего, время бесценное зря переводишь, вместо того, чтоб деньги множить. Я бы их, точно, раскатал... дорогу ими бы поправил... к тебе на дачу... в особняк. Продумай это...

– Умника из себя не строй, Истомин, ладно, и лицо попроще сделай... Всё равно, – говорит, – не получится, не лысый... как там его?.. министр-то культуры... и, как Пушкин, не кудрявый. Сразу же видно, что из глухоманки, хоть сто лет в столице проболтайся, а то – ури-ина... Созвонюсь с девчонками, договорюсь, где захватить их после по дороге, ждут не дождутся... Ты, правда, сильно-то не увлекайся, чтоб не краснеть мне за тебя, а то нажрёшься тут... Урина... сло-

во-то вспомнил. Горе одно с тобой, Истомин. Моча мочой, а не урина.

– Тебе-то что? – спрашиваю. – Мунгалов. Опечалился.

– Пока ты здесь, у меня, я за тебя, за поросёнка, отвечаю... Скорей бы сплавить. Поезд во сколько у тебя?

– Не много на себя берёшь?... Ответственный... Вечером, – говорю, – после семи... И Кёнигсберг-то!

– Завтра?

– Завтра... Как Судеты.

– Как хорошо – не послезавтра... Вот в поезд завтра загружу, ручкой мне из него помашешь, – говорит, – и выделявай там после всё, что взбредёт в твою опухшую и больную голову. Можешь всю водку в ресторане вылакать... Димы с тобой не будет, жалко...

– Всю не осилю, – говорю. И говорю: – Жалко, что Димы-то не будет... Но попытаюсь.

– Может, ссадили бы... пешком по рельсам, представляю: ты и Дима – два придурка... Ещё намучаюсь с тобой... Больше, чем сутки. Одуреть. Ну, всё, – говорит, – поехал. Время поджигает. Захочешь спать – бельё в кровати... Помойся только, Кёнигсберг... На паровозе прокоптился. И чем там, в купе, занимался, я же не знаю. Везде заразы – подцепил – об чё там тёрся... Галина может позвонить. Я ей сказал вчера, что паразит нагрянуть должен – ты-то. Привет просила передать. Ох, умереть с тебя, Истомин. Ну, оставайся.

– С Богом. И ты привет передавай.

– Кому? – спрашивает.

– Кому... Да бизнесмену, – говорю. – Пива на завтра привези.

– Тебе какого?

– Выпендрёжник.

– Тёмного, светлого?.. Лёгкого?.. Любого?

– Оно же всё *за малым исключением...*

– Можно безалкогольного?

– Не издевайся... Это тебе уж... для анализов. А, кстати, да... пойдёт такое?

Ушёл Андрей. Тихо стало. Только что-то там, на кухне... слышу я, сосредоточенный, – кто-то будто, а не что-то – одушевлённое.

Выждал я сколько-то – перед броском словно, чтобы не промахнуться, перед прыжком ли, спокойный, собранный, не суетливый – после направился на кухню, вступил уверенно туда – как победитель.

Холодильник – коллаборационист: оком зелёным на меня – подобострастно, всем нутром своим ко мне – как к долгожданному: я к нему – как равнодушно.

Рядом с ним, вплотную к нему, почти живому, за небольшим и невысоким инкрустированным перламутром столом, на тесной кухонке *элитной* – ладно общаемся: предложил мне ветчины, икры белужьей, нельмы – не пренебрегаю; тут же и сыр, в котором больше дыр, чем сыра, – отказался. Помолчит он, мой союзник чуткий, помолчит, после тихонько в бок мне замурлыкает – млеет как будто, пятая колонна, настоящего хозяина во мне почувствовав, – отвык от натиска такого.

Голова моя была до этого – что деревянная, теперь уже – как восковая – можно и форму поменять – сделать её квадратной или цилиндрической, можно и в пирамиду, вверх или вниз основанием, вылепить – податливая, в калач свернуть ли... в символ бесконечности... уже свернулась – не нахожу в ней ни начала, ни конца, вся – средостение, но не робею от этого – всякий уж страх меня, как неудобного, покинул.

Сердцем, чувствую, всё более и более смягчаюсь – к себе и к миру.

Словом, сижу, клин клином вышибаю – получается. Попутно думаю:

Время его, Андрея, поджигает, мол. Сам он только что признался в этом. Ясно, как белый день. Понятно. Мне и сейчас, по крайней мере. Так уж сложилось между ними: оно, время, его, Андрея Петровича Мунгалова, с утра до вечера, напроочь лишая последнего спокойствия, и с вечера до утра, вдребезги разбивая ему сон, без передышки *поджигает*, он упирается ответно – кто кого перетолкает – есть такая деревенская забава, состязание: *стенка на стенку*. Как несмышлёныш. Или игра ему такая по душе? Пусть поиграет, позабавится. Чем бы, как говорят, дитя не тешилось... Значит, отчаянный – играть-то согласился. Я бы струсил. Кто в этой схватке выйдет победителем, известно наперёд. Надо заядлым быть, чтобы решиться. Андрей и есть такой – заядлый. Это ведь тоже *опьянение*. А он ещё мне: мол, Истомин... Ну и – Истомин. Что – Истомин? Истомин хоть осознаёт, что – раз-то в месяц, два ли, в худшем случае, – *маленько*... не *кажен* день; и кто из нас, живот имеющих, безгрешен.

Негде на кухне мыслью разгуляться – в комнату перебрался – и тут не шибко-то, но всё же. С собой – с запасом – прихватил.

В кресле устроившись, сижу удобно, рассуждаю. Как Сенека. Ниже о себе и думать не хочется. Ум обострился – парением его не гнушаюсь.

А заодно здоровье дальше поправляю. Поправляется. Ощутимо. Обои в комнате – и те мне стали уже нравиться – крупные, ярко-красные, *как собака*, розы на тёмном, почти чёрном, фоне, ещё поправляюсь, и покажутся живыми, и сам себе – всё более и более – не прослезиться бы – до умиления.

Сижу. Умиротворяюсь. Кресла не чувствую – так мне в нём ловко – как на облаке.

Давешняя, самая неотступная мысль о каком-то там ещё вульгарном пиве незаметно улетучилась, а остальные, разрозненные, начали, сонно набредая друг на друга, сами по себе праздничношатаются – как *трудные* подростки с ножичками и кастетами по хорошо знакомому им околотку – улюлюкают. У кого, может, и нет, а у меня так бывает.

О многом мельком передумал, словно с кочки на кочку ловко поперескакивал. Теперь подробнее и об одном – будто на кочке, на одной из них, подзадержался:

Ну а в моих взаимоотношениях со временем опять случилось что-то, дескать, странное – шло оно словно, шло, двигалось утомительным, размеренным, спокойным шагом, волочило на себе меня, болезного, в себе несло ли, как в сосуде хрупком дорогое содержимое, а тут вдруг стегнул кто-то по нему, по времени, кнутом или вожжами, и помчалось оно сломя голову, упал я с него от неожиданности, вывалился ли из него, и застрял тут, в мягком кресле, покидая его изредка лишь, чтобы за разной всячиной пройтись из прихоти до холодильника, и жду теперь как будто не дождусь, вне времени, когда пойдёт кто-нибудь мимо и вызовет меня из этой ситуации, произойдёт ли что-то, что возвратит меня в него, во время, – не тороплюсь, конечно, – некуда, и не уедешь раньше поезда, а поезд этот только завтра – так рассуждаю.

Телевизор не включаю, *в окно гуляю*: солнце просвечивает через занавеску – свет ровно в комнате рассеян, без бликов – дремать бы только при таком. Не в улицу оно, окно, а на Ислень, поэтому не шумно. Дом-то, как сообщил Андрей, элитный. Не то что у

меня, там – в Петербурге, от проезжающих мимо трамваев радостно, как мальчишка, не подпрыгивает и всеми стёклами ликующе не дребезжит, – об этом вспомнил. Зато в Ялани – вовсе тихо... Ислень туда бежит – на север.

Звонок вдруг в дверь – первый раз его тут слышу – словно птичка зачирикала. Забыл, что жду его, звонок, так даже вздрогнул – какая птичка, мол, откуда?

Сообразил. Пошёл, открыл.

Андрей. Как хорошо, что не вахтёрша!.. – шёл открывать, уж было испугался... – или, как выражается Андрей, консьержка – ещё страшнее... хоть и осмелел вроде уже достаточно – раздухарился – герой античный.

Держит он, Андрей, в охалке несколько бумажных пакетов и полиэтиленовых мешков, из-за которых и лица его не видно, – так нагрузился.

– Ты? – спрашиваю.

– Нет! – говорит. – Дядина задница... Помог бы!

– Похож, – говорю. – Да уж принёс-то...

– Оболтус.

Не сгибаясь, *вслепую*, туфель об туфель, тяжело дыша из-за охалки, разулся Андрей в маленькой прихожей, отнёс на кухню пакеты и мешки, оставил их там, на столе, пока не разбирая, вошёл после в комнату и смотрит на меня, вспотевший, с укоризной.

А я сижу уже – опять, конечно, в кресле – быстро обычно к месту привыкаю, если оно само мне не противится и из себя меня, как время, не выгалкивает, – будто срослись мы с ним, с креслом, хоть я уже и перестал быть *деревянными* – уже пластичней, чем Марсель Марсо, – так себя ощущаю, – сижу, гибкий. Улыбаюсь: видеть приятно мне его, Андрея, что не

вахтёрша-то, так не нарадуюсь. Затылок, определив, как мим, руки за голову, пальцами ощупываю, касаюсь его бережно – вернулся, узнаю, самовольщик, на своё законное, родное место встроился – сквозить в голове перестало, потеплело, и мысли стали от тепла такими – как подплавилась – твори из них теперь, что пожелаешь, – хоть философскую систему.

Вспомнил я, куда его, Андрея, время *поджимало*, и спрашиваю:

– Ну и как там твой *верующий* очень?

– Кто?

– Бизнесмен.

– Нормально, – говорит Андрей.

– Катком его ещё не раскатал?

– Куда он денется... Успею.

– Срослось?

– Срастаться нечему... Я чёрнозадых ненавижу.

– Он же *еврей, татарин или немец*...

– Чурки такие же, ничем не лучше.

– Злой ты какой, Андрей Петрович.

– А ты, я вижу, подобрел...

– Мне с *контингентом* не общаться.

– Можно... за мой-то счёт... и подобрать. Сам бы хоть раз когда привёз бутылочку, Истомин, да сказал, давай, Анд-гюша, выпьем за твоё здо-говье, мол...

Ни разу.

– Переживёшь, – говорю.

– Переживу, – говорит.

– Не обеднеешь.

– Не в этом дело...

– И на тебя картавость перекинулась... Я привезу, ты ж пить не станешь... В чём?

– Другой вопрос... Хоть бы уважил... В совести.

– Тебе, что, чести не хватает?

– Чушка.
– Ну, не скажи.
– Тошно, Истомин, на тебя глядеть... Уже и глазки поросячьи.

– Кто заставляет?

Около кресла на полу стоит бутылка. Я её туда поставил. Не так давно. Тёмного, непроглядного, как эбонит, стекла. Фигурная. В виде башни. Пробка в ней – шатёр на башне. С башни шатёр – как ветром сдуло – я с ним управился. *Ноль-пять...* или *...семь?*.. не разглядел, заторопился; ещё ж и форма непривычная – сбивает с толку. Ну а теперь уж и не важно, *пять* или *семь*, хоть бы и целый литр вмещала – когда пустая. Чтобы не рекламировать, название не привожу; его и выговорить трудно – язык сломаешь; не по-русски. Импортная. Тут и ещё одна являлась. Та была наша, минусинского разлива. «Ислень». Но в ней кого... отведать только. Водка и водка, сплошь она такая, не так морозит, правда, как «Сибирская» – с той уж колотит, так колотит. Та тоже тут же, возле кресла, и не валяется – стоит. Всё – как во мне, так и вокруг – аккуратно.

– Чё-то... кого тут и взбежал... и запыхался. Надо к врачу сходить, провериться... А вдруг чё с сердцем?.. Аритмия.

– И как медлишь?.. Удивляюсь... Врач там уже, наверное, заждался...

– Зачем бальзам, Истомин, вылакал?.. Это же с чаем только или с кофе. В чашку по ложечке... Целебный.

– Не смейши меня – по ложечке... Не рыбий жир – такими дозами – не исцелишься... А я и выпил это с чаем.

– Пустые вынес бы в ведро... А то обставился, устроил тут помойку... Ведро на кухне, – говорит. –

Я про бутылки... Сдать, может, сбегаеть?.. Как бомж... расселся.

– Груз – приволок – и запыхался. Не олимпиец, – говорю, – однако.

– И посади свинью за стол... – вышел Андрей из комнаты в прихожую, оттуда уже бормочет. Глухо его слышно – склонился, обуваясь, – поэтому, наверное.

– Ты про козла хотел сказать, – отвечаю ему из кресла; смотрю, спокойный, на обои, цветы на них внимательно разглядываю – увлекает. Слышу:

– Не помню чё-то... Про какого?.. Пива купил тебе... в машине.

– Родной ты мой, – ещё больше радуюсь, вроде и некуда уж дальше, – спасибо за заботу... Да в огороде запустили опрометчиво... Не помнишь?

– Сам про козла сказал... Сколько же чаю-то ты выдул?.. Хоть бы закусывал... Алкаш. Это из Бельгии мне привезли. В подарок, – говорит, теперь стоит уже в проходе – весь его, и вширь и в высь, занял, – обутый, на меня смотрит – то ли сочувствует, то ли жалеет. – Животное.

– Не обзывайся... Ровно столько, чтобы на бальзам хватило... Я так, по капельке – для аромата. Привезли раз, – говорю, – привезут и другой. Не отчаивайся... Да ничего, Анд-гюха, в холодильнике твоём, нет путнего...

– Да, уже – нет, а было до тебя.

– Кисленькое да сладенькое – от одного глаза на лоб вылазят, от другого, – говорю, – язык к стакану прилипает – еле отодрал... Для барышень услада... Водки немного оставалось, но на доньшке – всего-то.

– Ага!.. Чуть-чуть не полная бутылка. Один раз только, – говорит, – до твоего приезда удалось, коктейль сделал.

– Кош-шунник! Охмурял, наверное, девицу-кобылицу – только добро переводил... Коктэ-э-эль... Ёрш по-нашему, а не коктейль... Коньяк не пью – клопами пахнет, ещё отец мой говорил... Открыл, понюхал – точно, пахнет...

– Открыл-понюхал, – передразнивает. – Да дядя Коля в жизни так не набирался. Ты вот в кого такой?.. Истомин.

– В кого – в себя. Откуда знаешь, что не набирался?

– Помню.

– Ты что с ним век прожил, на фронте был с ним... Помню.

– Ты же, Истомин, не на фронте.

– Почти. Пока вот только отступаю... Пока!.. *Противник злой одолевает* – коварный, опытный и вероломный... В предков, – говорю, – в казаков... Они *аракой* не гнушались... *Перепущаючи в перепуски от браги*.

– Одолева-ат... Дерёвня понаехала... Коньяк французский, настоящий.

– А может – польская фальшивка?

– В Париже – польская фальшивка!.. Побойся Бога...

– Бог, – говорю, – тут не при чём... Поляки могут – те такие.

– Ну а при чём твои поляки?!

– Мои – такие же, как и – твои... Хотя – мои, твои – с другого краю.

– Вот уж придумал так придумал... Водку привёз... В коробке. Там, на кухне... «Русский стандарт»... Пока не трогай.

– Клопов в Париже будто нет... Зачем она мне, твоя водка?

– Ну а зачем тебе бальзам – бутылка целая! – был нужен?

– Век теперь будешь поминать... Обратно выйдет, – говорю. – Не от души-то – костью в горле станет...

– В твоём, лужёном?.. Не смешил бы... Дерьмо проскочит – не вернётся... В надёжном месте покупал, в проверенном, – говорит. – Не палёная. Не то что с Димой вы там жрёте...

– Ты же мечтаешь, чтоб привёз...

– Знаток нашёлся... Вино – девчонкам, рот не разевай, а то... позволь тебе. Закуска – чтобы не тратить время, не готовить – от чёрнозадого, из ресторана... Ты и не пробовал такой.

– И водка, что ли, от него?.. А не отравит?.. За оголтелый твой расизм и я, невинный, пострадаю.

– Не беспокойся, водка от другого... Тоже, конечно, хмырь, с копчёной задницей, но... из Ташкента. Ну, я поехал, – говорит. – Девчонки на Предмостной ждут. Ты, правда, больше-то не пей. Будь человеком. И так хорош уже... как зюзя... Вино не трогай!

– Не-ет, – говорю, – ни в коем случае.

– Клопами пахнет, – говорит. – В Париже куплено, а он – клопами... Солнцем французским, виноградом... Знаток нашёлся... Будем минут через пятнадцать. Скоро... Ты на себя со стороны бы глянул – чуть-чуть бы, может, отрезвел.

– Достаточно и изнутри – всё и гляжу – уж загляделся.

Что мне теперь твои *минуты*? Другое дело, если – *скоро*. Тоже, однако, относительно.

Ушёл Андрей. Я – остался. Не скучаю. О чём-то думаю, наверное. Пока живой-то, и не удивительно: живому – живое. Иной молчать не может, я – не думать. Хоть и плетутся думы еле-еле и от меня как будто независимо, не управляю будто ими, так и есть, а не как будто: я – тут, они – откуда-то куда-то сколь-

зом, а то и вовсе – в отдалении – кто-то на стенах их начерчивает, а я их, путанные, кое-как читаю. Сижу: удобно – клонит в сон – так и совсем бы не спорило. Слушаю из полудрёмы: гудит вдалеке город – пол под ногами мелко сотрясается, хоть и – *элитный*. Гляжу из-за неплотно сомкнутых тяжёлых век: за занавеской улица бледнеет, а на обоях розы – как подвяли. Ялань представилась – сейчас в ней так же – вечерет – мысль не словами выразилась, а картинкою – цветная. Затосковалось потихоньку. Глаз сбоку *мушка* остро заточила – не отморгаться от неё, не отслезиться – поточит пусть – острее, может, стану видеть.

И протекли они, *минуты* эти, канули – туда же, куда и все, бесчисленные, предыдущие до этого – в прошлое ненасытное, *скоро*, которое пообещал Андрей, настало – так получается – если опять звонок-то слышу – резко раздался: *птичку* как будто вышвырнули из гнезда – вон полетела, зачирикала пронзительно – и я, сердцем вспыхнув моментально, с места сорвался, ринулся ей на защиту, чуть окосячину не выбив из стены при этом, – не уснул, значит, в бессознательность не погрузился безвозвратно.

С замком не сразу разобрался – повозился с ним, нервничая, – какой-то очень не простой уж – как кубик-*рубик*, чуть не довёл меня до бешенства – ещё немного – и сломал бы.

Открываю.

Цветкова. Нина. Одноклассница. Конечно – бывшая. Двадцать лет её не видел – когда последний раз классом собирались, отмечая встречу водкой и шампанским, – с тех пор и не видел; тогда напился кто-то, кто-то плакал – дело житейское – с кем не бывает, и нам не чуждо. Прошло. Как всё проходит. Не удержишь. Стою, смотрю – вглядываюсь бесцеремонно –

как в фотографию или в витрину. Давно, думаю. И думаю: ох и давно. А как недавно будто. Как вчера. *Там же не же...* Вижу: располнела. *Тётка тёткой*. Ну а глаза такие же – зелёные – какими раньше были, ещё в школе, не полиняли, не уменьшились, подведены сейчас – как она в школе с ними поступала, – так уж и вовсе. По ним узнал – мало с какими эти спутаешь. Забыть их тоже невозможно. Да и зачем их забывать? Приятно помнить: много чего при мне в них отразилось, и сам я часто... погружался – словно в бездонный кемский омут, куда и свет дневной не добирается, – но выжил вот, не утонул. *Под штукатуркой* – с Тверской будто.

Закончила она здесь, в Исленьске, в своё время медицинский институт, несколько лет после работала тут же, в краевой больнице терапевтом – до Перестройки, до Развала, пока первое лицо новообразованного государства не предложило всем очумевшим от политических и социальных неожиданностей гражданам *свободной России*, включая детей, врачей, учителей и проституток, *крутиться*, – не раздумывая долго, Нина согласилась: стала *челночить* – между Исленьском и Китаем, выгребая из него разное барахло и волоча его в баулах через границу. *Безостановочно моталась*. Теперь: *владелица* – *имеет магазинчик*, *шмотьём торгует*, *мелочёвкой*, – так мне о ней Андрей рассказывал. Они нередко тут встречаются – в одном-то городе – понятно: помощь нужна бывает *коммерсантке* – *ещё не крепко встала на ноги* – *кому где взятку сунуть, подсказать, отбиться ли от отморозов*, ему – в жилетку ей поплакаться, пока ей доверяет, – такой, *конкретно*, симбиоз.

Ещё оттуда, с лестничной площадки, я только дверь открыл им, показался, она, Цветкова, заявляет:

– Как я, Истомин, счастлива, что не с тобой я, ты и не представишь!

Вот тебе на, ни здравствуйте, ни до свидания. Тогда при чём *тамбе ля неже и тю нё вяян па сё суар?*..

– Ну почему же? – говорю. – Вдруг да представлю... Поможешь если, – робко намекаю, не понимаю сам, на что.

– И не мечтай! – режет. – Растрепыхался.

– Ну ладно, – говорю, уже всю расхраб्रившийся, но ещё послушный. – А я счастлив, что ты счастлива, – и тут же, ловко выхватив из панически столпившихся, с коварной целью улизнуть, перед прикрывшим вовремя контрабандитский лаз затылком, слов мне сейчас нужные, совсем уже исцелившийся, парирую я складно и находчиво: – Ты ж от того, что счастлив я, ещё вдвойне должна быть счастлива. – А сам – выпалил такую словесную красоту и сложность, стою в дверном проёме, смотрю и думаю: двадцать, мол, лет ждала, чтобы мне это объявить; днём-то, торговка, занята, так по ночам, пожалуй, репетировала. Момент пришёл – мечта осуществилась. Сыграла тонко, ярко, безупречно – Купченко-Гундарева-Мордюкова-и-Ермолова, сразу все вместе – ей Станиславский бы поверил. Я не верю. Не проведёшь меня на мякине. Ох, продолжаю думать, мол, и выдержка, мне бы такую. Добрый коньяк французский позавидует. Не на одних клопах настоено... «А ты одета, как барыга. Ещё и подкрашенная, как старая ондатровая шапка... Такие волосы себе сгубила», – стою, так думаю, не зло, а – ласково; чуть даже вслух не произнёс – прошлым, как из брандспойта, с ног едва меня не сбило, тоже *не крепко на ногах-то* – проникся сразу – будто в одно мгновение промок до нитки.

Ну, думаю. *Зачем Колумб Америку открыл?!*

Следом за ней, за *моей* Ниной, роста среднего, в девичестве тростинкой неустойчивой, чуть ветерок подул, и наклонилась, а теперь, смотрю, *неуроняйкой*, в шторм не согнётся, не завалится, бойкой обычно, помню, непоседливой, с круглым, открытым, *со смешками на щеках* лицом, где-то не здесь, не под сибирским солнцем, вижу, загоревшим, может, в солярии, не исключаю, с рыжим, бывало, *после хны*, огненным отливом пегих в прошлом – пшеничных, перемешанных, как у иной чубарой кобылицы в гриве, более светлыми, соломенными, прядями – волос, вдруг оказавшейся брюнеткой феерической, – Наташа Малышева, ничья в школе, и *не моя*, к теперешнему моему сожалению, рослая, статная; и цвет волос, смотрю, не поменяла – от природы белокурая, меланхолического вида, будто с младенчества пресыщенная жизнью, – только такой её и помню; если она, Наташа Малышева, улыбнулась – не в меру, знай, развеселилась – румянцем тотчас же покроется – и что в душе её, как в тихом омуте, творится? – смог догадаться б только Лермонтов. Смотрит Наташа поверх подружки, возвышается, и на лице её она – едва заметная улыбка, уж не скажу: как у Джоконды – сказал. Тоже уже, конечно, *тётка*, но *тётка* стройная – не располнела. Мимо прошёл на улице бы, не узнал, но непременно – оглянулся бы. С ней мы и вовсе с выпускного уж не виделись. Теперь *большой налоговый начальник* – Андрей с ней дружит. И мой отец мне почему-то вдруг припомнился. Взглянув сейчас бы на Наталью, он бы сказал. бела, высока, мол, – красива. Уж не перечь. Без исключений. Она и в школе выделялась. Ни с кем из парней, помню, не *дружила*, наручными часами, как венчальными кольцами – мода такая среди нас тогда водилась, – ни с кем не обменивалась. Замуж, по со-

общению её подружек бывших, вышла по-оздно, уже после института, но побыла замужем, по словам тех же подружек, недо-олго. Теперь свободная, как говорит Андрей, только свободных-то не любят, от их свободы только хлопоты. А он, Андрей, толк в этом знает – ему *малодок* подавай – то есть зависимых.

Рад их, *девчонок*, видеть – искренне, не притворяюсь, после бальзама, так и вовсе – стою, ликую, как дитя, долго желанное в подарок получившее, рвусь обниматься в благодарность – не отстраняются. Говорю что-то. Восклицаю – как подскользнулся будто и упал.

«Ох и рад, ох и рад», – думаю... или говорю.

И они мне:

Ох, Истомин, мол, Истомин. Всё такой же, с бородой только, оброс, как кержак, не поумнел, и, как и раньше, не причёсанный, растрёпой был, растрёпой и остался, и почему такой, мол, пьяный-то?! Никогда ещё таким, дескать, не видели, – и больше Нина, чем Наташа, можно сказать, что – только Нина, а та, Наташа, улыбается, это почти что – тараторит, другим и слова не давая вставить. Пусть тараторит – слушал бы и слушал.

Да разве пьяный?.. Я – *маленько*. А никогда не видели, так вот – любуйтесь.

И любимся: какой, Истомин, всё же пьяный ты.

Любуйтесь, девочки, любуйтесь – весь перед вами, *как лист перед травой*, без сокрытий, как голеный, со всеми своими утратами и приобретениями в виде зубов, волос, невинности, дурных привычек, будь они неладны, и лишнего веса... *Моя душа осаждена безумно странными грехами* – но не об этом... И вы, дескать, всё такие же – конечно! – ещё моложе будто стали – и как вам только удаётся, как умудряетесь так сохраняться?! – так вот бессовестно и говорю и сам себе уж

вроде верю – время пошло, рванулось ли в обратном направлении, меня хватившись, – найти нашло, но думает, как подобрать сейчас такого возбуждённого, неадекватного, как кто-то скажет, – не угодить бы так в младенчество или уж совсем из времени, садясь в него, не вылететь – есть риск, об этом лучше и не думать... – И вы успели где-то выпить, мол?

Да кто нас, дескать, напоил?!

А мне так кажется.

Ну, когда кажется... сам, дескать, знаешь.

И Андрей – Наташа с Ниной прибыли на лифте, втроём бы там они не поместились – и тот, смотрю, по лестнице поднялся, вбежал почти, тут, уже на виду, на верхних ступеньках, бравый наш олимпиец, стоит за ними, за подружками; частичный, если печатки-перстни не считать, свой золотой запас, зубы, как на публичную продажу будто, выставил – через одышку улыбается – его дыхание я и отсюда, где стою, в дверях, слышу: словно *закатал* он уже, успел-управился между делами, конкурента, бизнесмена неудобного – долг свой гражданский и коммерческий исполнил – бегом, бегом везде – и запыхался; а в руках, в охапке, у него опять пакеты и мешки – загородился ими – хлебосольный, как будто рог у Амалфеи отломил, пусть и потратится – *богатый* – не на кого-то там – на одноклассников, один-то раз в столько лет – не обнищает; в лифт и поэтому ещё не поместились – с таким беременем.

Вошли они в квартиру, в квартирку ли – *малогоабаритная*. И теперь в прихожей дружно кучимся – тесно всем нам, всех нас – много, раньше – в этом же составе – было бы гораздо меньше – так, топчусь вместе со всеми, наблюдательный, думаю. Мысли мои подправились, подточились – говорил уже, наверное,

об этом – улавливают происходящее, как крючки на самолове рыбу, радуюсь я им таким, цепким, доволен ими, а собой самим – уж и того пуще.

Тапки, кому нужны, кому какие по размеру, одежда верхняя – у вешалки, как дети в школьной раздевалке, суетимся. А я, галантный, – так особенно: цепочку-петельку порвал у куртки кожаной, и куртка Нины – как нарочно – мстить, дескать, начал.

Ну а как же! Месть – штука сладостная.

Всем хорошо – не сомневаюсь сейчас в этом. И мне особенно – взрываюсь фейерверками, искрами, как пылающее смоляное полено, вокруг себя сыплю – квартиру бы не подпалить, а то греха потом не оберёшься – и меня хозяин *закатает*, с него станет.

Ну и сидим потом, общаемся. Теплее не бывает. Время, как иной раз напряжение в электрической сети, скачет, будто *ворует* кто-то его нагло – так для всех, для одного меня ли? – нет прибора, к сожалению, такого, чтобы проверить, есть зато предохранители: закупил Андрей достаточно, не поскупился – на всех, смотрю, не опасаюсь, хватит – батарея разноградусных.

Андрей на стол собрал – девчонкам не позволил, даже на кухню не пустил их, ещё и в фартук облачился – сразу понятно: не казак; с меня на кухне толку мало, мешать там только, я и не сунулся – дружба прошла, нужда отпала в холодильнике. Накупил он, Андрей, на закуску всякой всячины – заморской из магазина и нашей – с рынка – съездил туда, не поленился; живой воды только нет, но мёртвой, сказал уже, хватает. Раскрыл, нарезал, разложил снедь наш благоустроитель – ножки у стола едва не разъезжаются. Ну, думаю. Кстати, придвинули его к кровати – стол-то. Андрей – с кухни принёс её – на табуретке, и

уже без фартука. Наташа – в кресле. На кровати – я и Нина. Сидим, угощаемся. Они, девчонки, вино попивают, нахваливают да цене его неподдельно изумляются. Я – водку, что её хвалить. Андрей – коньяк, глотнёт, во рту подолгу его держит – гурман. Ну, к коньяку-то и они, девчонки, помню, приложились. Одна бутылка да вторая – уже пустые. Я уж молчу – ни слова про клопов, хотя язык и чешется, конечно; чуть погода всё же скажу – ему в угоду, языку-то. Школу вспоминаем. Учителей, одноклассников. Всех добрым словом, никого – худым. То, перед тем как выпить, чокаемся, то так выпиваем, без чоканья. Есть уже и умершие и погибшие – тех помянули – каждого по отдельности. Есть и самоубийца – Ваня Мещлер, немец, и его очень пожалели – из-за жены неверной вены себе вскрыл – *дурак-то: из-за такого-то добра* – все мы с этим согласились: дурак, конечно.

Вспомним, что было, выпьем, как водится, как на Руси повелось... – это не мы все хором затянули, это во мне одном пропелось – слышу, грудная клетка даже срезонировала; другие, вижу, не заметили, а то сочли бы... Может быть, я... со мной ли что-то?.. Включает кто-то, выключает. Теперь мне – как говорит Андрей – до лампочки. Пусть, думаю, поразвлекается он, этот тайный радиолюбитель... *хулиган* ли. К тому же песня-то – *Застольная...* – что кстати... А мне сейчас они все очень дороги, и те особенно – которые перед глазами... *Люблю горячими руками касаться золота, когда оно моё...*

Сажу, смотрю на Цветкову влюблённо, масляно – со стороны так, наверное, и выглядит, но посмотреть сейчас сам на себя со стороны я не сумею – больше вовне, любовью переполненный, расширившийся от неё, – увидел бы, в себя, наверное, бы плюнул – так

оглушительно, так страстно. Нина не кажется мне уже *тёткой*, отретушировал её – в уме-то – не нарадуюсь: девочка ты моя! – думаю. Подружкой кажется и близкой. Узнал, совсем её узнал, гляжу теперь не отрываюсь – в зрачках её так много прошлого – всплывает, как из вулкана, выплескивается – не обожгло бы, не спалило. Душа похотствует, про тело не пойму. Мысли какие-то – затылок мой, рукой проведаль его мельком, опять куда-то умотал – и появляются такие – плоские. Хотел сказать, конечно: плотские – язык меня уже подводит, а я старался для него... напомнил всем, коньяк чем пахнет... и сам попробовал – ну, точно... отец был прав – что если говорил, то уж прочувствовав, не колебал напрасно воздух.

Андрей мне так: ну, мол, Истомин... ты посмакуй во рту; букет – распробуй.

Плесни побольше, дескать, посмакую.

Каким, мол, был, таким остался.

Цветкова: точно.

Лучше уж водку, – это я, – её и пробовать не надо – распробована – как вода, – говорю вроде я, а слышу со стороны как будто, кто-то другой меня озвучивает словно. Уж не Наташа ли?

Наташа – всё и *тараторит* – внимал бы да внимал; не пила бы, не закусывала, и рта бы, наверное, не раскрывала.

После Галина, помню, позвонила – жена Андрея, *секельдя*. Ему, Андрею, на мобильный. Мы у Наташи, мол, у одноклассницы, так как неведомо ей про *квартирку*, про эту – *малогабаритную*. Хорошо помню, отчётливо – как разделительное что-то – что от чего, вот верно не скажу. Поговорили с ней по очереди все, и я тоже: да, вот, заехал, дескать, завтра уезжаю. Ну, мол, счастливого пути. Спасибо. Счастливо, дескать, оста-

ваться. Поговорили и забыли: в одном с ней классе не учились, она на десять лет моложе. Нам до неё, и ей до нас... конечно. А тут ещё – глаза-то у Цветковой... И женщину люблю... *когда глаза Её потупленные я целую...* – но не в действительности это, а – в стихах, там и хранится пусть, но память мне не бередит.

И после:

Андрей – на кухне: не то *глинтвейн*, не то *коктейль* какой-то создаёт, то и другое, может, вместе – свои причуды у испорченных; чем водка в чистом виде не напиток, куда уж лучше, пей-хмелей – на заднем плане так в моём сознании отметил кто-то – я с ним согласен: пью да хмелею. Нина – на балконе, за занавескою едва блазнится – как наваждение; курит – табачный дым Андрею *в лом*, а на балконе – *там пожалуйста*. Меня туда же тянет, на балкон, как сквозняком, вроде и дверь, смотрю, закрыта... Вижу: сидит Наташа в кресле. Слышу внятно: *тараторит*. Ну, думаю. И думаю: ну, ладно. Потом опять балкон перед глазами, потом опять она – Наташа. Опять отец пришёл на память... Потом Андрей возник – принёс коктейль или глинтвейн. Ну, думаю. Тут уж и вовсе.

А дальше так:

Не то оно, время – в который раз по кругу пробежав, как поступить со мной, раздумывая, – меня настигло, не то я, оставаясь на месте, его, словно трамвай на кольцевой, дождался – в нём пребываю спокойно. Но с перерывами: в прятки со мной играть вдруг стало – как только спрячется, так в моей памяти провал – как проминает. И не зависит это от того, сижу я с закрытыми глазами или с открытыми, как у ребёнка: закрыл глаза, и всё – никто тебя не видит будто, или свёл их, глаза, как соединившийся с Брахмою, в межбровье.

Осознаю после – как будто думал долго-долго и догадываюсь:

Девчонок нет – ещё и вспомнил о них как-то – ни тут, где я, ни на балконе, и оттуда, с кухни, голосов их не доносится – а далеко ли.

– Где?! – спрашиваю.

– Вызвал такси, домой отправил, – отвечает.

– А я?

– А чё ты?.. Спал.

– Неправда... Бодрствовал, только не здесь.

– Ну так а чё тогда – неправда?

Сидит он, Андрей, на кровати и зудит на баяне – как пилой мне по горлу.

– Прекрати, – говорю. – Врёшь, как сивый мерин... Пальцами по клавишам, как будто деньги на калькуляторе считаешь, барыш итожишь. Кто ж так играет?!

– А ты так сам меня учил.

– Плохо учил... Не мучай инструмент... Да и когда уж это было.

Смотрю – слёзы на глазах у Андрея горячие, как у крокодила, – от коньяка-то как расслабился. Эстет, гурман – *насмаковался*. Тебе не водка – водка закаляет, крепче айсберга от неё становишься – любой «Титаник» прошибёшь. Конечно, думаю, никто к нему не пристаёт: дай, дескать, денег, помощи – никто ему не угрожает, никто его тут не обманет – уже отвык от этого и не сдержался – Бог утешит, от меня не дождёшься.

– Ты чё разнюнился? – спрашиваю. – Акула капиталистическая... Людоед.

А после:

Уже и я, и он, Андрей, на кухне. Не помню, как переместились. Окно сбоку – нас отражает. Не плачем – ни тут, реальные, ни за окном. Я, по крайней мере, ещё слезинки не пустил.

Смотрю на Андрея пристально, как вглядываюсь, и говорю – как возвещаю:

– Твои деньги, буржуй, и *железо на два миллиарда* обладают тобой, а не ты ими... так и играешь потому... как сволочь.

– Да уж.

– Да уж. Ты принуждён, – говорю, – к определённом образу жизни, с определёнными людьми общаться, вынужден иметь вокруг себя попрошайек, подхалимов, завистников, покусителей на твою жизнь... Это не рабство?

– Нет, – говорит. – А ты-то?..

– И что великое, – спрашиваю, – ты можешь купить на свои деньги? На каждый вечер проститутку?

– И проститутку, – отвечает. – И многое другое, – говорит. – И тебя со всеми потрохами.

– Шиш!

Мотылёк прилетел – в стекло тычется – слышу; и повернулся, поглядел – толчётся; и отвернулся – не мотылёк уже, а – *мушка*... там света нет в окне, так и сюда ты – здесь я.

– Ты даже не можешь, ушкуйник, позволить себе поехать в Ялань, на родину, – декламирую, – и подышать там подлинным воздухом – даром, которым Бог нас наделил. Дышишь тут всякой дрянью – пропитался, вспори тебя – внутри-то одна гадость.

– Дышу.

– Не плачь.

– А я не плачу...

– Ну тогда сопли подотри...

– Не надо, – говорит, – меня вспарывать.

– Не собираюсь, – говорю. – Без меня вспорят... Ну да, ты ездил на Мальорку, – продолжаю, – спинку и брюхо прогревал, но это ведь обязанность – перед

такими же, как ты, чтоб не ударить в грязь лицом. Тебе там нравится?

– Не очень.

– Громче!

– Н-нет! Дома, – говорит, – лучше.

– Давно уж сказано... И всё твоё оно надолго ли? Сыновей у тебя нет, – говорю. – Дочки когда-то выйдут замуж, и та, что – *на скрипке*, и другая, что – *на пианино*. Если модничать не начнут и лесбиянками не станут.

– Молчи, – просит.

– Одна из них, – говорю, – за этого, возможно, за *очень верующего*, если ты к той поре его ещё не *раскатаешь*.

– Закатаю.

– Не он тебя?

– Слабо.

– Ну за подобного ли... Зятя всё нажитое тобой потом и кровью спустят. Странно, – говорю, – Господь каждый день и час даёт нам знаки: *...каждый миг нам Слово открывается... Ты говоришь: «Я – богат, разбогател, и ни в чём не имею нужды!» – а не знаешь, что ты – несчастен, и жалок, и нищ, и слеп, и наг...* – ведь не читаем, – говорю. – А выпить нечего?.. Во рту пересохло.

– Всё выпил... Заявился... С поросычьими глазами. Теперь уже – как у свиньи.

– Больно ворочать языком, гортань пылает... *Убо образом ходит*, – говорю, – человек, *обаже всуе мятется: сокровиществует, и не весть, кому соберёт я.*

– Так что теперь, – спрашивает, – руки мне на груди сложить?.. Истомин. Чем увлечься? Пряжу купить да спицы – и вязанием?

– *Только бы не пострадал кто из вас, как убийца, или вор, или злодей, или как посягающий на чужое...* Сколько времени? – спрашиваю.

– Перед тобой часы – на холодильнике. Истомин, хватит... И без тебя тошно, и понятно! – говорит Андрей. И говорит: – А ты чё, все свои грехи наперечёт знаешь? Умник-разумник! И что делать, тоже знаешь?

– Да с какой стати?.. Все грехи мои, – говорю, – на Страшном Суде мне перечислят... Волосы дыбом, как вообразу... Пока – доехать. Поезд все на себя берёт заботы. А мне – бока не отлежать бы.

– А-а, – говорит Андрей. Глаза сухие – как у вялой рыбы. Обернулся на холодильник, в двери которого часы вмонтированы. И говорит: – Пятый уж час – вот это ни хрена!.. Весь день буду занят. К поезду только отвезу. Сам, или вызову тебе такси – ты не проспи, а то терпи тебя ещё тут сутки... Скажи, Истомин, почему ты, – спрашивает, – каждое лето едешь в Ялань? Что больше некуда или заняться там, в Питере, тебе нечем?.. Турист, в ж..е ноги.

– Есть чем и нашёл бы, наверное, куда, – отвечаю. – Но как представляю мать, проглядывающую последние глаза в ожидании своего сына, так и какое мне куда-то... Тварь я дрожащая, или обязанность имею?.. Слушай, буржуй, а выпить нечего?

– Там, в холодильнике, вино ещё какое-то... Только на поезд же не сядешь.

– Свой кошелёк покажешь им там – сяду, к себе подложат... проводницы.

– Ага, а за городом выбросят.

Не тотчас же, не этой же минутой, расстались мы, но как расстались – и не помню.

Андрей ушёл, наверное, а я уснул. Уснул, конечно, раз проснулся.

В кресле.

Стол, вижу, убран, чисто вытерт; назад, к стене, уже придвинут. Стоят на нём три банки пива, лежит

на нём копчёный сиг. Записка: «Буду к шести, подлец, не напивайся».

Смотрю на пол – приколка валяется – к молекуле той ароматной, к душистому ли волосу вдобавок, к чему-то там ещё из бездны, может. Не подобрал – оставил другу.

«Ну вот, – подумалось мне еле-еле. – Ещё и я тут».

Время идёт?.. Идёт, похоже. Но как-то так, скребёт по темени – как конь копытом.

* * *

Да, я вот говорю, говорю, говорю, не как Наташа – тараторю, сбиваюсь на разное, на незначительное, но забываю всё сказать, что оглядываюсь при этом постоянно и непроизвольно на мою бабушку – Русакову Анастасию Абросимовну, Вторых до замужества, и вижу, обернувшись: стоит она на коленях в освещённой луной и лампадкой только горенке большого, добротного сибирско-крестьянского дома-крестовика с закрытыми на ночь ставнями, в белом платке, повязанном по-русски, сложив руки у груди, молится молча перед образом Неопалимой Купины – уверен, что и обо мне, одном из своих внуков, о моём сиротстве, хоть и родился я через двадцать с лишним лет после её кончины на чужбине, но не избавиться мне от чувства, что мы встречались и представлены друг дружке, – осенью это чувство обостряется, вечером лунным – до ущема сердца – то начинает биться будто не одно, а вместе с бабушкиным, в такт непосильный, задаваемый кузнечиками – те не по душам ли людским стрекочут отстранённо?

Мушка тогда смотреть мне не мешает, – упомяну уж и об этом.

Ну и ещё уж об одном:

«Умру я, – говорила она, Анастасия Абросимовна, своим детям в ссылке, – похоронят меня, зарастёт могилка травой, и никто к ней не придёт».

Как напророчила.

Я вот иду... идти пытаюсь: иду, иду – дойду, быть может.

* * *

Ночь?.. Ночь. Скорей всего, что ночь. Если ни зги не различить, ни точки светлой, ни пятна, нигде ни всполоха, ни проблеска, ни искры не метнётся, и ни внутри меня и ни снаружи, хоть и глаза – моргаю-то – открыты, и думать, что-то вроде думаю – вот и об этом. Ни дня, ни ночи не было мгновение назад: спал мёртвым, *богатырским*, сном – словно опять отсутствовал в себе, оставив тут, как вещь, вроде не очень мне пока и нужную, валяться тело своё бренное, сам же затылком полым вон и удалился в неизвестном направлении – какой-то ветреный, измаялся от своего беспутства – как ни хватись, всё не в себе; и потеряюсь так когда-нибудь.

Ничком лежу, тяжело, плотно, словно выпавший из чьих-то рук на пол кусок мокрой глины, и понижаю это прежде пятками – свободны они, как собаки-бродяжки, ничем не прикрыты, ни простынёй, ни одеялом, торчат в мировое пространство, словно спутниковые антенны, возможно, так оно и есть: когда стоишь, они как заземление, когда лежишь, они – антенны, настроились сами по себе на приём, после уж – смятым о подушку ухом – будто подслушиваю что-то, любопытный, тайну выведываю чью-то тщетно – очень кого-то, значит, осторожного: кровь в нём, в

уже, только бухает – ни слова от таинственного, ни полслова – так засекретился.

Скапливаюсь в себе постепенно – медленно просачиваюсь сам в себя откуда-то, как погулявший где-то джин в бутылку.

И тишина – как разразилась – вдруг и повсеместно: ни там где-то в отдалении, ни тут около ни звука и ни отзвука – что даже слышу: веки мои, словно от ветра сильного повешенное для просушки во дворе бельё, хлопают, а засыпал под мерный стук колёс, негромкий разговор приглядывающихся друг к другу и знакомящихся между собой на время долгого следования соседей по плацкарте, залиvistый смех бегающего без передышки по проходу голосистого парнишки дошкольного возраста – как и унялся он, не помню, теперь молчит, утомился, – обращённые к нему и сопровождающиеся шумной, булькающей одышкой, многословные, грубые по форме и содержанию, но добродушные по интонации окрики его, похоже, бабушки, и такой дикий лязг нашего вагона, что даже мне, невозмутимому и бесстрашному на тот момент, внушало, засыпающему, опасение: не оторвался бы – нещадно так его болтало, *хвостового*, словно поезд от него, как кошка от привязанной мальчишками к её хвосту консервной банки, на бегу хотел освободиться; да дверь к туалету беспрерывно колотилась, и сама по себе – из-за сломанного, не держащего её замка, – и с чьей-то помощью – ненасытные курильщики, смеяная, словно на часах, одни друтих, по одиночке или косяками, туда-сюда бродили, как лунатики, пока до зелени, наверное, не накурились, да кто-то мусор и обьедки выносил в помойный ящик.

Поезд не движется – не передёрнется, что с ним случается на остановках, как будто с пылу-то стоит-сто-

ит да и озябнет, и ни хрустнет, как слипшийся позвоночник у потягивающегося с устатку или после сна человека, – словно бежал-бежал и умер посреди дороги от *разрыва сердца*. Мало ли. А потому, что он стоит, не шевельнётся, швырять меня привычно и успокоительно по полке перестало, я и проснулся – осознаю теперь, скопился весь в себе, за малым исключением, цельным не скоро ещё стану. Не станция – ни с той стороны какого-либо огонька, ни с этой – а окна были, помню, незашторены, разве уж после их закрыли, когда уснул я. Однако тихо-то – на станциях так не бывает; в громкоговоритель никто ничего не объявляет, никому ничего не приказывает, про манёвры составов не сообщает; с молотком и с маслёнкой или с солидольницей, точно не знаю, как она и называется, вдоль поезда, треща щебёнкой, мастер не прохаживается, сохранность подшипников не проверяет. Встречный, может, пропускаем?.. Может. Или, уж и на самом деле, вагон наш, как хвост у ящерицы, оторвался и *валяется* теперь здесь – то есть где-то – забыто?

Лежу, положения не меняя, хоть и тело затекло и руки занемели, только зрачками двигаю-вращаю – пытаюсь ими, как алмазами, прощелить темноту, но безуспешно. Вовсю раздумался уже и думаю, может, и мыслю: морок, похоже, и сюда, до этих мест-широт, распространился тихой пока сапой – Север напирает, скоро проявит свой суровый, резко-то континентальный, нор, церемониться не станет; морок наверное – ни звёзд и ни луны – кромешно: смотрю-смотрю – хоть глаз коли – не присмотрелся, не *прощелил*, и прекратил зрачки пытать, оставил их в покое – уткнулись в чёрное, такое же, как сами. Горы тут нет такой, чтобы, нависнув, загораживала небо, – низменность. Ле-

состепь. Не мог же я продрыхнуть до Урала. Вряд ли.

Заговорил кто-то. Во сне – бессвязно и скороговоркой. Что-то про поворотники, ручник и лысую резину. Или водитель озабоченный, или придиричивый *гаишник* в отпуске. Умолк – *добился своего*.

Мальчик закашлялся – так, сновидением каким-то словно поперхнулся: лез на какую-то вершину будто и сорвался, – резко. Сухо, остро, распарывая на лоскуты, как атласистый сатин, всем овладевшее беззвучие. Нервно: когда зайдётся рядом взрослый кто-то в кашле – обыденно, иной раз и внимание не обратишь – курильщик, дескать, мало ли, – когда ребёнок – больно слышать. В темноте это переживается ещё ответственнее и отчётливее. Помочь хочется, но не в силах. Как внезапно начал кашлять мальчик, так же вдруг и перестал. Но тревога в восстанавливающейся тишине осталась – как повисла: повторится приступ, нет ли?..

– Расквохтался. Петух голозадый. На сквозняке-то тут – двери с обеишних концов всё полые, не закрываются, дак как в трубе – сопрел, набегался, и прохватило – тянет. И у окна могло продуть. Кашлюн негодный. Скорей бы уж, Господи Боже ж Ты мой, Утешитель, добраться до твоёва этава Питера краесветошного да сдать тебя, оккупанта, из рук в руки твоим родителям... Устроили. Пусть сами там с тобой воюют – молодые... То привезли гостинец и оставили, пекись тут, бойся, как над горем. Кашыль какой-то... нехороший. Дома, не слышала, не хыркал, тока в дорогу, так и чё-нибудь... Вот наказанье-то ишло мне, бестолковой, – согласилась... На чё мне сдался этот ихий город, ташшысь на старости куды-то... В путнем бы здравии да в лёгком теле... да по-

моложе лет на сорок... Ох, Господи, в живых-то хошь оставь... и дуру старую, и мнука, и всех добрых людей за канпанию... Милосердный. День побуду, отдохну от тряски, и обратно... в Питере вашем долго-то, Бог даст, не задержусь... В ём бы тока уж не помереть там – на болоте... как лягуше, – всё бормочет и бормочет.

Бабушка, думаю. Спят вместе, вальтом наверное – по звукам похоже, на нижней боковой полке – уже дремал, *отсутствовал*, не видел, как укладывались; одеялом, слышно, внука укрывает, подтыкает, чтобы не спадывало. Самой на верхнюю полку не забраться, а парнишку туда не пустила – ещё, и в самом деле, свалится – такой подвижный. И как они там размещаются?.. Бабушка грузная, заметил ещё с вечера. Сама бочком лежит, пожалуй. Больше трёх суток-то – умаются.

– Прямо как потник конский – ишь чё... Затылок мокрый, как у мыши... Косматых, чё ли, на себе катать, помилуй, Господи... Все путние люди спят, как люди, а ты и ночью не уймёшься, лихорадка. Ногами всю исколотил, истыкал – живого места не осталось... Вся в синяках доеду, как задира. Решат, дрались с тобой в дороге-то. Тут и не диво... раздерёшься.

В другой, дальней, стороне вагона, если определять по ходу поезда, значит – в начале, загредел кто-то пустым ведром, скорей всего, что – проводник, кто ж ещё кроме: за кипятком идти к титану вряд ли кто сейчас на смелится – самому ошпариться или кого-нибудь ошпарить, а туалет там только для служебного пользования – так мне вчера проводником было объявлено категорически и по-хозяйски – заперт на ключ от посторонних – в каждом вагоне свой устав, что тут поделаешь, *права качать* я не охотник, даже тогда,

когда *маленько*, очередь занимать пришлось податься в тот, для *посторонних*, но не об этом; разве из ресторана возвращался кто, ведро стояло – пол проводник собрался мыть, и выставил, – так и запнулся? – лежу, гадаю, как будто очень надо это знать мне. Один проводник – в форме и в домашних тапочках – меня, помню, встречал и внимательно идентифицировал, прежде чем пропустить, другая – тоже в форме и тоже в домашних тапочках, но ещё и в бигудях под газовой косынкой – мне равнодушно выдала постельное бельё, не пожелав спокойной ночи. Пара семейная, похоже. Хотя кто знает. Тут трое с половиной суток – и как пленник, пока доедешь, изведёшься, он же, проводник, из рейса в рейс, туда да и обратно. Это же жить тут, в поезде, и умереть... Пространственная несвобода – склеп с неотпетыми мертвецами... Не для меня, однако, с казацко-чалдонскими корнями – я бы тут спился от стеснённости и от неволи. По России надо на лошади странствовать или пешком бродить, как калика перехожий... ну, на худой конец, на танке или вездеходе. Проводников – не вещество, а железнодорожных служащих – тоже, кстати, побаиваюсь, подло и мелко, как и вахтёрш-консьержек, и начальниц всяческих контор, в частности *жэков*, как в мужском обличье, так и в женском, предстать перед ними – на их, конечно, территории – для меня мучительно, едва поджилки не трясутся, когда ничуть, нисколько, ни *маленько* то есть, пока не *храбрый до безумства*, – а эта робость во мне, думаю, уже от моих крестьянских предков, от их покорного тяглого домоседства, когда весь мир для тебя поделён естественным образом на своих, если и не родных, не близких, то хорошо знакомых по характерному выражению лица и по душевному укладу *дядек* и *тётек*, братьев и сестёр, односельчан, с близколежащей ли

деревни, с одной стороны, и непонятных представителей власти, бар и слуг царёвых, никогда не появляющихся с доброй вестью, а, чаще, за поборами, с расправой ли, с другой, *чужой*, стороны, исходно для тебя враждебной и кажущейся более недосыгаемой, чем звёздное небо, и это не изжить, закупорено в позвоночнике, словно послание к потомству, – только тогда, когда и *море по колено...* Такой я сложный. Но вот лежу тут, стиснутый и смирный, пятками вверх, а ухом в подушку, боюсь, как бы вдруг не чихнуть или полкой бы не заскрипеть, чтобы соседей не потревожить. Лежу, думаю об истории в любимом – сослагательном – наклонении: не было бы, дескать, революции, не сорвали бы с земли и не разослали бы моих родителей слуги деспота *по необходимости северам*, жил бы я трудным, но ладным образом в Ялани и крестьянствовал бы, соглашаясь с космосом, радуясь или переживая на погоду, в свои нужду и удовольствие, уходил бы осенью, после уборки урожая, со своим конём-товарищем на сборы в Елисейский полк казачий, пока не остарел. Нет же. Пора страдная, вот-вот ненастье всё сорвёт и сгубит, чего так Дима опасается, а меня куда-то понесла нелёгкая – и я уже, похоже, *выветрился*.

Пытаюсь сообразить, где, в какой стороне, остался Исленьск, – как я входил и как ложился – к югу, к северу ногами? – пробую вспомнить. Вспомнил, сообразил. Представил тут же, где Ялань. Держу направление в уме. Мысль расторопная, к голове не привязанная – слетал на ней, как на сивке-бурке, на родину, побыл там сколько-то, на опустевшем чердаке своём поприисутствовал – книгу забыл там в попыхах на полке, Исаака Сириянина, взять вот никак теперь – хватал-хватал рукой – не получилось, – в окно на спящую и освещённую редкими фонарями Ялань попя-

лился, тихо, чтобы не разбудить уставшую за день мать, спустился с чердака и – назад отбыл; туда – скоро, как на крыльях, а обратно – чуть не ползком, или – как волоком; лежу вот. С Санкт-Петербургом, где он, проще уж определилось – теперь туда умчался мыслью, и не к себе домой, а к общежитию... Уезжая в начале лета и зная, что буду сильно тосковать, там, на вокзале, так ей и сказал: «Ты будешь, радость моя, первая, к кому я с поезда приду. Не запрещаешь?» – «Нет», – молчаливая – глазами только, а в них одни зрачки сплошные – весь изумрудный ирис заглотили, и «нет» такое – будто чёрное.

Уснуть бы и проснуться на конечной остановке, думаю. Столько проспять я не смогу – не Илья Муромец... *В сиднях сидел...* В лёжнях лежал.

Куры-рябы, возьмите хлеб-соль, а сыночку моему дайте глубокий сон, – словно из детства, из далёкого, пелёночного, выплыло и прозвучало, ладно, что не вслух, – кто-то же и, как я, не спит, возможно, – что обо мне тогда подумал бы?

А вдруг храпел, подумал я испуганно, вот и проснулся – всего стесняюсь, малахольный, сам от себя так устаю; быть в одиночестве по сердцу мне, в тайге – особенно, но век в лесу не проведёшь, под старость разве, или потом-то уж и вовсе – дряхлость и немощь не позволят; вот и страдай *социофобией* – гордыней то есть; беспокойно.

Отец вдруг возник. В воображении – как въяве. Свет будто вспыхнул яркий и сплошную темноту рассеял – всё вокруг поэтому и вижу, до мелочи; такое зрение острее, пока и его катарактой не затянет – беспамятством. Октябрь. День. Возможно – Покрова Пресвятой Богородицы – так затаённо-то, так празднично – по ощущению. Отец такие праздники не признаёт, не

отмечает: *поповские – для старух, у тех – чё ни день, то праздник, лишь бы, мол, не работать.* Он ждёт Седьмое ноября – ближайший. С утра выпал и валит ещё первый снег. И с крыши капает – *оттепело*. Ведро цинковое пустое, перевёрнутое – звонко о дно его шлёпают капли, в пыль водяную разбиваясь. Он, отец, стоит посреди ограды. В стёганной тёмно-серой телогрейке, из боковых наружных карманов которых торчат зелёные брезентовые верхонки; в шапке-ушанке – надвинута на лоб. А до него от двора ведут следы – чётко отпечатавшиеся подошвы его новых кирзовых сапогов. На столбах и на шестах сидят вороны – внимательные; строчат по воздуху сороки – взбудораженные; и мелочь разная снуёт – воробьи, чечётки, рано появившиеся снегири и синицы. Отец, ещё не ослепший, вскинул голову и смотрит в небо на крутящиеся там хлопья сырого, липкого снега – *ряды* и на просвечивающее сквозь снежную кутерьму бледно-розовое солнце – хоть и на полудне, но уже низкое. Глаза у отца большие, серо-голубые. На щеках и подбородке пегая щетина – не брился суток двое – времени, наверное, не хватало. В руке у отца нож – с конца ножа падает на снег красная капля – барана резал, или поросёнок, нож не помыл ещё, не вытер. Недалеко от отца стоит белый петух с ярко-красными гребнем и бородкой. На одной ноге, другую под себя поджал, скучный; закрыл уныло зенки веками – не радуется снегу. И мне так больно сразу стало – словно только что утратил. Как его, отца, теперь мне не хватает. Как раньше часто был не прав с ним. Теперь со многим, что он говорил, я соглашаюсь, не просто так, не ради одного согласия, а те слова его считаю верными, и многие из них уже сбылись – поэтому. Честным был мой отец, может быть – для кого-то – до смешного,

совсем бесхитростным. Как оглобля, говорила про него мать, чуть подкривить, и ладно б, дескать, стало. Но мне-то кажется, что прямодушие его и честность были молитвой перед Господом. Господь не мог её отвергнуть; не замолкает в Вечности – и мне примером. Отец не был *человеком с двоящимися мыслями*, а потому был *твёрд во всех путях своих*, а остальное всё Господь рассудит – так думаю, на это и надеюсь. Я не такой уже бесхитростный... Возможно, с возрастом приобрету.

Кто-то на боковой верхней полке, но не в нашей, а в соседней плацкарте, смежной с туалетом, чиркнул зажигалкой, приподнял руку и взглянул, наверное, на циферблат часов, приблизив огонёк к ним. Там все места солдаты, помню, оккупировали, шесть человек. Не дембеля – из части в часть, поди, направлены – едут не в парадной, с разными дембельскими цацками, а в полевой, поношенной, как я заметил, форме. И не шумели, скоро улеглись – на дембелей-то не похоже.

Щёлкнула крышка – пламице заглохло, и опять стемнело совершенно, будто ещё темнее сделалось – правда, куда уж; в памяти радужной оболочки только пятнышко осталось светлое – медленно-медленно мраком вытравляется.

Бензином завоняло.

Да, думаю, ушёл отец на фронт в июле сорок первого года, а демобилизовался из Берлина в сентябре сорок пятого. Значит, в Ялань он возвращался в это же, примерно, время и ехал тут же вот на поезде, больше нигде здесь не пообедашь, только в домашнем направлении – значит, друг другу мы навстречу буд-то едем, где, в каком месте встретимся вот? – и было ему тогда почти, без нескольких дней, тридцать три

года. С каким он чувством возвращался?... Да, думаю, теперь, когда его уже на свете этом нет, мне по особенному грустно и одиноко проживать Девятое мая – как без него-то – без *фронтовика*?! Я наливаю водки в гранёный стакан... хотя сейчас о ней и думать мне не хочется... другой, наполненный, не трогаю... так и стоит, накрытый хлебной корочкой, пока не выдохнется и не испарится.

Тёмная ночь, только пули свистят по степи...

Бьётся в тесной печурке огонь...

На позиции девушка провожала бойца...

Это сейчас меня так прострочило. А потому, что:

Чуть ли не на каждый День Победы – день, конечно, неучебный, свободный от школьных занятий, – по просьбе отца, пришедшего из гостей или ожидающего к себе своих товарищей, фронтовиков, но уже выпившего за *ребят, на чужой, дальней земле сложивших свои косточки*, я, с подростковой хрипотцой, пел, подпрыгивая себе на баяне, *военные песни*, мама мне подтягивала красивым, высоким голосом, а отец, празднично одетый, но без наград на груди – ордена и медали он доставал из комода так лишь, по чьей-то только просьбе, – в рубаше светлой, отутюженной, в отглаженных штанах, заправленных в до блеска начищенные хромовые сапоги, сам тщательно причёсанный и гладко выбритый, густо наодеколоненный «*Тройным*» или «*Шипром*», сидел за накрытым столом и молча вытирал тыльной стороной руки, как медведь лапой, набежавшие на глаза слёзы; сам он пел, помню, только одну песню: *глухой неведомой тайгою, сибирской дальней стороной*, – но искажал мелодию при этом до неузнаваемости – не всё ладно у него было с музыкальным слухом. Водки я тогда ещё не пробовал... а песни помнил от начала до конца. Теперь из

песни – две-три строчки... Не всё ладно – у отца со слухом было, а у меня – с памятью вот стало. Не в том, так в этом – и выравниваемся – я о живом, а не о мёртвом.

Сказал: его, отца, уже тут нет – и чувствую: неправда. Отец, – спрашиваю, – с каким ты чувством с фронта возвращался?.. Молчит. Или ответа я не слышу. Предположить, конечно, можно, но невозможно всё учесть – не переживши.

Что было, то и теперь есть, и что будет, то уже было; и Бог воззовет прошедшее... – передо мной словно происходило, слово к слову – как солдаты на параде.

И я подумал:

Оба мои деда, по матери и по отцу, вместе с Елисейским казачьим полком воевали на Русско-японской войне, потом – на Первой мировой, один из них, дед Павел, вернулся с фронта без единого во рту зуба – *как семечки, выплюнул их* после газовой атаки *австрияков*, тюрей до смерти и питался поэтому; отец и мои дяди – на Великой Отечественной, без Елисейского уже полка – тот до войны ещё не по своей воле развеялся, кто-то погиб, кто-то остался дальше жить, один из дядей был на Финской, где и пропал без вести, другой прибыл со Второй Мировой весь израненный, но полным Кавалером орденов Славы; двоюродный мой брат *прошёл через Афган*, дважды контуженный; родной племянник Павел, парень двухметрового роста, десантник, голову сложил в Чечне. Я вот не воевал. Не прятался, не уклонялся – и добровольцем бы пошёл, и не задумался – время так выпало. Попал – в промежуток, как гвоздь – в щель. Но снится мне война, которая из всех, не знаю: преодолевая леденящий душу и обсасывающий ложечку животный страх, поднимаюсь я из какой-то ямы, может быть –

окопа, и, сжимая в руках какое-то оружие, бегу вперёд рядом с другими, но вместо возгласа «ура!» или «за Родину!», кричу подло и малодушно: «Мама! мама!» – что-то вдруг больно пробивает грудь мне, словно совестью, – и просыпаюсь я в поту и в диком ужасе – чтоб не упасть в разверзшуюся бездну, только потом уже шепчу:

Господи, Господи, Господи, Господи...

Мама привиделась: стоит скорбленно, опершись на батожок, возле ворот на покрытой жёлтыми, опавшими с берёзы, листьями дорожке, смотрит мне вслед из-под ладони, заслонив ею глаза от утреннего солнца. И тут же: будто сидит она возле окна, в очках, что-то штопает и рассказывает:

«Мама умерла, на мне младшие остались. А мне самой – только четырнадцать. Возьмусь хлеб стряпать – никак не получается, хоть чё тут. Дедушка ворчит: отец муку, мол, кое-как достанет, а ты всё портишь. Заберусь на полати, скулю от горя: мама бы, дескать, жива была, а ты бы, дедушка, умер – ума-то было. Дедушка говорит: отец приедет, всё, мол, расскажу. Приехал тятя. Сидит, ест молча мой худой хлеб. Дедушка курит трубку, говорит: вот что мне мнучка высказала, дескать. Тятя плачет, слёзы текут... один глаз под бельмом... и говорит: тятя, тятя, с кого мы, мол, спрашиваем, слава Богу, что хоть так-то делает. Пошла я назавтра к тётке, в соседнем бараке они жили, сестре маминой, Парасковье, жалуюсь. Она мне и говорит: ты заводи опару и клади дрожжи в тёплую, как парное молоко, воду, а не в горячую. Ну всё: и стало получаться».

Будто лось во время гона, ошалевший от долгого, годового, воздержания, как-то ещё заметив, на удивление, в темноте и в спешке своим выпученным на

макушке и не моргающим глазом-прожектором, протрубив нашему и тут же получив от него протяжный и зычный, что-то означающий, наверное, ответ, почти впритирку к нам на полной скорости, едва не опрокинув нас волной воздушной, с грохотом пронёсся встречный поезд – товарный, похоже: гремел да гремел мимо – длинный-предлинный – пассажирские такими не бывают, и не мелькнуло ни окошечка, хотя бы в тамбуре; как будто самка там ему откликнулась – умчался в сторону Исленьска. Именно так мне и представилось.

Помедлил наш ещё сколько-то, с минутой, может быть, словно одумываясь, судорожно передёрнулся, как от дурного впечатления, после уж тронул.

Ну, наконец-то. А то стоит когда, упёршись тупо в воздух, время не в счёт, как бы *в нагрузку* – так для меня, нетерпеливого; как для других, они и скажут.

Андрей Мунгалов на ум явился своевольно, из-за угла как будто наскочил, словно грабитель, но он и в детстве был немного беспардонный, и получал порой за это, сразу навёл порядок в моей памяти, чтобы вопросом не терзался я: кто ж на вокзал меня привёз? Он. Точно. Сам. Хотя и *расписано всё по минутам, и время – деньги* у него. Не на такси меня отправил – соглашаюсь. Даже побыл там, на перроне, помню, сколько-то, пока, стоя за моей спиной и каркая заодно что-то громко мне на ухо про моё мрачное будущее и нелады в дальнейшем с моими печенью и половой потенцией, засовывал, провидец: банки пива, купленные им, похоже, загодя, в карманы моего *воинючего* рюкзака, ружлака, как произносит это слово мама, а самого меня – в вагон, до места уж не провожал, тут уж я сам с собой возился – это я и без его помощи почему-то помню.

Следом за ним и Дима подтянулся. Нить тут одна, пронизки разные:

Летом, после восьмого класса, до этого заклятые враги, а тут резко и неожиданно для всех сдружившиеся, стали они, Андрей и учившийся на класс нас с Андреем сзади Дима, навеваться в Елисейск, утонять там, как после выяснилось, *плохо припаркованные* беспечными владельцами мотоциклы, разбирать их в укромном месте на запчасти и после продавать кому попало – деньги на что-то им понадобились – чехословацкие двухцилиндровые «Явы» приобрести хотели, кажется, не помню точно. Оставив без транспорта очередного мотовладельца, убегали они как-то от *непонятно откуда вдруг появившихся гаишников* и сбили за городом переходившего в неблагоприятный для него и для угонщиков час через дорогу чьёго-то быка, быка сбили и сами перевернулись. Тут их, спешенных, и повязали. Андрей всё взял на себя, расплатился за увеченного быка и отбыл в колонию, после чего надолго исчез из поля зрения и из Ялани. Дима закончил десятый класс, затем – выучился в ГПТУ на шофёра, а на следующий год осенью ушёл служить в армию, демобилизовался, теперь вот – то ли директорствует, то ли председательствует в соседней с Яланью деревне, уже селе ли, то ли ООО, то ли ОАО возглавляя. А Андрей, *от звонка до звонка* отбыв положенное, после работал то ли в Норильске, то ли под Норильском, затем – в Анадыре, после на самоходке *ходил* по Ислени и Тунгускам. Долго мы с ним не виделись. В Ялани встретились лет пять назад – оба приехали проведать матерей. Теперь Андрей бизнесмен – лесом торгует и металлом. С Димой они *здороваются, но не дружат*.

И ещё вспомнил. Тоже как бусина на той же нитке. Фёдора Николаевича – как его звали на самом

деле, не знаю, то ли Фарук, то ли Фарах – Шайхутдинова, учителя по истории в старших классах. Сам он был уже местного рождения. А родители его прибыли в Сибирь из Поволжья в столыпинском вагоне по Столыпинской реформе. На уроке, когда Фёдор Николаевич не читал свои бесконечные поэмы про любовь и стихи про Корею – служил он срочную там в своё время, – а рассказывал про дореволюционную Россию, в качестве наглядного примера вытаскивал из кармана серо-зелёного *твидового* пиджака засаленную баранку, показывал нам её и, задержавшись алчным татарским взглядом на какой-нибудь из наших девочек, говорил: «Вот что имела буржуазия – бублик, – после похотливо вставлял в дырку бублика свой указательный палец и пояснял: – А вот что имел пролетариат – дырку от бублика. А всех и всё это вместе имел царь. А царя потом... по распоряжению тех-то и тех-то... вы это знаете... и вот вы учитесь, а я преподаю», – затем прятал баранку обратно в карман, к носовому платку, который тоже то и дело извлекал, чтобы смахнуть что-то под носом, и продолжал вести урок или вдруг, вспомнив и косо закатив глаза, начинал читать стихи про Корею. А мы и рады были этому, и занимались кто чем мог, кто-то и в карты резался на сигареты, кто-то и вовсе сваливал тихонечко с урока. Ни строчки, к сожалению, из той поэзии не помню – в девятом и десятом классах, так получилось неожиданно, *жёсткий диск* моей острой тогда памяти, или *винчестер*, почти полностью, едва ли не до последнего байта, так, чтобы сознание не потерять лишь, был занят зелёными глазами одной из моих одноклассниц.

Стучат колёса на стыках – с максимально коротким разрывом: тук-так, так-тук – с любым слогом под-

строиться можно: дзык-дзук, дзак-дзэк – и даже фразой уместиться, строкой из песни – скоро устанешь подбирать, но – как снотворное, если займёшься этим. Можно тростить в ритм чьё-то имя – врага, а если нет такого, не нажил, тогда – любимой. Или дыханием подладиться – но не уснёшь тогда, а запыхаешься.

Вовсю поезд разогнался, долго уже держит такую скорость – на пределе – сам себя, отстал вне плана, догоняет: тут бежит настоящий, а где-то – должный, то есть мнимый, тот, что идёт по расписанию, – когда теперь совместятся, совпадут. Там уже только разве, на конечной. И я, значит, в этом вагоне лежу реальный, а в том, с которым мы должны совпасть, – фантомный. Затылок мой, вернувшись, не перепутал бы, или и у него имеется двойник?.. И пассажиры в тот садятся – как бы. До чепухи такой додумался. Лучше об этом уж, о настоящем.

Таранит он, поезд, своим тупым, как у быка, лбом ночной прохладный и влажный, вероятно, воздух, прорывает темноту прожектором – как трассирующей пулей с востока на запад страну прочерчивает. Не дремлет машинист – за всех нас, своих пассажиров, бодрствует – вперёд, в световую прорезь, поглядывает. Но меньше всего почему-то, находясь тут, в последнем, прицепном, раскачивающемся и вихляющем вагоне, вспоминаешь про него – про машиниста. Сутками едешь, а его не видишь, может, поэтому.

И я подумал: хорошо, что возможна одинокость: никто в меня, раскрыв, как книгу, если я сам не пожелаю этого, не заглянет, никто меня, включив как магнитофон, без моего позволения, не подслушает, и я могу подумать о тебе.

«Я люблю тебя, Молчуня. Многоочитая. Соскучился... С самим собой меня как будто разлучили – *совпасть*

скорей бы. Я обещал тебе – исполню с радостью – и сразу с поезда приду к тебе. Пешком, маршрут уж выверил – за тысячи попыток – и каблуки б уже стоптал».

Стал было снова репетировать...

Вагон из стороны в сторону болтается, только ещё, как шарик каучуковый, не подскакивает, сколько лишь рессоры позволяют – сбивает с мысли. На работающий молоток отбойный, как на стул, устройся, скажем, и попробуй сосредоточиться на чём-нибудь, к молотку не относящемся. На смысле жизни, например... Вот обо всём поэтому и дробно. Не знаю... может, и способствует?

Земля в моём воображении сравнилась с поездом вдруг – об этом уже думаю, шаткий ум мой, неустойчивый, – резко и широко вагон вильнул – мотнуло в эту крайность, и блазнившийся перед глазами дорогой мне образ тотчас, как куница в норку, юркнул в сердце – там он всегда, как фотография в альбоме, только не выкрасть никому – разве что с сердцем вместе вырвать – люблю так крепко, Господи, прости, – а тут же так ещё: соскучился, истосковался, но ведь не слепну, чётко, до крохотной веснушки, различаю, до чёрствого соска... Проводник опять там, в своём конце, начале ли вагона, чем-то брякнул, и навёл мои размышления на эту *ассоциацию по сходству* – земли с поездом – поэтому, наверное. – Только по кругу в постоянном рейсе, – так размышляю, – и без остановок, сходишь на ходу, только тогда, когда объявят тебе лично: «Твоя очередь: ты помер, имярек». Тогда все образы из сердца выгесняются, наверное, кроме... но не об этом. А пока на земле, ты – проводник или пассажир. До срока, самовольно сойти можешь, но – возбраняется. Какая уж тут свобода для законопослушных. Но даже Бог не свободен – от люб-

ви... *Господи, Господи, Господи, Господи...* Не будь этого, и хоть прыгивай и поезд под откос пускай...

В другую сторону вагон шатнуло. Тут же в обратную... Как рыбина хвостом во время нереста. А мы, пассажиры, тогда – икра – не выметало бы.

Богатырь ты будешь с виду и казак душой. Провожать тебя я выйду – ты махнёшь рукой... Сколько горьких слёз украдкой я в ту ночь пролью!.. Спи, мой ангел, тихо, сладко, баюшки-баю... Дам тебе я на дорогу образок святой: ты его, моляся Богу, ставь перед собой; да готовясь в бой опасный, помни мать свою... Спи, младенец мой прекрасный, баюшки-баю...

Укачало меня, убаюкало. Уснул. Тяжело, липко. И не отсутствую, и не присутствую – с самим собой рядом, далеко не отхожу, из себя как будто только вышел прогуляться и задумался о чём-то крепко – ничего вокруг не вижу и не слышу – и не спишь когда, случается такое. Прострация, однако.

Очнулся я – будто из мутной, мыльной, воды, в которой чудом лишь не захлебнулся, вынырнул; словно мышь из таза с ополосками, куда та только что свалилась; но, вынырнув, не барахтаюсь, ногами не сучу, руками не размахиваю – плыть не пытаюсь. Просто, как на поверхности, лежу ничком, в испарине, с закрытыми глазами – открывать их нет особой надобности да и не хочется: открой – и время будто остановится, ход свой замедлит – это-то уж точно, а для меня сейчас примерно так: *солдат спит, служба идёт* – и, обманывая то ли сам себя, то ли время, притворяюсь, будто не проснулся.

Невинно вино, укоризненно пьянство... Били меня, мне не было больно; толкали меня, я не чувствовал. Когда проснусь, опять буду искать того же... – как бегущей

строчкой, пронеслось на моих веках; может, не всё ещё и прочитал – как отвернулся.

«Пиво же есть, – думаю. – Там, в рюкзаке... Андрей благодетельствовал... Баночное... Только когда теперь достану?.. Ох, разливного бы сейчас... Пиво с хорошей вяленой или копчёной рыбой – это вкусно, – подумал я. – Но когда пахнет этим от кого-то – отвратительно». Такие мы – в себе не замечаем.

В соседней плацкарте, за стенкой, занудствует бесстрастно, не само по себе, конечно, по неволе, радио – через него хоть просто лай, хоть матом выражайся – не остановит, не одёрнет, не похвалит, не осудит – как и бумага – всё стерпит его фибра – безропотная, безотказная. Одесско-уголовный шансон. От Утёсова, неутомимого *пропагандиста советской песни*, до современных брайтоно-жмеринских и редких урюпинских, к ним как-то затесавшихся или великодушно допущенных, певчих хрипунов. Вся шпана на улицу из дворов своих и *малинников* вывалила – так кажется – по всей стране-то разгулялись. И тут вот, не отвяжешься, и, если вспомнить, чуть ли не в любой *маршрутке*, будто и собирают их на заводе, сразу в них, как отличительный знак, шансон вмонтирывает, – чтобы всем пассажирам, вероятно, а не только водителю, тоже словно вмонтированному, ехать было веселее – помирать, так с музыкой, что называется, – в забегаловке любой – для аппетитной, вероятно, *хавки*. Ну и на самом деле, что там ещё слушать? Не хор же Пятницкого и не Страсти по Иоанну или по Матфею Иоганна Себастьяна Баха. Такое впечатление – как будто отовсюду. Палец в дырку от выпавшего сучка в заборе всунь – откусит подстраивающийся к ней, как к микрофону, с другой стороны шансонье. Про филармонию не говорю. Скоро и там, наверное, затянут – противостоять трудно. Из всех

щелей – как газ горчичный. Либо косноязычные, но развязные мальцы шарнирные рэп долдонят, либо, сказал уже, шансонье с бердичевским прононсом и картаво-гнусовой эстетикой – про бежавших с кичмана трёх урканов. И рот всем не заткнёшь, все динамики не выключишь. Не любо, как говорится, не слушай, а нам не мешай. Но как тут – жить с заткнутыми ушами? – и доброго не разберёшь... Ну не лезет, ну не лезет. Поэтому теперь по России, закинув за спину котомочку, пешком ходить и лучше – что-то иное где сплут, не чужеродное. Дома, в тайге ли уж спасайся. В тайгу рэперы и шансонье, за малым, может, исключением, не ходят – слушать их там, экстравертов, некому, да и комаров они боятся, а домой к себе можно их и не пускать, дома и радиоприёмник можно смело выключить, а телевизор вовсе не включать. Но это так, конечно, я – спросонья, потороплюсь оговориться. А то ещё отлупит кто-нибудь – поклонник ярый, правозащитник ли бескомпромиссный.

Рассветало – в уголках сомкнутых век отсвет слабый чувствую – касается. Тихо в плацкарте разговаривают – краем уха слышу – не вслушиваюсь.

Обманул время на две-три минуты, теперь пытаюсь всё же угадать, который час. Небо в тучах – по солнцу не справишься.

Открываю глаза, вижу.

Бабушка с внуком. Уже убрала бабушка постель, столик поставила. Завтракают. Мальчик серьёзен – как крестьянин, – жуёт несуетливо, основательно. Бабушка то и дело вытирает ему рот, приговаривает при этом что-то.

В соседней плацкарте, тоже на боковом месте, сидит мужик с впалыми, щетинистыми щеками, напоминающий мурену. Безгласен, как твёрдый знак.

Напротив меня *муж с женой*. На любовников они не похожи. Не похожи и на *сожителей*. Добропорядочные. В спортивное переодеты, вчера были в коже. По бокам у них под сумки. Пухлые. *Жена* – верхняя часть туловища словно у девочки-нимфетки, а нижняя – у женщины, родившей дюжину детей – как ваза под цветы, стоящая на тумбочке. *Муж* – сразу видно – подкаблучник, и не изменяет жене не потому, что этого не хочет, а потому, что ужас как боится, – так мне представилось. Мама, увидев, бы про них сказала: если он, *бескарахтерный*, сделает что-то против её воли, она на нём, дескать, выпится. Похоже.

Пьют кофе. *Жена* – читая одну газету, *муж* – другую. Шелестят ими, но негромко – воспитанные. *Жена* вычитала что-то радостное и начинает полусёпотом ругать весь род Михалковых.

– Тоже мне, барин, – полусшепчет.

– У? – спрашивает, отрываясь от листа газетного, *муж*.

– Никита Михалков.

Муж снова носом погружается в газету.

– Позахватили всё кругом... Все помещения и фонды.

– А вы откуда это знаете? – С полки, что под моей, спрашивает пожилая женщина, которой я вчера в порыве благородства уступил своё, а сам устроился на её, указанное ей в билете, место. – В газетах вычитали?.. Ну не дело... что-то выискивать в газетах, время ещё на это тратить.

– А вы газет, что, не читаете?

– Нет. Последнее время больше объявления разные – из Казахстана надо выехать. В Россию. Читаю только книги. Люди боятся засорить глаза, а ум свой нет. Читатели газет – глотатели пустот... Так вырази-

лась одна поэтэсса, покойная... Для газет у меня несколько иное назначение, утилитарное: стены обклеивать, стёкла натирать, обувь просушивать и, в крайнем случае, конечно... тут, за столом, не будет сказано.

Лежу. Думаю: хорошо, что ещё ночью, *на автопилоте*, сходил в туалет, как мышь амбарная, туда-сюда прокрался – никого не разбудил, не побеспокоил. И так-то, думаю, социофобия, а тут ещё же и с похмелья – поедом бы себя заел, если б кого-то потревожил – ну не убогий ли я человечешко? И думаю: что ж Михалковым не прощается, особенно – Никите?.. Независимость? Успешность? Непринадлежность ни к какому вшивому лагерю или клубу по интересам? Явная даровитость? Предметность его искусства? Всё это вместе и что-то ещё... Личная или родовая, подсознательная, неприязнь?

Без принужденья в разговоре коснуться до всего слегка, – к чему, не знаю, это выскочило.

– Барин, – говорит женщина. – Ну какой же он барин. Барин барствует, много и сладко спит. Не от медведя ли и слово это происходит?.. От берлоги?.. Кто ж за него, за барина, снимает столько фильмов? И такие фильмы – раз посмотришь, не забудешь – событие значительное. Красивый, одарённый способностями человек, посмотреть любо-дорого. И на него самого, как на мужчину, и на его кино – умно и талантливо. И Россию, видно, этого не скроешь, очень любит. Нигде и никогда, не слышала, чтобы сказал о ней плохого слова... Крупный осколок бывлой русской аристократии. Ладно ещё, что сохранился.

Ну вот, думаю, ещё и не боится, он, Никита Михалков, похоже, что осудят его громкоголосые ревуны от *братства-равенства-свободы* в отсутствии либера-

лизма, – крепко стоит, на родной почве, не болтается в ней, как кол подгнивший, в себе уверен, значит, и подпорки ему не нужны.

– Аристократизм – это не чванство и не право, это – обязанность перед страной, в которой ты живёшь, и перед своим народом, – продолжает женщина. – Настоящий аристократ обладает избытком, данным ему Богом, историей и воспитанием, и делится им с другими. И слава Богу, что у нас такие ещё есть, не всех извели. Себя спокойнее чувствуешь. Выведи аристократов, всех явных уничтожь, место пусто не останется, но займёт-то его посредственность и мерзость... пока потом не рассосётся и восстановится. И восстановится ли?

Хорошо, что уступил ей место, думаю.

Молчат все.

Мальчишка наелся. Вышел из-за *стола*. И говорит бабушке:

– Спасибо, ба-а.

– На здоровье, Васенька, – отвечает ему та. – Рот-то тебе дай выгтеру полотенчишком хорошенько, а то как хрюшка-поросёнок... Подойди-ка.

Огляделся Васенька, пока ещё робкий. Пошёл в глубь вагона. Рот себе рукавом своей рубахи выгтер.

– Точно, хрюшка-поросюшка... Ты далеко-то не ходи, не досаждай там людям – отдыхают, – приказывает ему бабушка.

Не отвечает бабушке внук. Идёт мимо *Мурены*. Щёки у того впалые – как улыбается. Тоже уже позавтракал, наверное, сытый, а то сглотнул бы Васеньку – так кажется. Да нет, видно, что – незлобный: щёки и втянутые, в щетине, но глаза-то светятся по-доброму. Вынул *Мурена* из кармана конфетку, протянул её молча мальчишке. Взял Васенька конфетку,

развернул обёртку, в карман её положил, конфетку – в рот; пошёл дальше.

– А чё сказать-то надо, а?! – кричит ему вслед внимательно за ним следящая бабушка. – У самого вон есть и ш-шакалатки разные и мармалатки, полную сумку тётка насувала... до самой матери не съест... и аппетит-то себе портит... и эти... как их... всё не наше... смикерсы.

– Спасибо, – говорит, не оборачиваясь Васенька. Скрылся – не вижу его.

Михалков Никита, думаю, как лакмусовая бумажка – всяк по ней определяется в России. Ну, думаю. Лежу.

Жена опять читает бегло из газеты:

– Исцхак Шамир: Мама закончила в Питере Политехнический институт... и тэ-дэ, и тэ-дэ... ага, вот... Спасли евреев от геноцида Гитлера, но не надо закрывать глаза на сорок послевоенных лет гонений на евреев.

Муж, словно дятел в тугую древесину, как воткнулся носом своим в свою газету, так его оттуда и не вырвет, даже и сделать это не пытаются.

– Именно так? – говорит пожилая женщина. – Интересно. А не в обратной последовательности: 40 лет гонений... и на кого их, кстати, не было... но, несмотря на это, не надо закрывать глаза... Русский бы человек сказал в таком порядке.

Лежу, смотрю, слушаю, вспоминаю – действую по закону миллеровской семёрки, – ещё ж и думаю:

В Ялани на фронт ушло пятьсот парней и мужиков, чтобы избавить себя от рабства, а заодно и евреев от ещё большей беды, а вернулось только 80. Закрывать глаза и тут не надо. У Исцхака о своём голова болит, у меня о своём; и почему все должны жить

только их страданиями и печальми? А белорусы: каждый четвёртый? А малые народы?.. Прости, Господи, если богохульствую. Переживать об общечеловеческом сейчас не получается – суженный, скособоченный, убогий...

И я подумал почему-то: есть тайны – то, что было между моими родителями, сокровенное, – которые я не хочу узнать. Как Божии. То, что родители считали нужным нам рассказать или то, чему мы, дети, были свидетелями, – ладно. Но больше этого-то – нет. Священно. Моё любопытство само на этом останавливается... Когда ж приеду и пойду к Молчунье?

Собрался я всё же с духом, спустился со своей полки. Поздоровался со всеми и подался в туалет.

Скупились солдаты в своей плацкарте – по трое на каждой нижней полке – как бобы в стручке. Коротко стриженные. В десантских майках. *Вэдэвэшники*, ядрёный корень. В большой пластиковой бутылке перед ними на столике жидкость какого-то странного цвета, поигрывает весело и бурно в просквозившем её солнечном свете; пластиковые же стаканчики; солёные огурцы в трёхлитровой стеклянной банке; и большой круг лаваша, уже подщипанный – лежит – как большая звёздочка или шестерёнка передачи. Остро-остро пахнет самогонкой.

Иду, думаю: предложат выпить, дескать, откажусь.

Возвращаюсь из туалета. Дверь, как сумел, прикрыл – замок-то сломан. Разворачиваюсь неторопно и чутко слышу:

– К нам не подсядете?.. А то мы вместе едем уж давно тут.

– И я давно. Но я служил на флоте.

– Ну, так и чё?

– Ну, тогда ладно.

Сидим. Разговариваем.

Ребята спокойные. Из Кяхты едут. В Абхазию. Выяснилось. *Миротворцы*. Выяснилось и то, что я геолог. Как обычно. За язык-то кто-то будто тянет. А что ищу? Конечно – золото. А нефть? И нефть. Что попадётся.

Дверь за мной постоянно хлопает – не раздражает. Лица разные мелькают. Васенька бегаёт, получил от солдат солёный огурец и кусок лаваша. Ест с удовольствием. *Ш-шакалаткой подслашат, мармаладкой уплотнят.*

– Голодный бытто! – стесняется за него бабушка. Велит ему строго: – Сядь, Пушкин-зять!.. Людям не мешай! Пусть кушают. И не носись, то ноги тебе выдеру, как Божинька змею!

От внука бабушке ноль внимания.

Мужик какой-то, лет пятидесяти, раза три уже, наверное, не меньше, в глазах моих, надеюсь, не утроилось же, сводил в туалет старика, похожего на бессмертного струльдбурга из королевства Лагтнегт, куда прибыл двадцать первого апреля 1708 года корабельный врач Лемюэль Гулливер из Ноттингемшира. Ну, думаю.

Девушки разноцветной, привлекательной стайкой выходят покурить. За ними и солдатики мои, гляжу, увязываются.

И мне так как-то стало – ко всем расположен, а многих и расцеловать даже захотелось. Но сдерживаюсь.

Пошёл к себе. И говорю:

– Олег – меня зовут. Здравсте.

– Здравствуйте, – отвечают мне. – Очень приятно.

Я им верю.

– Присаживайтесь, – говорит мне пожилая женщина, которой уступил вчера я своё место. Головой к

окну лежит, подтянула ноги. На актрису Доронину похожа. – Тут вот... Да прямо на постель.

– Ага. Спасибо, – говорю.

А после – честно:

Ночью проснулся. У себя. И до утра лежал уже без сна, просто с закрытыми глазами – так незаметно, как секунды пробегают.

Лежу. Думаю: хорошо бы было – растворил бы дверь, и ты в Ялани, открыл назад – и в Петербурге... Как у Курта Воннегута.

День.

Гудит вагон от разговоров – как улей; сильно болтается – не потерпели б это пчёлы, люди сносят.

Мурена, вижу, как сидел вчера в норе своей, так и не сдвинулся – как караулит, жертву питательнее выжидает. Ещё не слышал от него ни слова – ну, коли рыба. Но улыбается всё время, щёки как будто засосав.

Бабушка с Васенькой уже позавтракали. Бабушка прибирается на столе. Васенька, смело уже, без всякой робости, готовится куда-то смыться. Освоился. Со всеми в вагоне уже пообщался, познакомился. И с проводником в его купе чаю попил. *Будьте как дети*. Возвращается всегда из похода с подарками – доволен. «Обнаглел, – говорит ему строго бабушка, – ты хошь спасибо-то сказал?! Люди подумают, что беспризорный». – «Дак мне же сами дали, не просил я», – отвечает ей мальчишка. «Ох уж окурок мне, окурок!.. Скорей бы сдать тебя уже, ли чё ли. Все уж нервишки истрепап».

Соседи мои о чём-то разговаривали, но о чём – я пропустил – был в *гарнизоне*. И вернулся оттуда уже не с деревянной мордой, а с сообразительной. Сел на самый краешек полки, на которой лежит пожилая женщина. Слышу:

– Я экономист, – говорит *Ваза На Тумбочке*. – А Эдик – физик... Бог же никак не определяется физически, и значит – нет Его в природе, – *Эдик* её такому научил, наверное, коль – физик.

– Если Бога нет, – говорю я, – то какой же я после этого капитан!

– Вы капитан? – спрашивает *Ваза На Тумбочке*.

– Лебядкин, – отвечаю.

– Да это так же, – говорит пожилая женщина, – как поставить на радиоволны обычную рыболовную сеть, ничего в неё не поймать и заявить после, что радиоволн не существует.

– Если Бога нет, то Бог есть, – говорю я. – Бонаventura.

– Вы ж говорили, что – Лебядкин.

– Это фамилия моя, а это – имя.

Подкаблучник знает своё дело – молчит в присутствии жены в тряпочку. Не было бы её рядом, думаю, всем бы тут уши просвистел, хоть и не *геолог*. А так торчит себе в газете, только жене поддакнет иной раз.

– Без Бога, – говорит пожилая женщина, – как без отца. Это даже не быть клонированным, как овечка Долли, а быть выращенным масонами, даже и не из клетки, не из донорского семени, а из майской росы, собранной в полнолуние, и менструальной, извините за такие подробности, крови целомудренной девицы, в мутном мистическом тумане, под свист и топот возникнуть в колбе мужчиной и женщиной. Как всё же мерзко сатанинство.

Ого! – думаю. Сидеть неловко мне на краешке, сползаю – полки побольше занял, чуть подвинувшись.

– А кем вы работаете, где? – спрашивает *Ваза На Тумбочке*.

– Геолог, – говорю.

– Я не у вас...

– Преподаю историю студентам, – отвечает пожилая женщина. – В Алмаатинском университете... Преподавала.

Сижу. Думаю. И чувствую – как будто прохудился: цитаты из меня посыпались, как из министра культуры Швыдкова:

– Служение Богу – высшее проявление человеческого духа... В груди человека нет чувства более благородного, чем удивление перед тем, что выше его...

– Человек – венец творенья, – говорит Ваза На Тумбочке. – Но это ведь не так. Да, Эдик?.. Мы – часть природы, не самая, к тому же, лучшая.

И *Подкаблучник* ей поддакнул.

Ну, думаю. И говорю:

– Человек, который якобы не поклоняется никому и ничему, поклоняется сам себе, хоть и не *самому лучшему*... и служит своей бездуховной похоти... Простите, это не о присутствующих... Перед Кем предстоишь, Тем себя и измеряешь: Будьте совершенны, как совершенен Отец ваш Небесный...

– Надо сходить, – говорит Ваза На Тумбочке. – Пока там, перед станцией-то, не закрыли. Вы не пойдёте?

– Пойду, – говорит пожилая женщина.

Подкаблучник молчит – при памперсе, наверное.

– Показаниям тела верят, – говорю я, – а свидетельствам духа нет... Безверие – рабство, и вынести его нелегко...

Женщины поднялись и, взяв с собой разные дамские туалетные штучки, удалились.

А я ещё не высказался будто, не излил душу, но взглянул на *Подкаблучника* – завяз тот своим носом в

бумаге газетной, как иногда комар в человеческой коже, – и передумал с ним беседовать. Вспомнил про баночное пиво, которое всунул, когда провожал, в карманы моего *рузака* Андрей, и, пользуясь моментом, пока полка свободная, нет на ней никого, поднял её и вынул из ящика рюкзак. Достал банки с пивом – сразу все, то есть четыре. Положил их на свою полку. Вспомнил тут же про орехи и Васеньку. Залез в мешок и нащупал в орехах какой-то свёрток. Развернул. Вижу: деньги – пересчитал их – десять тысяч. И записка. Прочитал: «Олег! Извини. Так бы ты не взял. А вдруг понадобятся». Ну, Дима, думаю, ну, Дима. Положил деньги и записку в карман куртки. Васеньке на стол орехов насыпал. Бабушка мне: «Спасибо, милый человек». Я ей: «Да не за что. Щелкайте на здоровье». Зубов-то нет, ей, дескать, не пощёлкать. Рюкзак – спрятал в ящик. Опустил полку. Взял банки с пивом и направился в *гарнизон*. Эдик, ясно, пить не станет.

А дальше – честно – утром уж проснулся.

Лежу. Вспоминаю вчерашний день, и разговор, что происходил, но не у меня с солдатами, а тут, в нашей плацкарте, и думаю:

Отец мой не был атеистом. Он был, и не задумываясь никогда об этом, деистом: «Ну, *Что-то* или Кто-то там, конечно, есть, – говорил он, – но в дела наши человеческие не вмешивается... Оно – природа: создаёт и растит». Сразу деист и пантеист. Бога как Личность он не ведал. Хотя не стану за него решать, Суда о нём не слышал... Ничего – вспомнился вдруг Розанов Василий Васильевич – нет, кроме Иловайского, Иловайский же достоверен. И ещё вспомнилось: только Аномеи бахвалились, что знают Бога в Его есте-

стве. Но Бог определяется другим – духовным актом. И я подумал: да, но он просто мой отец, и мне его теперь так не хватает...

И ещё подумал:

Лень моя. Заболит у меня зуб. Буду ходить, думать, что надо сходить к стоматологу. Но не соберусь. И так до тех пор, пока не развалится до основания или уж так меня не достанет, что хоть самому его выдёргивай, – тогда сподоблюсь. Или вот с башмаками. Каблуки, косолапый-то, снашиваются. Думаю, надо подбить. И так, пока совсем не сносятся набок. На то он и зуб, на то он и каблук, думаю, чтобы снашиваться.

Мурена ногу только поменял. Вчера левая на правую была закинута, теперь, вижу, наоборот. И на щеках щетина погустела – словно проплывавшая мимо каракатица его чернилами забрызгала густо.

Бабушка с Васенькой позавтракали. Бабушка с продуктами разбирается – рассовывает их по разным сумкам. А Васенька в бега опять подался.

Слышу:

– Мы с мужем заключили договор... брачный контракт.

Муж молчит: ножку куриную обсасывает, мне *аппетит* нагуливает – лежу, слюной не известись бы.

Все молчат.

А после:

– Как можно в слова или в состояние: я тебя люблю – ввести юридическое право? Наоборот ли, – говорит пожилая женщина. – Так же и в: Господи, помилуй.

– Сейчас многие и в этой стране уже так поступают, – говорит Ваза На Тумбочке. – Правда, Эдик?.. Время такое. И это же благоразумно. Когда поймут, что это правильно, все станут заключать, до нас все-

гда что путнее доходит позже, зато дурное моментально... В цивилизованном мире повсеместно...

Чмокнул курятиной Эдик – да, дескать, правда – физик.

– Не понимаю, – говорит пожилая женщина. – Начнёте стариться, пойдут морщины и прочие признаки старости начнут проявляться, контракт-то разве поможет?.. Это когда любишь, всякая морщинка дорога, в родном-то да в любимом... Вы там проснулись? – спрашивает. – Спускайтесь, с нами пообедаете.

– Спасибо, – говорю я. – Пока не хочется. А где стоим?

– В Свердловске, – отвечает Ваза На Тумбочке. – Царя-то тут же где-то расстреляли.

– Да-а, – вздыхает пожилая женщина. – В Екатеринбурге, – и произносит: – О святы́й страстотерпче царю мучениче Николае, Помазанника Своего тя Господь избра... Но яко имея дерзновение веле у Христа Царя, Его же ради вси пострадаша, моли с нами, да отпустит Господь грех народа, не возбранившего убийение твое, царя и Помазанника Божия, да избавит Господь страждущую страну Российскую от лютых безбожников, за грехи наша и отступление от Бога попущенных, и возставит престол православных царей, нам же подаст грехов прощение...

– Вы это тут уже купили, иконку эту и газету? – спрашивает Ваза На Тумбочке. – Когда на перрон выходили?

– Пока Монархия не восстановится, нечего ждать великой России... Да нет, взяла с собой из дома, – отвечает пожилая женщина.

– Но он же столько пролил крови!..

– Кто вам сказал?.. Не террористы разве больше?

– А вот как раз в газете тут написано.

Чучело в короне нужно свергнуть с трона, с бою взять свободу Русскому народу... А деспот пирует в роскошном дворце, тревогу вином заливая, но грозные буквы давно на стене чертит уж рука роковая... Припомнилась мне песенка. Стихи неизвестного автора.

Да нет, известен, думаю, давно сценарий был написан. Тут вот, в доме Ипатьева, как на театральной сцене, и разыгралось. И ещё думаю:

Почему русский народ, присягавший царю на верность, не пошёл и не спас его? И не мог!.. Воля Божия над нами исполнялась.

– Обедали одни с Папа и Мама у них наверху, – видимо, откуда-то вслух читает пожилая женщина. – Грущу ужасно, что писем нет от моей Аликс... В час ночи уехал из Пскова с тяжелым чувством пережитого. Кругом измена, трусость, и обман... Вчера был взят нами Галич и три тысячи пленных и около тридцати орудий. Слава Богу! Погода стояла серая и тёплая, с ветром. После прогулки имел урок истории с Алексеем. Работали там же; спилили три ели. От чая до обеда читал... Начал переписывать пьеску Чехова «Медведь», чтобы выучить её с Ольгой и Мари. Вечер провели, как всегда... семнадцатого апреля. Воскресенье. Тоже чудный тёплый день. В восемь сорок прибыли в Екатеринбург... Алексей принял первую ванну после Тобольска; колено его поправляется, но совершенно разогнуть его он не может. Погода тёплая и приятная. Вестей извне никаких не имеем... Бог не оставляет меня. Он даёт мне силы простить всех моих врагов и мучителей...

– А это кто?

– А это император... Какой из его предателей способен был на это. И хоть один из них впоследствии раскаялся в содеянном?.. Жалели, может быть, но

вряд ли каялись. Все же себя оправдывали, как могли... А кто-то так, без раскаяния и покаяния, и умер, уверяя всех, что желал он только лучшего – вопрос вот только – для кого?.. Только Император Великой Империи, Помазанник Божий, дышавший богодан-ным воздухом, знавший всё наперёд, мог вести такие дневники. От начала правления до смертного часа – своего и Чад Своих. И рядом толкалась, крутилась свора изовравшихся либералов – Родзянко, Милюков и прочие...

Ну, интересно, думаю, и когда я думаю об этом, и у меня захватывает дух – как будто я предал, я не смог помочь... Может быть, это и есть моё личное покаяние?.. Император! – произношу я сейчас мысленно, лёжа тут, в духоте вагонной, когда поезд наш стоит в Екатеринбурге, принявшем на себя такую участь, – Святой Николай, отец удивительного русского семейства!.. давший пример для всей нации, пример отца, мужа, человека, который – ни один чёрный человек не может этого опровергнуть (а хотели бы!) – так принимает смерть, – прости... меня... Имею ли я право просить прощение перед тобой за моих предков... Один из них: *будущ на твоей (предка твоего) государеве службе, терпел, холоп твой, всякую нужу, голодом паицрал и ел всякое скверно, и траву, и коренье, и сосновую и пихтовую кору...* За кого я должен каяться?.. Есть какое-то лукавство – в требовании покаяться: вы должны... – а вы?!.. А мы на вас, дескать, посмотрим.

– Но не любил же их народ, – говорит Ваза На Тумбочке. – Не зря же свергли! Мир же живёт и без монархии, ещё и лучше... Вон и Америка... Весь Запад.

– Лучше или хуже, ещё вопрос... Тысячи крестьян, – говорит пожилая женщина, – пешком шли в Пе-

тербург, чтобы поклониться и поплакать у временной часовенки на месте убийства Царя-Освободителя.

А мой дед, думаю, Дмитрий *Истихорыч*: где Ты был, Господи, когда меня кулачили? – поехал в ссылку и все иконы, конечно же, до горечи ему было обидно, в отнятом комбедовцами у него родном доме оставил, не расслышав: *Я был здесь и смотрел на тебя*, – что-то в нём уже сломалось к тому времени. Народ наш русский так легко оставил веру после Октябрьского переворота потому, наверное, что всё его православие состояло уже исключительно в исполнении внешних предписаний: заказать водосвятие, молебен, крестины, во здравие или в помин поставить свечку, не есть скоромное по постным дням, и как только ему сказали сверху или с левого боку, что обряды – это выдумка *объевишихся* попов, большинство сразу и перестало верить в Бога, а потому и Царь Русский – не Помазанник. Внутренняя, глубокая суть христианства вытравилась и не воспитывалась – и так, мол, тяжело, а тут ещё и сострадай кому-то и Кому-то... так и не снятому с креста.

Он же, Дмитрий *Истихорыч*, скрывал, прятал почему-то от властей до революции на чердаке своего дома беглых государственных преступников – Калинина Михаила Ивановича, будущего *народного старосту*, и менее известного товарища его Примакова. А когда начал замерзать в сырых землянках на пустошесые и голодать с детьми на Крайнем Севере, жену там схоронил, тогда стал писать бывшему агенту «Искры», чтобы тот выручил его по старой памяти, а председатель ЦИКа так ему ответил: «Против постановления партии ничего, к сожалению, поделать не могу». И по заслугам, наверное, деду, хотя, конечно, сердце разрывается при мысли...

Вспомнилось:

Разграбление имений ваших с радостью прияте, ведяще имети себе имение лучшее на небесех.

У нас так не получается, думаю, мы так не можем; кости слабые у нас – на крест-то восходить.

Горняя мудрствуйте, не земная, умросте бо...

Племянник мой, художник, рассказывал мне, что, когда мать его, сестра моя двоюродная, уходя на суточное дежурство в больнице, приводила его, сына своего, к деду, среди ночи он, племянник, несколько раз за ночь просыпался и всякий раз видел в освещённой лунным светом спальне стоящего на коленях перед образами прадедушку, Дмитрия *Истихорыча*, – молился. Не коврижки же к утреннему чаю у Бога он выпрашивал. И не добавку к пенсии. Такое дело.

Спустился я вниз. Пошёл в туалет. После: опять на час-другой там задержался, в *гарнизоне*.

Подсел, к себе возвращаясь, за столик к *Мурене*, поговорить с ним остро почему-то захотелось. Говорю, говорю. А тот, *Мурена*, только улыбается. Ну, думаю. Смеются друзья мои по *гарнизону*. И говорят:

– Да он глухонемой... Мы от Иркутска вместе едем.

Пошёл я себе дальше. Ну, думаю.

Прихожу. Сажусь на краешек полки. Слушаю:

– А если дурачком окажется монарх, или злодеём? – спрашивает Ваза На Тумбочке.

Попала ей под хвост шлея, думаю.

– Промысел Божий – значит, – отвечает ей пожилая женщина. – Это нам, гражданам нашей страны, зачем-то нужно, значит. Это глубинно, не так просто... мистично.

– Значит, тогда, по вашей логике, и демократия нужна зачем-то, – говорит Ваза На Тумбочке. Как победительница, улыбается.

– Может быть, – говорит пожилая женщина. – Но это скучно. Служить серой, хваткой массе, облепившей все доходные места в государстве. Другое дело – Тому, на самом деле, как сказал Олег, что или Кто тебя выше.

– Весь мир живёт уже при демократии... цивилизованный. А мы... как дикие.

– Не весь. И мы не дикие... И что значит цивилизованный? – говорит пожилая женщина. – Культура – душа, а цивилизация – метод. Культура неповторима, а цивилизацию вон шлёпай да шлёпай, перенимай, тиражируй и пользуйся... А демократия – то, что выше её содержателей и акционеров, подстригается, а то, что ниже, поощряется, с жалкой попыткой это приподнять. Но подстричь первое для демократии желательнее, чем приподнять второе. Высокое по духу – достояние аристократии. И это вечное заигрывание с народной волей, это духовное холопство. Демократия в аду, говорил святитель Иоанн Кронштадтский, Царство на небе. Нам – или Монархия, или уж Диктатура: власть милостью Божией или власть Божиим поущением.

– Ну, я не знаю, – говорит Ваза На Тумбочке.

Добропорядочный муж её плечами только пожимает: мол, ну о чём и с кем тут толковать.

– А если воля эта зла вдруг пожелает? – говорит пожилая женщина. – Распни, распни-то... Уже было.

Хорошо, думаю, что я ей место уступил – не забываю.

– Да, наш народ ещё, конечно, не созрел... Ему диктатор ещё нужен, – говорит Ваза На Тумбочке.

– Кто вам сказал? – спрашивает пожилая женщина.

– Везде же пишут... Да и так ведь видно. Дикий. Завистливый, – говорит Ваза На Тумбочке. – Сдохла

корова у меня, пусть и у соседа тоже сдохнет... Или увидел у соседа – пусть бы сдохла.

– Привыкли к бесправию и жестокости, к рабству и деспотизму.

Господи, да это ж он сказал, безмолвный подкаблунчик. Смотри, задело за живое.

– Ну почему же, – говорит пожилая женщина, в отличие от меня, не малодушествует. – Я знаю много таких людей, которые только пожалеют, мало того, ещё и денег соберут, чтобы купить пострадавшему новую корову. Наоборот, других, как раз вот меньше мне встречалось... Это, наверное, что хочешь увидеть, то тебе и покажут... исполнитель-то – угодник... Да и России есть чем погордиться, в лучшем смысле. Было.

– Салтычихой? – это уж Эдик разошёлся.

– Своим судом, например, финансами, рабочим законодательством, не говорю уже – Святыми.

– Ну, это уже церковь.

– А церковь что, чужие сохраняли, иноземцы, не все же поклонились... И церковь... И наш народ, конечно, всякое случалось, но не таскал всё же на пиках половые органы принцессы, как было в разлюбезной Франции, храмы отстаивал, священников... К тому же, если уж вам так слово это нравится, – говорит пожилая женщина, – юридическая Россия имела самый демократический в мире уклад... И негодны-то мы, может, и негодны, но только мы и не надемся на свою годность, а уповаем на милосердие Божие. И забывают почему-то, что Салтычиху осудили и срок тюремный, кажется, назначили ей, так вот.

И я не вытерпел, вступаю в разговор:

– Демократия ваша – это когда правит кухарка, а управляет всем кто-то невидимый, кто не несёт ни за что никакой ответственности, а всё сваливает на ку-

харку, и творит втихаря своё корыстное или гнусное дело. Монархия, – говорю, – лучше, чем демократия, обеспечивает условия для развития культуры и национальной безопасности. Демократия – это не власть народа, к вашему сведению, а прелюбодеяние народа с властью. Не помню, кто это сказал, но прямо в точку. Я не людоед, но мне не нравится американский образ жизни. Пусть живут, как хотят или могут. Но зачем навязывать это другим с бомбой в руках?! И демократы, а не монархисты, казнили Сократа!

– А чем мы лучше или хуже других?.. Надо просто брать у цивилизованных народов оправдавшую форму правления и устанавливать её у нас, – говорит Ваза На Тумбочке – спихнуть бы, думаю, чтобы разбилась. И:

– Нет, – взрываюсь. – Мы не лучше и не хуже. Мы – другие. У нас другая территория, другой климат, у нас другая история – поэтому нам нельзя брать чужую форму, а надо восстанавливать свою. И при демократии, как говорил Лев Тихомиров, послуживший в своё время делу революции, толпа всегда выберет Варавву и разбойников, а Христа отправит на распятие. И почему мы должны черпать идеи у господина Бзежинского и иже с ним, а не у Менделеева, к примеру, Столыпина и Чайнова. Русский человек падок почему-то на всё заграничное, и чурается своего русского, – выпалил это, поднялся и пошёл в сторону *гарнизона* – как будто час настал – отправился на службу.

Пришёл, наверное. Пришёл, конечно. Нигде не загостился. Как бы где ни засиделся, всегда домой возвращаюсь – в моём характере, – пусть уж к утру, но доберусь.

Проснулся утром. У себя. Ое-ёй, – лежу, думаю. Мысль тяжелая – вдоль всего тела протянулась – как

кабель свинцовый – от головы до пяток; полка, боюсь, бы не обрушилась.

Всё по-прежнему. Никто новый в вагон не вошёл, никто из него не вышел. Тут, у нас, по крайней мере, в нашем околотке; как там, в другом конце, не знаю, там как чужая сторона; в лицо всех уже, конечно, знаешь, но на брудершафт с ними, как говорится, не пьёшь.

Будто сроднились все – общаются, как родственники; угощаются и угощают; рецептами кулинарными и лечебными делятся.

Васенька общим стал ребёнком. Белобрысый, хитроглазый. Всех *маток сосёт*. И ладно. Смешливый. Захохочет – горох по вагону будто посыпется. Зуб передний *мышка утащила*, и за другим скоро придёт – тот уж *шататса*. Говорит с посвистом – как не смазанный подшипник.

Бабушку его все уже зовут по имени и отчеству: Матрёна Тимофеевна, Матрёна Тимофеевна. Васенька только: ба-а Мотя. Наша, сибирская. С Саян. Старообрядка. *В теле*. Дородная. *Бела, высока – красива*. Ей борода моя по нраву – вчера ещё выяснил – про троеперстие рассказывал ей что-то, на что она мне отвечала: тремя перстами соль в шшапотку брать да шти ею-де солить. Редко когда за это мне не достаётся – за бороду. Ну, то ли дело, дескать, не *скоблённый*, и посмотреть, мол, не противно. А мне и мило.

Муфена – тот оброс уже, как кактус; щетина редкая – как иглы на морском еже. Не пойдёт и не побреется. Не вижу, когда он ложится и когда встаёт, не вижу тоже. И в туалет чтобы ходил, я не заметил. Будто прибили его к месту. Доедем, отдирать надо будет. Сидит, всё время улыбается. Хороший.

Слышу:

– Многие из родовитого русского барства: князя Голицыны, Гагарины, – говорит пожилая женщина. – Нарышкины... И Пушкин по касательной прошёл: ноготь длинный отрастил себе на пальце... Бог гения миловал. Но похоронен был он всё же с перчаткой, как *брат*. И в это же ведь время жил Серафим Саровский... Захват власти, реформация церкви на протестанский лад и устроить жизнь как у немца... Ох, ох бедная! Русь, чего-то тебе захотелось немецких поступков и обычаев, сокрушался когда-то ещё протопоп Аввакум... Безмолвное повиновение царям и гражданским властям, от них учреждённым, любовь к ближнему, трезвая жизнь и удаление от разврата и соблазна – так всё это можно же делать и в лоне Православной церкви, зачем для этого вступать в тайное общество?.. Общечеловеческие ценности, в которых нет места Православию и патриотизму – что это такое?.. Рыцари-филалеты – друзья истины – какой вот только, мартинисты, иллюминаты, каббалисты-розенкрейцеры, особо не афишировавшие своей деятельности, спириты, теософы, антропософы, толстовцы... бесы в ступе...

– Что, и Толстой?

– По крайней мере, в каком-то из своих писем, не помню сейчас к кому, он признавался: что, сам он того не зная, был и есть масон по своим убеждениям, и с детства питал глубокое уважение к этой организации, полагая, что масонство сделало много добра человечеству. Это декабристы-то, Временное правительство?.. Как посмотреть... Достоевский так никогда бы не высказался. На самом деле цель всех этих деятелей – разрушение национального самосознания народа, удар против государственности, национальных

основ и Православия... Софианцы, если к ним ещё присовокупить толпу рот открывших простаков, кокаинистов, Анну Шмидт, Незнакомку, Маргариту Кирилловну – тварные воплощения и не подозревающей об этих воплощениях Святой Софии, это додуматься же надо... то получается притон и дурдом вместе взятые – логовища мысли с браком трёх, любителей ночных фиалок и Дионисова действия – вся эта помойка – чего же ждать-то ещё было?! Только того, что настучит Господь по голове нам. Настучал – семьдесят лет ходили очумелыми, теперь ещё не отошли.

– Государство должно защищаться от таких любителей играть в тайны и придурков полоумных, которые доигрываются до кошмаров. А после, – говорю я с полки, не слезая, – гад гада пожрёт. Добрые люди предостерегали и увещевали, тот же Достоевский, нет же, продолжали бесноваться. Это понятно. Это как стоять на полянке и дуть на надвигающую грозовую тучу. Все-му тому должно было случиться. И император это понимал, так мне кажется... Влюблённые в себя и в свой пафос либералы всех мастей, от благодушных до язвительных и шибко суетливых, сидя на палубе в шезлонгах, покуривая сигары и покачиваясь в такт своей болтовне, начинают раскачивать корабль, а потом из трюма вырываются разбуженные качкой политические отморозки и довершают дело либералов, сбрасывая с палубы прежде всего их, этих самых попустителей и вольнодумцев. Мне ближе по душе люди, которые страдают от затей этих умников, а после ещё и разгребают результат их умствований...

Уж вы вейте верёвки на барские головки; вы готовьте ножей на сиятельных князей; и на место фонарей поразвешивать царей, тогда будет тепло, и умно, и светло. Слава!.. Подгуляла я, нужды нет, друзья, это с радо-

сти. Я свободы дочь, со престола прочь императоров... Я, порядка оборона, всюду озарю светом факелов Нерона Конституции зарю...

– Братки-франкмасоны от русского барства и прогрессивной интеллигенции, – говорит пожилая женщина, – рукоплескали каждому политическому убийству – шелестели, как тараканы на полатах.

Лежу, думаю: ое-ёй. И думаю:

Когда-то, был я тогда ещё молодой и ещё более глупый, чем сейчас, получив литературную премию Андрея Белого – капитана корабля «Арго», тогда неофициальную, сразу от неё не отказался, хотя неловкость какую-то от этого и испытывал – интуитивно. А теперь не знаю, что и делать. На подобные акции – публично отказаться – я, конечно, не способен, это уж надо так *маленько* мне, чтобы и море стало по колено... Но готов повторить за Николаем Степановичем Гумилёвым: «Я традиционалист, монархист, империалист и панславист. У меня русский характер, каким его сформировало Православие». И формула моих убеждений: «Славянское ощущение равенства всех людей и византийское сознание иерархичности при мысли о Боге». При чём же тут Андрей-то Белый – ведущий символист, поклонник Штейнера?

Вот ты кличешь: «Где сестра Россия, где она, любимая всегда?» Посмотри наверх: в созвездьи Змия загорелась новая звезда.

Спустился я вниз. Сходил помыться. Задержался после у братушек-солдатушек – не они ведь расстреляли Гумилёва. Побыл у них. Вернулся. Слышу:

– Какой у вас знак? – спрашивает жена Эдика.

– Что вы имеете в виду? – переспрашивает пожилая женщина.

– По гороскопу.

- А-а. Я не знаю.
- И напрасно.
- Давид идёт в пустыню, молиться Богу, а Саул – к волшебнице. Каждому своё, – говорит пожилая женщина.

Сижу. Молчу. Вспоминаю вдруг, как – а было это в какой-то из девяностых, самых, пожалуй, откровенно махрово-мракобесных годов *на одной шестой части суши* – после астрологического, прозвучавшего по телевизору, по *первому* каналу, никакой другой в Ялани не *показывают* и не показывал, прогноза, в котором гладко выбритый пророк-астролог, отвечая на вопрос звонивших ему в прямом эфире досужих и любознательных зрителей-слушателей, что с ними может в этот день, в который это всё вещалось, произойти, чего нужно им бояться или ожидать с радостью, накаркал, что можно, например, но лишь до двух часов дня, стукнуть молотком себе по пальцу, а после можно не страшиться этого. Пошёл я, по просьбе мамы – отпуск, как нынче, проводил тогда в Ялани – поправлять калитку в огородчик, и про прогноз совсем забыл, стал гвоздь вколачивать и саданул себя по пальцу, после чего и молоток бросил и завыл, как зверь, от боли, но взглянул тут же на часы – показывали они мне без трёх минут два.

И тут, тьпу-тьпу, чего бы не услышать – на что бы доброе, то ж на худое закодируют. Поднялся я. Пошёл – тропа уже натоптана.

На боковом месте в *гарнизоне* сидит, вижу, *струльдбруг*. Меня будто ждёт, или – смерть. Не я её посланник, слава Богу. В нижнем фланелевом белье – в вылинявших голубых кальсонах и в заправленной в них бледно-розовой рубаше, ещё шнурком коричневым перепоясанный. В кроссовках, ему великоватых, явно.

Щуплый. Как шкет. Сильно подвяленный – как вобла. Жилы на жёлтой, тонкой и пупырчатой, как у обшипанного гуся, шее – словно тросы – будто не голову поддерживают прямо, а Останкинскую башню. Кадык большой, но разглядеть его непросто – замаскированный седыми волосами – как орудие. Ну, думаю. Подсел я к нему, к такому необыкновенному, пытаюсь с ним поговорить – о вечном, может, о любви ли. А тот меня как будто и не слышит. Сидит с открытым настежь ртом – с пустыми дёснами – зубы, чтобы не потерять, зря где попало не таскает – опытный; сидит, не моргает, глаза блеклые – как чистый кипяток, пальцами хочется ему их подпереть – чтобы не выпали; белки у глаз пенистые – уже вскипели по краям-то; челюсть трясётся мелко-мелко – будто она одна ещё живая. Вышел из туалета мрачный поводырь *струльдбруга* и увёл от меня несостоявшегося собеседника.

Солдаты в карты перекидываются, в подкидного. Я возбуждён – мне не до карт – если бы *в пьяницу*, сыграл бы. Пиво пьют. С солёными сухариками. Я не мешаю.

– Старше Будённого и Ворошилова, – говорят солдаты. – Он с нами едет от Иркутска. Ещё ЧеКа организовывал в Бурятии... Внук нам рассказывал, который его водит.

Ну, думаю. Мало того, и: ое-ёй! – вдобавок ещё думаю.

Вернулся в свою плацкарту. Слышу:

– Когда Ив Монтан приезжал в Россию, – говорит Ваза На Тумбочке, – если не путаю, на фестиваль... накупил в московских магазинах несколько чемоданов женского белья и сделал, вернувшись в Париж, выставку. Вы представляете, там панталонищи. Как

остроумно. Жерар Филипп, по-моему, подал идею. И Жан Марэ... А жёны наших доблестных офицеров в захваченной Германии ходили по театрам в комбинациях и пеньюарах. Вы представляете, позорище.

– Ну, не знаю, – говорит пожилая женщина. – Что уж тут ужасного такого?.. Ну и ходили – жёны победителей могли себе позволить... Жёны-то... Разве полковые?.. Выпила лишнего какая-нибудь да и нарядилась, мало ли... На анекдот похоже больше. После войны тогда, когда фестиваль был, прошло всего ещё только десять-двенадцать лет. Когда милые и изящные француженки подстелились под немцев, не все, конечно, с оговоркой, эти самые, грудастые и жопастые, русские бабы, у них у многих, кстати, и белья-то нижнего, пожалуй, не имелось – на бинты весь израсходовали да на пелёнки, делали всё, что в конце концов освободило ту же самую Прекрасную Францию. Сам континент не делит себя на Азию и Европу, конечно. Бог его сотворил единым. И европейцы, которые очень хотят себя отделить от *диких* русских, должны быть довольны, что огромную часть Азии заселили русские, продвинув племя европейское за Урал, а не заселили эту часть, богатую ресурсами, японцы или китайцы. Если бы случилось так, то результаты Второй мировой войны оказались бы иными, и где бы сейчас была эта *Европа*?.. И *остроумный* ваш Жерар Филипп?.. И Ив Монтан. И прочие с чемоданами русского нижнего белья... *эстэты*. Трудились бы сломя голову, играли бы на подмостках Парижского провинциального театра в Третьем рейхе, исполняя роли положительных эсэсовцев из пьес, написанных отставными ветеранами из Вермахта, партайгеноссе. Представить можно. Всё под Богом... А эта выходка – с нижним бельём – хамство, по меньшей мере. А офи-

церы наши и были в большинстве своём, кстати, доблестными – не захватили, а освободили.

– Французы и немцы от мира сего, – говорю я. – А мы, русские, нет.

Ушёл. Пришёл. Слышу:

– Уж сам интеллигент из интеллигентов, Антон Павлович Чехов, говорил, что не верит в интеллигенцию, лицемерную, по его словам, фальшивую, истеричную, невоспитанную, ленивую, не верит даже, когда она страдает и жалуется, потому что её притеснители и гонители выходят из её же рядов. Наши интеллигенты, если и приходят в Церковь, то воображая, что они, умники, честь оказывают Богу, писал архиепископ Никон... Это же от душевной пустоты. Но в семнадцатом году, к сожалению, интеллигенция, эта голова, оторванная от туловища, победила Монархию и Церковь... и Народ.

– А Михалков интеллигент? – спрашивает Ваза На Тумбочке.

Ну что, думаю, прицепилась она к Михалкову. Кто он ей, и кто она ему? Спихнуть бы её, точно, пусть на осколки бы рассыпалась, а *тумбочку* – перевернуть – так, террорист, в себе я разъярился. Эдик и в драку, защищая, не полезет.

– Если считать только по законченному высшему образованию, как это принято у нас, то да. А вообще – аристократ, который служит своей родине своим творчеством... мало того – и как мужчина... парней и девок народил вон.

– Русская интеллигенция, – вставил я, – десятилетиями копила взрывчатые вещества, о чём говорил человек, хорошо её знавший, и играла кубиками пироксилиновых шашек. Случайная искра взорвала всё... Ей, интеллигенции, да и всему народу, в 1905 году

был преподнесён урок. Не поняли. Разбесновались ещё больше, хлопая в ладошки и поощряюще улюлюкая террористам-революционерам, гадая, кто будет следующей их жертвой... понося при этом почём зря нормальных граждан, патриотов... Того же Победоносцева – и очернили уж – до сих пор не отмыть. Только Радзинского послушай... певец-историк.

– Да, – говорит пожилая женщина. – У меня была бабушка. Белошвейка. Жила в тогдашнем Петербурге. Влюбилась в человека, который приходил и делал ей заказы. Грамоты не знала. Так вот, у каждого заказчика она спрашивала, как пишется нужное ей слово, тот на листочке ей его написывал, и, в конце концов, вышила на платке признание в любви, заключив это словами: если вы не можете ответить на моё чувство, верните мне платок, сказав мне, что я его обронила. Что это, интеллигентность, или нет?.. Так что тут не всё так просто. А была она из архангельских крестьян. В крестьянстве, как и в казачестве, было много людей, про которых можно сказать: интеллигентный – но вернее-то: аристократ. Остальное всё – посредственность или ущербность.

– Так а там дальше-то? – спрашивает Ваза На Тумбочке.

– Что дальше?

– Тот заказчик?

– Стал моим дедушкой... Заказчик. Строил мосты по всей России. В двадцать первом расстреляли.

– Да?.. А у Эдика бабушка была дворянкой... В Польше.

Ушёл я. Пришёл. Слышу:

– Рабское сознание русского народа – утверждение это исходит от людей с рабским сознанием, – говорит пожилая женщина.

– Ну почему же. Это ж очевидно.

Ушёл я. Тут поотсутствовал, а в *гарнизоне* попри-
сутствовал. Вернулся. Слышу:

– Реинкарнация – это да, а воскресение – это смеш-
но, – говорит Эдик, дворянский, мать честная, от-
прыск, только что выдернув нос из газеты.

– Ну, если нет воскресения, то радость только в
одном – есть и пить, – говорит пожилая женщина.

– Не только в этом... Хорошая работа, заработок и
красивый отдых, – говорит Эдик.

– Понятно.

– А почему воскреснем обязательно? – спрашивает
Ваза На Тумбочке. – Не перейдём в другое тело?
Это ж понятней и логичней...

– Или в камень, а то и в помёт... А потому что ум-
рём, – отвечает ей пожилая женщина. – И терпение,
это к тому нашему разговору, совсем не есть *пассив-
ная слабость* или *тупая покорность*, как думают иные
люди; напротив – оно есть напряжённая активность
духа, по Ильину. Был у нас такой философ. Дворя-
нин, кстати. Русский. Аристократ. Терпение есть по-
истине *лествица совершенства*... Сила наша в Право-
славии, и утрачивая его, мы становимся презренней-
шими из людей, ничтожнее всех ничтожностей
Европы, говорил упомянутый тут молодым челове-
ком Лев Тихомиров. Каждый, кого видишь православ-
ным, говорил он, мужик или купец, священник или
наш брат, *образованный*, – несокрушимый перед все-
ми *Европами*. Но как только теряет веру – непременно
оказывается ничтожнейшим, всемирным холуем.

– Ой, вы, – говорит Ваза На Тумбочке, – не наблю-
дали наших за границей. Быдло же быдлом. Мы с
Эдиком в таком случае всегда переходим на другую
сторону улицы. Так за них стыдно.

– Не наблюдала, не была там, – говорит пожилая женщина. – Стыдиться надо за себя, а за других нечего.

– А за себя-то что стыдиться?.. Мы там ведём себя корректно. И по-английски оба говорим.

Пересел я. С бабушкой потолковал задушевно: соседка – там, в её таёжной саянской деревне, – отдала ей петуха, принесла его домой Матрёна Тимофеевна, в курятник посадила; а он такой – *и носится, и кукарекает*; рассказала соседке, забрала та петуха обратно – такой петух-то и самой мне, дескать, нужен – яички к Светлому Воскресению пригодятся, мол. А я ей, Матрёне Тимофеевне, про комаров и про *демологов*; ну и ещё – нет, не кержак, мол, а – никонианец; молись больше, кайся, милый, Господь, быть может, и помилует – Матрёна Тимофеевна мне напоследок. Пообещал ей – буду, мол, молиться, а каяться, дескать, по этому поводу – вряд ли.

Пошёл я, отыскал, по её, Матрёны Тимофеевны, просьбе, в вагоне, в *чужом* его конце, Васеньку – её *ходили худо ходют*, так-то пошла бы, разыскала, и ухи бы засранцу надрала, мол, – а он устроился там среди девок ладно, смешит их своими рассказами про *баушку* Мотю, про дедушку Порфирия и про сибирскую деревню, – отнял, привёл его к Матрёне Тимофеевне. Ругает та его – *волком римским и никонианцем* – при мне прямо. Ладно, думаю.

Странность какая-то со временем: то вдруг отстаёт от меня оно, а то обгонит; ни там, ни там порой, гляну, его не замечаю; то вдруг в окошко постучит мне – на стук-то тут же обернусь. Ну, думаю.

Лёг спать. Лежу. Помню, что думаю:

Господи, если в Твоём Замысле – извести с лица земли Россию и заселить её китайцами или другим каким народом, *экономистами и физиками*, а я буду

этому отчаянно противиться, Ты не сочтёшь это за богоборчество?.. Насели их, Господи, в другом месте, а меня и Родину мою помилуй... И дядю Колю Нестерова вижу. Идёт он. Рука на фронте исковеркана – *окалеват*, мёрзнет то есть, так и не диво – утренняя ядрёный; изо рта у него, у дяди Коли, – *отпыхиватса*; засунул её, руку калеченную, под полу ватника – *отогреват*; корову, говорит, хожу-ищу; третью ночь домой не *заявляютса*; отелилась, и ночевать, поди, осталась в ельнике с приплодом; *храмат* дядя Коля – на фронте ногу ему *изуродовало*. Ну, думаю. И говорит мне:

– Молодой человек. Олег. Вставайте.

– О... О-оо! – говорю я.

Веки разорвал. Глаза открыл. Смотрю:

Дорогина.

Ну, думаю.

– Вас проводник уже будил... А туалет уже закрытый... Жалко.

Слетел я с полки. Как десантник. Сел на нижнюю. Сижу. С краюшку – примостился.

– Бельё-то сдайте.

Встал я, собрал бельё постельное в кучу, унёс его. Отдал проводнику.

Вернулся.

Вчера с солдатами – я про *маленько* – да и больной ещё, социофобией, и непричёсанный – чувствую себя газетой, Эдиком прочитанной и скомканной. И что тут сделаешь. Сижу. Вижу:

Матрёна Тимофеевна в зимнем пальто с лисьим воротником и в тёплой, оренбургской, шали. Вовсе теперь большая – как стог сена. На ногах войлочные сапоги. Вокруг неё – гора разных сумок и *чябодан* с *дерявенским харчем для голодающих питерцев*. Васень-

ка – в кроличьей дохе и в шапке. В руках у него – клюшка хоккейная. Сидеть ему мешает рюкзачок – дедушка, наверное, сшил – из толстого брезента. И резко веет нафталином.

Ну, думаю.

Муж и жена *по брачному контракту* – в коже.

Зубной пастой шибко пахнет, жевательными резинками.

– Там же тепло, – говорит жена Эдика. – Жарко будет.

– Жар костей не ломит, – говорит тётя Мотя. – Лучше жарко, чем холодно.

Вижу, что гарнизон пустой, осмелился – и спрашиваю:

– А где ребята?

– Сразу после Москвы сошли, – говорит пожилая женщина, похожая на Доронину. Улыбается. – Ещё ночью. Вам вот оставили.

Смотрю: бутылка пластиковая на столе, два литра – пиво. Нет, думаю.

Мурена встал, вижу. Стоит в проходе. И кто же отодрал его от места? Солдаты, думаю, когда выходили. И гвозди где остались – в скамейке или?.. Совсем оброс – стоит – как ёлка. И улыбается – хороший.

– «Навалочная», – говорит пожилая женщина.

– А нам ещё, – говорит туго и хрустко обтянутая кожей *Ваза*, – ждать *Петербург – Варшаву*... Должны встречать – перевезут... Эдик, ты всё проверил?

Кивнул Эдик носом – стряхнул с него клочок газеты.

Остановился поезд.

Все засуетились.

– Спасибо, – говорит пожилая женщина. – А то бы мне наверх тут не полазить.

- Не за что, – говорю.
- Всего хорошего. Ангела-хранителя.
- И вам – с Богом.

Место освободилось. Достал я из-под лавки рюкзак. Пошёл было. За мной – никого. Вернулся. Засунул бутылку пива в рюкзак. Пошёл. Ну, думаю.

Вышел из вагона – в знакомую и приятную для меня петербургскую морось. Радостно. Но как-то.

Иду по перрону, думаю: про дверь, с одной стороны которой Ялань, а с другой – Санкт-Петербург. Переживаю – невозможно.

Вдруг вспоминаю почему-то случай с Алексеем Степановичем Хомяковым, десятилетним мальчиком, впервые приехавшим в Петербург со своим братом. Тогда Петербург показался им языческим городом, в котором от них потребуют переменить веру. И поклялись они друг другу лучше претерпеть мучения, чем изменить Православию. К чему и вспомнил?

Начнём с самого раннего утра, когда весь Петербург пахнет горячими, только что выпеченными хлебами и наполнен старухами в изодранных платьях и салопях, совершающими свои наезды на церкви и на сострадательных прохожих...

Ну, всё не так, конечно, всё иначе, однако:

Время настигло – взяло меня под руку; иду рядом с ним – покорный, как прирученный.

* * *

И забыл, совсем забыл сказать:

По каким-то – для меня одних, а для него других – минутам, подходил ко мне отец, большой, громоздкий, трогал меня своими толстыми, как гильзы от крупнокалиберного пулемёта, пальцами за плечо,

гладил ли ими меня по затылку – я отстранялся – и просил: спой, мол, сыграй мне песню эту – про геолога. Так не хотелось мне, но делать было нечего, и пел я:

– *Я уехала в знойные степи, ты ушёл на разведку в тайгу... Мы геологи оба с тобой.*

Видел отца при этом я – нехотя, искоса, не понимая: он умилялся.

«Отец!» – произнеслось в сырой приневский воздух.

* * *

Утро туманное, утро сырое.

И сам – почти как *шансонье*. Только – романтик. Пристало к языку; скоро, не скоро ли отвяжется.

Шагаю.

Милиционеры – смотрят на меня – мало ли; ходят парами – будто дружат, а глазами – во все стороны; в чёрных куртках.

Утро туманное, утро сырое.

Метро ещё не открыто. Знаю. Да и не хочется в него спускаться – после Ялани-то да при таком заболевании тяжёлом и неизлечимом – социофобии. И – обещал. И так желанно мне, ох как желанно. Жизнелюбив – иду, пока – как Каин.

Вышел на Невский. Низкие тучи – над ним, над проспектом – наискосок к нему переползают. Да и – над городом – скребут, вылизывают – любят. Чухония. У нас в Сибири – там так в августе, после *Ильи*. Солнце – взошло, наверное, – но где оно? – в Сибири.

Дышу – нравится; лёгкие – наполнились – вдыхают.

Ялань – дверь – Петербург. Не забываю. Толку-то. В Ялани точно уже солнце. Висит низко над Камнем. Если небо не в мороке.

Машины – много их – пугаюсь: одичал; ещё – народу-то – толпы.

Иду, иду, иду – Невский.

Рюкзак за спиной – чувствую.

Повернул на Литейный. Прошёл.

Нева. Пересёк её по мосту. Река. Без волн. Ровная.

Под опорами – только. Позаглядывал.

Есть, думаю, там, в рюкзаке, но – не буду. Ни грамма – про алкоголь.

Вспомнил:

Одноклассница моя, Таня Фоминых – живёт в Ялани, замуж не вышла, *бобылиха*, – ухаживала за дядей Колей Нестеровым. Не по родству – по доброте, участливая. Он умирал. Недолго. Тихо умер – уснул. Был у него сын. Есть. Сорок с лишним лет назад осудили его – за драку в клубе: два зуба выбил лектору из Елисейска – толковал тот про присутствие в космосе спутника и отсутствие там Бога – от несогласия. Зуба – два. А срок – восемь. *Злостное*. Отсидел где-то, в Ялань не вернулся. Мать его, жена дяди Коли, умерла. Не зажилося ей что-то – рано. *Тётя* Катя. Помню – *смирная*. Сам дядя Коля – жить остался – незаметно тоскуя. И от сына – ни ответа, ни привета. Всё время в глаза почтальонши заглядывал – украдкой – напрасно, только – пенсия. Ну а зачем она – дышать и без неё, мол, можно – воздух-то, а деньги? – горе... А потом – зашла Таня к нам, рассказывает – лежит он, дядя Коля, на деревянном диване день, лежит два – и не живёт – не хочет, и не умирает – не может: смотрит – глазами, а тайком, может – и сердцем. В потолок. В матицу. Видит. Приношу, говорит Таня, ему бульон куриный в кастрюльке, тряпкой обернула, чтобы не остыл, и письмо. Письмо, говорю. От Степана. Вот, говорю. Прочитать? Нет, кивает-отвечает, не надо. Туда глазами опять – в

матицу, нам это – в матицу, ему – кто знает? Бульон оставила. После зашла – поел – хороший признак. Письмо рядом. Не распечатанное. Долго лежало. Умер. По письму-то он, Степан, по адресу, – в Анадыре. После уж его, письмо, открыли: дескать, соскучился – и по родителям, и по Ялани. И – *извините* – просит, дескать, слёзно. Извинили – наверное.

Иду, *мушку* выглядываю сбоку – не колет. Но вижу: мама – в окно с веранды смотрит – на солнце-то – вроде не морочно.

Дошёл до «Лесной». Подступил к общежитию. В окне свет. Сел во дворе на пень спиленного когда-то кем-то тополя. Сiju.

Насиделся. Пошёл в общежитие. Пора, думаю, сам себя пересидел, и чай она уже попила, наверное, на работу идти собирается. Можно и тут дожждаться, но – не терпится: застать-то тёпленькой – родная.

– Вы к кому? – спрашивает вахтёрша.

Поджилки у меня затряслись, подлее подлого, хоть и готовился, – чуть не консьержка же – испугался.

– В триста шестнадцатую, – говорю.

– К кому?

– К Арине.

– Она уехала. Её тут нет.

– Куда?

– Не знаю. Замуж вышла, – в журнал уткнулась – в вахтенный, смены дежурств ли – думаю об этом.

Стою. На улице уже. Улица. Пень, на котором только что сидел, вижу. Деревья – пока не спиленные – в них ещё лето. Но вот к чему он, пень-то, тут – не помню, в нём уже лета нет, в нём – просто время – может, поэтому. И как-то, в воздухе-то, сыро-сыро. Машина подъехала к подъезду. Остановилась. Ну а о ней-то – уж и вовсе – перед сознанием – как промелькнула.

Пошёл. Иду. Ноги свои – понимаю. Про *солдатскую* бутылку пива в рюкзаке вспомнил – думаю. Не буду – решил – твёрдо.

На метро, думаю, или – пешком? Пешком – лучше: не умрёшь – на ходу не умирают – падают. Сесть, может?

Вороны – в тополе – давно проснулись.

Иду. Вспомнил: *может, сниму с подружкой камнату* – конечно!

Купил в метро карточку. Звоню.

Мужской голос:

– Только что ушла.

Иду. Снял рюкзак. Мост переходил пока – выпил.

Пиво – как вода – толку-то.

Пошёл. Зашёл. Сто граммов коньяку заказал. Мало. Двести. Ну – вроде. И душа так – трепещет – как от радости. Хотя – больно. Ну так ещё тогда – *двести*. Теперь – конечно. И тротуар уже – помогает, способствует – пружинит мягко под ногами.

Иду. Думаю: Молчуня – увидеть её должен – то... как-то... это... язык не произносит... но ведь не правильно... когда увижу уж, тогда...

Опять Невский.

А дамы! О, дамам ещё больше...

Опять – Гоголь, Достоевский. Ну, думаю, но – уже как-то. Но тут-то – Пушкин.

Прошёл под арку. Милиционер – смотрит, искоса – как на что-то.

Позвонил по местному.

Вышла. Та же. Чувствую: вернулся мой затылок, попытался встаться – не получилось – упал на пол. Ну, чувствую.

– Ты уже замужем? – спрашиваю. Едва-едва с языком справился.

Бровями – ?! – вопросом на вопрос.

– Вахтёрша так сказала.

– У-у?

– А голос в телефоне?

– Мужчина?

– У.

– Снимает... комнату... рядом... смежную. Какой-то родственник хозяйки.

– Тебе никто он?

– Нет.

Стою. Молчу. Помню, что коньяку выпил. Но как-то... А-а – клопами – сказать об этом, промолчать ли? Ей не будет это интересно.

Окно напротив – озолотилось: солнце прорвалось из-за туч; угасло, там, в Ялани, оно уже пятый час как светит, в упор уже на Камень смотрит... если не морочно, конечно.

– Родишь мне дочь? – спрашиваю.

Зрочками – долго медлила, но: да – ответила.

– Назовём её Анастасией.

Зрочки расширились. Веснушки потемнели.

– Вечером встретимся. Пойду.

– Нет, завтра утром.

– Нет, без тебя мне не дожить до завтра.

* * *

Пройти к дому можно теперь только через подворотню – вокруг строительство – грохочет.

Олег вошёл во двор.

Из открытой машины:

«...ске в подъезде своего дома был тремя выстрелами в упор из пистолета застрелен предприниматель...»

Прогромыхал по улице трамвай – заглушил радио.

«...у убитого осталась вдова и две малолетних дочери... А теперь Михаил Шафутинский и после группа из Нигерии...»

Захлопнул водитель дверцу. Поскрипел стартером – не завелась.

Подошёл Олег к машине, помаячил. Опустил водитель стекло.

– В каком городе? – спросил Олег. – Где?

– Что где? – переспросил водитель, раздражённый.

– Убили бизнесмена... Сказали только что по радио.

– А я не слушаю!.. Да мало ли их убивают, – сказал водитель; поднял стекло; заскрипел стартер. Завелась машина. Поехала. Отозвался двор ей эхом. Пятна мазутные остались на асфальте.

Сосед по лестничной площадке. *Памоешник*. Насобирали спозаранок картон для сдачи – сидит верхом на собранной им куче; курит блаженно.

– Здорово, – говорит.

– Здравствуй, – отвечает Олег.

– Давно не видел.

– Да, давненько.

– У нас тут... видишь.

– Да уж... вижу.

– Строительный бум, – говорит *Памоешник*.

– Бум, – говорит Олег.

Глухой стал двор, был – проходной, со сквозняками.

Вошёл Олег в подъезд. Затхло. Сыростью тянет из подвала.

Заглянул в почтовый ящик – пусто.

Поднялся на третий этаж.

Подступил, вынимая из кармана куртки ключи, к двери своей квартиры. Видит: под провод звонка всу-

ОДИНОЧЕСТВО

*(пьеса в трёх актах, почти без действий;
события вялотекущие и маловажные)*

Нам не дано избавиться от одиночества.

И. А. Ильин.

Книга раздумий, Одиночество

Пока человек живёт на земле, он остаётся
одиноким; и ему не предоставлена свобода
вырваться из этого одиночества или устраи-
вить его совсем.

И. А. Ильин.

Книга тихих созерцаний, Об искренности

День, ближе к вечеру, погожий

Спас. Третий. Хлебный.

В числе. Не сдвинулось, не сбилось.

В среде течения событий. Одно другому соответ-
ствует.

Земля стоит – устав не сломан.

Ельник, деревня, небо – всё на месте.

Тоже и солнце – никуда не подевалось. Хотя и случа-
лось, что подолгу нынче не показывалось, по неделям.

И мы здесь же, и не вверхтормашки.

Ласточки вот – эти улетели. Далеко уже где-то – не
здесь; стремительные – не уследишь. Вчера ещё были,
сегодня уже нет. Разом. Без них пространство онемело.
Опустело. Как улей, пчёлами покинутый, или их
вытряхнули из него когда-то – равно. Теперь, в отры-

ве-то, пронзительно по родине тоскуют. Коснись любого. Знаем и мы, как горько с нею расставаться. Одно их лишь, летят сейчас, и утешает – то, что вернутся. Из года в год так. Неизменно. Здесь они вывелись, им тут раздольно. Гнёзда остались – будут ждать владельцев. Никто другой их не захватит. Они, пустые-то, и кошкам безразличны; только когда с птенцами – соблазнительны, да – хорошо, что – недоступны: око и видит, зуб неймёт. Одна из них, косматая, дымчатая, поджав под себя лапы, сидит в эту минуту на коньке старой, заброшенной избы, шурится – размечталась. Ястреб вокруг неё сорок гоняет. Те, белобокие, расстрекотались.

Вот-вот, гляди, появятся синички. Срок им. Тихие. Как первые снежинки. Возникнут. Чуть туже на ухо кто, не услышит. Хоть и певчие. Как будто звон в ушах от них – глухому-то. Между собой по (или на) Морзе *разговаривают*. Не такие общительные, как касатки. На проводах шумно стаями не виснут, со щебетом в небо дружно не взывают. К земле жмутся, в промысле; даже и в играх. После, спохватишься, исчезнут так же – не заметишь. Может, и в ельнике уже, на подступах; пока таятся; заночевать решили там – возможно. Не наша печаль. Любая ель их, невеличек, приютит. Кедр или пихта им пристанище. Господь уладил.

Ветер за ласточками увязался – лист шевелится только на осинах, *дрожит, Иуду вспоминая*. Проводит только, скоро и вернётся. Да не один, наверное, а с тучами – на юге морок уплотняется.

Ученики уже – хочешь, не хочешь, но – одной ногой в школе. Не все. Кто-то ещё обеими увяз в каникулах; эти два-три занятия ещё и прогуляют: воля, рыбалка им дороже школы – после придумают, как

оправдаться, – навыкли в этом. Мы им не судьи. Без укора. Кое-кто и – имя пропущено или затёрто – из возмужавших был таким же в свою пору – *непутёвым*, не образцом для подражания. Но ни сам себе, никто другой ему нынче за это не пеняет. Забылось. Кануло ли в вечность.

Церковь. Так до сих пор ещё и называется: там, возле церкви, мол, в самой ли, загляни. Ориентир теперь. Топографический. Корову кто-то потерял, так где искать её, ему подскажут. Как на Голгофе – на пригорке. Со всех въездов в Ялань – будто на ладони. Но только стены – это нынче. С глухими – тоже нынче – и слепыми окнами; в прошлом – со знатными оконницами. Кладка прочная: не на два-три года ставилась, не абы как, лишь бы приткнуть, а, *Божия-то Богови*, на веки вечные – не поддавалась напору богоборцев. И ни следа и ни помину, активные и неуёмные, как опарыши, хотели не оставить: *весь мир насилья мы разрушим до основанья, а затем...* Мир-то какой предполагался, ясно. Церковь им не мать, Бог – не отец. Другим кем-то засеянные ночью. *Асебия*. Без двух лет семьдесят уже как обезглавлена – ни колокольни нет, ни купола; высятся, может быть, ещё в чьей-то памяти, и в той уж зыбко; ну, во вселенской только – там неколебимо. Не переносят в ней, в церквице яланской, вот и сегодня, а должно бы, Нерукотворный Образ. Незримо разве. Для прихожан, безвозвратно отбывших в разное время из деревни на глиняные заимки, живых у Бога. Мы тут мертвее, чем они. Мы – их, поморов, в основном, да казаков, потомки – выветрились.

Среди усопших нет неверующих.

Это не здесь.

А тут:

Христианство – в прошлом.

Бог будто и не приходил на землю, не умалялся ради нас.

Так порой кажется, вплоть до уныния. *Аседия*. Будто одно только созвучие. Но так всё рядом.

Уж не пора ли ждать и жателей?

Таинства по телевизору. Или – теперь уже и – Интернету. И антихрист для нас распнётся и воскреснет там, в Сети всемирной, сладострастно. Вывалится оттуда в реальность, дух лстивый. И мы, *любве истинны не прияша* и отступив, подчинимся ему, *показующему себе, яко бог есть*. Примем его, другого, пришедшего в свое имя, не боящегося Бога, не стыдящегося людей, и он *успеет хорошо*.

Но не открылась ещё тайна беззакония. Во всяком случае – для нас.

Предупреждены были, но вооружились ли? От Зверя.

Речь о Ялани, о яланцах и о нас с ними. Других тут и отсюда мы, из-за ельника, не видим. Только по телевизору. Но те для нас – как с того света: о них никак или только хорошо. Поэтому – никак. Они сами по себе. И мы так же.

Не любо, не слушай, но лгать не мешай. Как раз о нём, о телевидении. Ну, с исключением, конечно. Везде люди. А люди не бывают только плохие. И только – плохими.

Лужи. Где только могут накопиться, там и есть. В каждой колдобине, низинке – сверкают небом отражённым. Ветер отсутствует – изображения не мнёт. Оригинал от копии не отличишь. Ну, только в рамках копии и чуть, быть может, ярче. Земля яланская от луж – оконистая.

Лужи в Ялани называют лывами.

Лили дожди. Слово не то: не лили – заливали. *Про-
рвало будто*. Почти всё лето. *Гнилое* выдалось. На ред-
кость. Никто такого не припомнит. Любого старика
спроси, и тот ответит: нет-де, не помню... такой патоты
не бывало, мол. Когда-то разве – при царе Горохе. Всё
крутом, что не под крышей, волгло, раскисло и раз-
бухло. Грязь не черствеет – свежая всегда, кому-то,
может, и на радость. Земля, идёшь, хлюпает, словно
взасос целуется с подошвами. Захлёбывается. Картош-
ка портится в ней, разлагаясь. Народ переживает: как
без неё-то – *основной продукт*. Еще ж и напасть – *фета с
фторой*. И лук дрябнет. Горе. Сорняку – тому ладно,
того – *как чёртам насадило*. Вода в Кемпи большая. *Слов-
но спятила, свихнулась*. До уровня летнего, обычного,
ни разу за всё это время не падала. Весной взбаламути-
лась, до сей поры никак не отстоится. То как слеза к
этой поре – гальку на дне можно пересчитать. Черви
наверх вылазят – подышать. Беда им, почвообразова-
телям неутомимым, – работа стопорится. Рыбакам –
кстати: с лопатой бегать и копать не надо, ходи нето-
ропно, как на прогулке, да собирай их, очумевших, в
банку. Кто-то и ходит, собирает. Триста рублей за ки-
лограмм – так нынче хариуса продают. Таймень – и
цену называть не хочется. Но это в городе. В Ялани и
за сто никто не купит – *не за што*: деньги в Ялани быть
не любят, хоть тут и тихо. Дня три-четыре погостят,
пенсионные или случайно перепавшие, и полетели. Мо-
жет, на родину – в Москву. Маши им ручкой.

Глобальное потепление – вину сваливаем на него.
Ещё – на «гэсы». Есть о чём при встрече или за сто-
лом потолковать: куда, мол, катимся, к чему? Толку-
ем. Чуть не до драки, кто горячий.

Два дня сухими выдались – ни капли с неба. С ред-
кими, одинокими облаками к вечеру на горизонте.

Пока на западе и юге. Север молчит, будто отсутствует. Вот-вот заявит о себе. Восток всегда – словно не наш. Может, и установится – кто-то надеется, гадая на погоду. И об этом много разговоров. А о синоптиках – особенно. Язык натёрли. Им не икается ли, предсказателям, за микрофоном-то? Уж достаётся.

Но нет ведь худа без добра: зато без пыли – не стоит столбом после проехавших машины или мотоцикла.

Солнце скоро станет *закататься*. В ельник. Краснеет – напрягается, готовясь – островерхий. Ялань пройти ему – задача: не наколоться бы, не лопнуть. Заныривает лучами в пустой, тёмный, без врат, проём бывшего храма во славу Сретенья Господня – мерзости запустения не знает – на всё светит. Его бы воля, многое испепелило бы. А на иное бы и не взглянуло. Как и дождю, ему повелено, однако.

Где небольшим гуртом, но больше порознь, под присмотром милостивого до крестьян и не брезгующего замарать своих риз Николы Угодника, по пожелтевшим уже склонам бродит разномастный скот – малочисленный, не ранешние времена, – дощипывает оставшуюся, им же не вытоптанную и не съеденную, сыгную траву. Зима скоро, долгая, лютая, упитываться надо, утепляться. От веку так. Задано. И то отрадно: нет нарушения хоть в этом. Скотом-то, может быть, и оправдаемся – нас ещё терпит, не восстал.

Медведей нынче полно. Чрезмерно. Со всех сторон света сдвигаются сюда, косолапые. Как будто мёдом им намазано тут. В тайге бескормица. Орех не уродился. Ягод мало. Леса выпиливают беспощадно, будто не у себя на родине, а во владениях врага наизлейшего пилами и топорами орудуют, чтобы тому лесинки целой не осталось; метеорит *Тунгусский* меньше натворил, чем лесорубы. Поля не засевают, отступи-

лись – на хлеб, от пенсии, хватает, и продают пока тот в магазине. К человеческому жилью зверь жмётся. Скотину драть станет – и ему жиру в зимовку подкормить необходимо, а то не выживет. Залез тут в огород к Винокурову, все кабачки, пестун, стрескал. Убрёл, капусту обдристав, – и ту испортил. Людей пока ещё не трогают, только пугают, но своим братом, больным или слабым, не гнушаются. Большинство в берлоги не устроится, шататься будут. Редкий из них дотянет до весны, до черемши, до первой травки. Выбьют их охотники. Частью, оголодав в конец, и сами околеют. Такова она, правда жизни. Человеку – тому пока сносно, да и таков он: ко всему привыкает, приспособливается – великий запас прочности в себе имеет; чалдон – особенно живучий.

И вот ещё, что следует отметить:

Никто из коренных яланцев, старожилов, не скажет: *хариус*. А скажет: *харюз*. И нам, конечно, так привычней. И мы – чалдоны.

Неходко спускается кто-то с Балахнинской горы, шагом редким, нешироким. Сошёл с дороги, чтобы не оскользнуться, не упасть – так это можно рассудить – на не просохшей ещё глине. И по обочине, заметно, не торопится – так осторожен. В вылинявшем брезентовом плаще гражданского покроя, скрывающем колени. В старой ондатровой шапке. Понурый. С ружьём и с вещмешком – пустым, похоже, – за плечами. Белозёров Григорий Павлович. Старик. Левая рука у него бездвижна – висит. От чрева матери. Таким родился. Одной управляется, как кто иной двумя не сможет. Живёт давно и тщательно из-за ущерба – приловчился. Чаше его поэтому и называют: Сухорукий. Но не в лицо, а за глаза. Скажи в упор, он не обидится – смирный; к тому же – правда. Прозви-

ще с детства приросло к нему, так до сих пор и не отпало. Кто это, мол? Да Гриша Сухорукий. Что Белозёров, мало кто и помнит.

Знают в Ялани все друг друга. И его, Григория Павловича, – как облупленного. Всякий издалика определит его – так примелькался.

Выгоняет из огорода забредшую туда, сломав заборы, гнедую кобылу лесника Нестерова Владимира Николаевича. Женщина выгоняет. Расторопная. Рослая, длинноногая, и сама, как кобылица. Одна другой стоит. Ругает незло животное, пугая её почему-то Флором и Лавром, в Ялани нет уже людей с такими именами; и леснику перепадает – за то, что выпустил: гуляй, дескать, где хочешь, – вот и гуляет. Кобылу зовут – Ёра. Женщина – Досифеева Катерина. Социальный работник. Под её опекой все преклонные летами и немощные яланцы. Всех-то – раз, два – и обчёлся, так что работой сильно Катерина не загружена. Дров наколет, воды принесёт, в магазин за продуктами сходит да зимой снег от двери и от ворот отребёт, дорожку к ним прочистит. Молодая, крепкая, ей-то не в тягость, в удовольствие – разминка. Лет двадцати пяти, наверное, не старше. Волосы у неё пышные, золотисто-пшеничного цвета. Солнце закатное себя ещё добавило к окрасу – чуть не искрятся. Бежит – растрепались. Заправляет под платок их. Платок штгельный, зелёный. По-спецназовски повязан. У тех – по-бабьи ли, не разобраться. Как от волос платок не загорелся бы – такая видится опасность.

Вышла кобыла из огорода – как из своего собственного – гордой поступью, невозмутимо. Направилась куда-то – *в деревню*. По её виду – не обиделась. Мордой задумчиво качает – ею земли едва не достаёт – дорога в горку. Ворона на столбе, верее бывшей, по-

косившемся, сидит, чуть ли не полчаса уже как подвизалась; каркнула звучно на кобылу. Не обращает внимания на столпницу, не повела даже и ухом – пренебрегает. Ну и ворона от кобылы отвернулась: мол, очень надо; кто-то пойдёт ещё, того, дескать, привечу. Клюв стала чистить вдруг, о столб размашисто им шоркая, – иного нет занятия, так это. По виду – тоже что-то думает – как будто мыслит; глупой называть её – язык не повернётся.

Подъехала к дому, стоящему на самом краю поросшего муравой угора, красная, как ягода калины в палисаднике, что возле дома, «Нива». Остановилась. Машине лет под тридцать, первого ещё выпуска, но смотрится как новая. В добрых руках была, работала ли мало. Ещё резина бы не лысая, то – как колено. Заменить – денег у хозяина, похоже, не хватает – не стал бы с такими покрывками ездить на *внедорожнике*, по тракту только, в лес на таких не сунешься, конечно. Заглушив двигатель, вышел из машины водитель, дверцей негромко хлопнул. В костюме, с галстуком. В руках портфель кожаный, коричневый, набитый чем-то – книгами, пожалуй. Иван Сергеевич Полуалтынных. Учитель. Физику преподаёт. В Ялани нет школы – давно уже кончилась, когда Ялань *неперспективной* объявили, чуть ли не сразу. Катается Иван Сергеевич в Полоусно, что в двенадцати километрах отсюда, в сторону Елисейска. Туда-обратно. Обудёнкой. А когда-то и в Ялани была школа, и учеников в ней набиралось чуть не до тысячи. В Полоусно тогда же – до двухсот. Теперь – сорок. Первого класса вовсе нет – чудно – как без него-то?! А в десятом классе – два ученика. Такое дело. Демография. Господь управляет, сами ли себя до этого доводим? Сами доводим, а Господь, всего скорее, попускает.

В суть нам не вникнуть – глубоко – не погрузиться, легковесным; ветру лишь по земле нас перекачивать.

Пользуясь хорошей погодой – не мочит сверху-то, что важно, и ураганом с ног не сносит, – выколачивает около дома, перед самым косогором, палкой пыль из *персидского* ковра, накинутого на приспособленную специально для этого, для просушки ли сетей и бредня, жердь, жена Ивана Сергеевича. Спала, разбуженная, пыль, в разные стороны вылетает из ковра – как с перепугу-то. В резиновых сапогах, с завёрнутыми и смятыми чуть не до щиколоток голенищами. Икры толстые – их, голенища, выше не пускают. Сапоги – чёрные, заплаты на них – светло-зелёные; словно с глазами – сапоги-то, ещё им рот нарисовать. С речки, наверное, не так давно вернулась – бельё в ограде на верёвке тихо быгает; ветра-то нет – не хлопает, висит бездвижно. Пришла с речки и не переобулась – можно подумать. В спортивной куртке поверх платья, не застёгнутой – молния сломана; и не сошлась бы на груди, что очевидно. Платье синее, в горошек мелкий, белый. Волосы русые, завязанные в узел на затылке; узел большой, наверное – тяжёлый. Рот широко открыт – как будто нос совсем не дышит. На верхней губе капли пота. Словно обозлилась на ковёр за что-то женщина – яростно бьёт, из-за плеча, наотмашь; ну, заслужил тот, значит, не иначе. Нина Денисовна Полуалтынных. А в обиходе просто Нина, кому и – Нинка. Бывшая его, Ивана Сергеевича, одноклассница. С первых дней замужества домохозяйка. Лет ей сорок. Полная. Как говорят в Ялани: в теле. Сейчас, трудясь, колышется им, телом.

Взглядами супруги обменялись. Коротко. Как выстрелами – будто и прозвучали. Но не достигли пули цели, на полпути встретились и одна об другую рас-

плющились, и плюха в воздухе повисла. Так представляется, с досужим-то воображением.

Стоит в избе своей возле окна старуха. Глядит в улицу. Как будто. И как будто же – внимательно. Видит что, не видит ли? – ветхая, от зрения отвыкла. Как и от родственников – были когда-то те, теперь уж не осталось; всех их пережила, хоть и их век не задела. Не помнит точно, кто куда и задевался. По привычке в окно пялится, как в давным-давно минувшее. Много чего в том наслоилось. В нём, что увидеть, выбирает, в прошлом, само ли то себя навязывает; до улицы – бесстрашна – та для неё в другом как будто измерении – избы своей давно уже не покидала. Просто привычней у окна: к нему натоптано – за век-то. Окно не в улицу, а в прошлое – так получается. Что избе, то и старухе – лет одинаково – немало. Изба елового бревна. Желобник крыши – пихтовый, покрылся мхом, порос травой, но и такой, скорей всего, не протекает – привык упорствовать против дождя и снега. Наличник у окна резной, в затях, неокрашен. И на остальных окнах такие же. Одного мастера рук творение – похоже, и росли руки эти из положенного места – явно. Старуха – Бродникова Прасковья Егоровна. Родом из Полоусно. В Ялань когда-то замуж выходила. Давно дело было – уже как никогда. Слово *знат*, говорят про неё в деревне. Испортить может, может и исправить – кто что попросит, по заказу. Но не теперь – когда-то – одряхла. И то, что знала, *слово*-то, забыла. Произнести ли ей его никак – язык и губы очерствели. Сглаз наводила, дескать, и снимала. Оговорили, может быть, старуху. Руки у неё за спиной – срослись пальцами. Как теперь будет разрывать их? Стоит – прямая, как жердь, не сутулится. Носом клюёт свой подбородок – весь источила, как

желна – дерево-сушину. А нос от этого – тот только заострился.

Сидит на лавочке под берёзой с жёлто-зелёной ещё листвой, пока ничуть не поредевшей. Закинул ногу на ногу. В блестящих на солнце галошах. Без носок. В штанах защитных, камуфляжных. В голубом берете десантника, сдвинутом на коротко стриженный белобрысый затылок. На лбу чёлка – как клоч соломы. В одной руке папиросу держит, погасшую, другой – щенка бережно за ухо треплет. Кто-то. Досифеев Стёпа, а не *кто-то*. По отчеству Петрович. Серый пиджак на нём, двубортный. Пеньжак, по-ялански. По шву на спине распоролся – от ворота до поясницы. Видна атласная подкладка. Муж Катерины и её ровесник. В Чечне воевал. Во второй приём. А по истории – так уж в который. Потом долго лежал в госпитале. В Краснодаре. В Ялань вернулся. Сначала был как не Степан, а тень его – *таким явился доходяшым, еле-еле душа в теле*. Ожил, поправился. Мать его оживила, откормила – *ни молока, ни сливок на яво не жалела*. Всё же до прежнего себя не дотянул – остался *сухошшавым*. Женился на Катерине, с которой они *дружили* с девятого класса. *Не ждала* она его, по разговорам. «Контуженый» – его называют. Не сердится он на это, будто не слышит. Да и те, кто называют, – не со злобой произносят, а с сочувствием – безвредный он, Стёпа, мужик. Кричит, говорят, по ночам, во сне в клубок сворачивается – как от обиды или боли. И сегодня, видно, выпил, *нашёл где-то* – со щенком-то бы не забавлялся, что-то бы делал по хозяйству – *работяшый*. А то расслабился, отвлёкся. С ним, со щенком, сейчас и, по-ялански, *разговариват*. Тот рядом с ним сидит, на лавочке. Толстенький, как бочонок, неуклюжий; щенок не суки будто, а – тюленя.

Упал с лавки. Скулит. Поднял его Степан. Что-то сказал ему. Наверное: «Не падай». Коробок спичек вынул из кармана – прикуривать, поди, собрался.

Пятистенок в Линьковском краю. В левом, от площади, ряду, в центре. Добротный. До большевиков строился – для жизни, не для пребывания, жизни своей и дальше – внуков. *Листвяжный*. Ни на один бок не покосился, хоть и с какой только стороны – здесь чаще с северной и западной – и сколько ветров не дуло на него и снежных вьюг не напирало – устоял, не подчинился. Такой – при добром-то присмотре – чуть не вечный. Хватит на пять, а то и на шесть человеческих поколений – точно. Под крутой четырёхскатной кровлей, сверху по тёсу крытой шифером; уже и шифер остарел – с чернью и прозеленью, как от пороха. Обстрелов тут вроде и не было. Поместье завидное – на ровном месте, с колодцем-журавлём в огороде; *журавль* – бревно, когда-то – дерево, и *голова* его – обрубленный когда-то корень; вытянув *шею*, на кладбище смотрит – то на горе, чуть не на самой её маковке. Из трубы подсобки, что во дворе, дымок игриво вьётся, на фоне неба пропадает. В доме новопреставленный. Печь в нём, в доме, пока не топят, и окна приоткрыты в нём – чтобы покойнику не разомлеть перед дорогой – к селеньям праведным, надемся мы.

Собака воет где-то – *на покойника* – оповещает, запоздав.

Завёлся трактор где-то и заглох.

Далеко в лесу лиса звягает.

Сороки всё ещё трещат – так возбудились, растревожились.

Вороны неорганизованно, редко где парами, чаще поодиночке, в ельник потянулись – на ночёвку; спят

они чутко – мышь, в траве пискнув, может разбудить их, – когтями лап вцепившись в сучья; во сне не падают на землю – приноровились; внизу не спят – в вершинах ёлок.

Заря – опять на непогоду.

Полосуя небо пополам, с востока на запад, как будто рая – и рана будто кровоточит, – пролетает над Яланью турбореактивный самолёт. Звук отстаёт – не поспевает, и не следит за ним никто – так, может, где-нибудь и потеряться.

Самолёт, заполненный, как семенами спелый огурец, людьми, сам по себе, Ялань, со своими уже малочисленными жителями, сама по себе – так это выглядит. Со стороны, по крайней мере.

Самолёт силится натужно, сопротивляясь путающей его с птицей и манящей к себе утнездиться земле. Ялань разнежилась в лучах закатных – лететь не надо никуда ей – млеет.

Если их и роднит что, только – небо.

I ВЕЧЕР

1

ИВАН ПОЛУАЛТЫННЫХ

Уже не в костюме, а в голубой клетчатой рубаше и спортивных, *адидасовских*, штанах, обыденно, сидит Иван Сергеевич, поджав под стул ноги в домашних войлочных тапочках, за письменным столом, с аккуратно прибранными на нём книгами, тетрадями и журналами, перед компьютером – сосредоточен.

Стоит на столе ещё и глазурированная небольшая крышка, старинного яланского промысла, с торчащим из неё пучком увядших полевых ромашек. Нет на столе опавших лепестков. Стол полированный – бликует.

В комнате мягкий полумрак.

Часы настенные показывают ранний вечер. Пробили только что: семь-тридцать.

Внял их гулко-нутряному предупреждению Иван Сергеевич, несмотря на занятость, взглянул мельком на циферблат и убедился с беспокойством: ещё всего лишь *половина*. Достал тут же из канцелярского стакана простой карандаш, остро заточенный, раскрыл блокнот карманного формата с названием «Для заметок» и помечтал в нём не на шутку, пофилософствовал ли:

«Как часовые стрелки пальцем, умом бы можно было время двигать – вперёд на час бы перевёл... а после бы остановил. Но время – тварь неукротимая».

– Отстают, правда, – произнёс вслух. – На три минуты-то, кого там.

Над домом и далеко вокруг него тишина, какая слух обычно режет, разразилась. Внутри – шум только от часов да от процессора – будто и нет его – привычный. Свет – от дисплея и луны – взошла уже, и не зашторено окно – сквозит сквозь стёкла одинарной рамы. Пола ещё не касается, низкая, но на стене изобразила переплёт оконный, куда попал и куст калиновый, частично – не заслоняет перекрестие.

Отложив блокнот и карандаш, не далеко на всякий случай, прихлебнув из толстой, *обливной*, яланского старинного же производства, глиняной кружки разбавленного молоком кипрейного, остывшего уже, похоже, чаю, поставив кружку на подставку под горячее – школьный, *доперестроечный* ещё, учебник физики за седьмой класс, двумя пальцами, подолгу выписывая глазами на клавиатуре нужные буквы и внимательно сверяя их после с возникающими на экране, набивает Иван Сергеевич текст:

«Открытое письмо Президенту РФ.

Господин Президент, я, сельский учитель, не могу пригласить Вас на крейсер «Пётр Великий», а также полетать на стратегическом ракетоносце ТУ-160. На образцово-показательное предприятие, на какой-нибудь передовой завод или в институт, с разрабатываемыми на нём нанотехнологиями. Так как, хоть и испытываю в связи с этим гордость за державу, как гражданин, да не имею к этому прямого отношения. Зато готов принять, и с радостью бы это сделал, у себя дома, угостить тем, что найдётся, и провести после Вас на одну из лесосек, что около Ялани. И на это антигосударственное, как мне, сибиряку, потомку осваивавших когда-то это суровое пространство государевых людей, поморов, пашенных крестьян, и казаков-первопроходцев, представляется отсюда, из Яла-

ни, изуверство, сиюминутно, может быть, но не понятно для кого, и выгодное, необходимо было бы взглянуть Вам, нами, и мной в том числе, избранному Главе государства. Это при зарастающих полях и воинствующей, смущающей человеческие души и умы, безнравственности...»

В дом входит Нина. Громко, как всегда, хлопнув дверью, – дом будто охнул – пробудился. Пока в прихожей Нина. Топчется – половицы сообщают – их, половицы, будто уплотняет, утрамбовывает. Слышно теперь, как разувается. Разулась. Толстопятая – так называл её покойный свёкор, Сергей Иванович Полуалтынных, ею, невесткой, восторгаясь добродушно: мол, не какая-то там пигалица – баба: сама ходит, не сквозняком её мотает. «В зайце прыгь и бегучесь, – любил он, Сергей Иванович, повторять, – в кошке пакосность да вёрткость, в мужике сила, ум и дёрзось, а в жэншине, сообщу я вам, мягось и дебелось. А той без тела не бывает. Одна лишь видимось и пшик».

Направляется Нина, босо шлёпая по крытому светло-коричневым линолеумом полу, на кухню. Чем-то там гремит – не то ведром, не то кастрюлей – переставляет.

Вступает в комнату, включает свет.

Через дверной проём видит мужа в бывшей детской.

– Ты тут, – сказала, как отметила. – А я уж думала, ушёл.

– Куда?

– Да мало ли, куда. Куда ты ходишь...

– Опять?

– Опять. А чё тако-то?... Куда-то ходишь же... Опять.

В распахнутом красно-белом, полосатом, махровом халате, накинутом на розовую ситцевую ночную ру-

башку, с болтающимся на шлёвке поясом. Рубашка мокрая – прилипнув, тело облегает выразительно.

Задёрнув окно шторой – по обычаю, наверное, а не по надобности: кроме воздушного пространства, луны да равнодушных к земле туч, а уж тем более – к Ялани, до той и вовсе нет им, отрешённым, никакого дела, в окна заглядывать тут некому – дом на отшибе, на конце несуществующей уже улицы Александровской, – Нина включает телевизор и садится на диван, потеснив на нём трёхцветную, безмятежно вылизывающую себе палевый пах кошку, напротив. Берёт с тумбочки, беспорядочно заваленной коробочками, флакончиками и баночками с косметикой, частозубый деревянный гребень и начинает расчёсывать им свои влажные длинные волосы, резким ловким взмахом головы перевалив себе их, тяжёлые, прежде со спины на грудь.

В телевизоре, за бегло сменяющимся кадром, мужским монотонным голосом, словно жителям столицы о затянувшейся плохой погоде на Таймыре или Земле Франца-Иосифа, рассказывается о том, что было в предыдущей серии, которую, как и большинство яланских женщин, Нина не пропустила, а потому к краткому повествованию сейчас и не прислушивается – сама всё помнит, слава Богу

Не оборачивается на жену Иван Сергеевич. Знает: лицо сейчас у неё розовое, словно с изнанки или, как чаще сравнивает он, тайменьё мясо, брови жёлтые, как окуниная икра, халат нараспашку, видны ноги – смотреть ему на них давно уже не нравится. Не смотрит он и телесериал – не пристрастился; время зря только тратить, объясняет.

– Еле отмыла... Жидким мылом, – говорит Нина.

– У? – реагирует Иван Сергеевич.

– Что из Исленьска ты привёз... А той – шампунью – бесполезно. Может, ей срок давно уж вышел?... С крапивой их прополоскала... Волосы. Обрезать, что ли... Пойдёшь в баню? – спрашивает жена. – Вода там есть. Ещё тепло. Уже устала – с длинными-то плохо... да и секутся по концам-то.

– Нет, – отвечает ей муж, не отрываясь от монитора.

– Нет – что?.. Не обрезать?

– Нет – не пойду.

– Хоть сполоснулся бы... После поездки. Дорога всё же. Денег отправить надо Ксюше, – говорит Нина, снимая с гребня напутавшиеся на него волосы, скатывает их на колене в шарик и кладёт шарик на валик дивана – в печь после бросит: *волосы где попало оставлять нельзя – примета – кто-нибудь на дурное может их использовать.*

– Слово шампунь мужского рода, – говорит Иван Сергеевич. – Английское.

– Какая разница, – говорит Нина. – Ксюшкин ещё там оставался... Мужское, женское... если не промывает, пусть хоть английское, хоть разанглийское.

Перестав временно лизаться, но позы не меняя, проследила кошка за движениями своей хозяйки и, не найдя в них ничего для себя интересного, принялась тут же за своё. Человеку – человеческое, кошке – кошачье.

– Получу вот, и отправим, – говорит Иван Сергеевич.

– Много получишь ты! – говорит Нина.

– Ну, сколько получу. Мы проживём...

– Смешно... Когда?

– После десятого.

– Скоро зима... Ходить девчонке не в чем... Сапоги какие-то купить бы. Не в деревне... тут-то и в валенках... а в городе. Вот-вот, гляди, и снег повалит.

– Купим. Может, картошку будут принимать... сдадим.

– Завтра к ней съезжу. На автобусе. Надо узнать, как там устроилась... Кошка-то снова вон брюхатая... Ага, надейся на картошку – гниёт у всех вон... и у нас... на суп не выбрать. И за учёбу заплатить Андрюшке.

– Заплатим.

– Если не завтра – послезавтра, пока не начали... Картошки в зиму накопать бы... И комбикорму... поросётам.

– Спрошу завтра у Чуруксаева, зауча. У него зять муку, зерно и комбикорм продаёт по деревням. Дешевле, может... по знакомству. С юга откуда-то привозят, из-за Исленьска.

– Ага, давно уж обещаешь.

– Его же не было... был где-то... в отпуске. На днях вернулся.

– С травы – худушшые – не сильно растолстеешь.

– Ну, не одной травой, и хлебом кормишь.

– Потом продай таких вот тошшых-то – кто их возьмёт?.. Хлебом-то много не накормишь – тот нынче стоит... Это не ранешные времена... по двадцать булок покупали.

Выключает компьютер Иван Сергеевич, встаёт из-за стола и говорит:

– Глаза устали, – поморгал, пощурился, помял веки пальцами. И продолжает: – Спина болит. Схожу к Володе.

– Нестерову? – раздвинув руками перед лицом своим волосы и глядя испытующе на мужа, спрашивает Нина. – Чё там забыл?

– Поговорить надо.

– Ну-ну.

– Да почему такая ты?..

- Какая?
 - Спрошу: будут выпиливать тут ельник, или нет?
 - А если спросишь, и не выпилят?
 - Да почему не выпилят-то, выпилят.
 - И чё?
 - И сеть проверю.
 - На Кеми?
 - А где же?
 - Ну. Давно пора. А то уж рыбы там немерено – прокиснет.
 - Ты почему такая-то?..
 - Какая?
 - Быстро же забивает: муть такая... И лист несёт – тем уж и вовсе.
 - Ждать я не буду, лягу спать.
 - Да я недолго... Интересно.
- Расчесала Нина волосы, убрала их за спину. Гладит теперь кошку и говорит:
- Интересно, как неинтересно... Когда только и успеваешь? Вроде и старая уже, не молодуха... Со всем недавно же котилась.
- Мурлычет кошка – всё ей ладно, было бы тепло, сухо, сытно и не били бы ни за что и ни про что.
- Уж хоть бы ельник-то не трогали. Бора – под корень. Листвяги...
 - Ага, не тронут.
 - Возле уж самой-то деревни. И березняк весь уже вывезли.
 - Кому-то жалко... Снова котят твоих топить мне? Наказанье...
 - Где есть подъезд да можно подобраться... И так уже кругом пустыня.
 - Ты им скажи, может – послушают. Ты же для них авторитет...

– Опять?

– А чё?.. Учитель. В первом поколении. Они и с мамой бы своей не посчитались, и мама – женщина. Им бы урвать. И не упустят. Это тебе он – лес, а им... везут-то этот... как его... – кругляк.

– Им – не кругляк уже, им сразу – мани.

– Маня... С каким котом-то нагуляла?.. Этот уж, рыжий, надоел. Как у себя, разгуливает по ограде. Да шустрый – палку только в руку... вроде был тут, и уже смылся.

– Смотрят на дерево, а видят доллар... Чуть не до Маковска голо́, а там – от Маковска до Томска... Поймать в капкан.

– Его поймашь.

– Ну застрелить.

– Дак застрели.

– Зато ветрам какое вон раздолье... гуляй где хочешь.

– Да не с одним, наверное, тут много их орало. Прошлый-то раз всё пёстренькие были... И Полуэктовых – откуда прётся вон, с конца деревни!.. Ничё не держит их – ни дождь, ни ветер... И гряды все мне порешили... Кроты и эти...

Накинул Иван Сергеевич куртку, обулся в сапоги и дом покинул. С непокрытой головой, как говорят в Ялани – голоушем.

С крыльца спустился. Вышел из ограды.

– Раньше сезон им был, теперь... Сегодня только вот не дует.

За воротами уже легче.

Втянул в себя чуть влажный воздух, после протяжно его выдохнул.

– Как-то утомился. Ненадолго.

Тут уж никто не остановит, не задержит – ни дождь, ни ветер. Случись вдруг – и ни землетрясение.

И время легче скоротать, а то так тянется – невыносимо.

– Тучки по югу-то вон, морок.

Тепло.

Светло – не мгла кромешная.

Тихо. Только кузнечики звенят. Но это – музыка – не шум.

Ельник голубой – олуненный. Ни звука из него. Вовсе уж сказочный, таинственный. И не пугает. Бабой Ягой и Серым волком. Как было в детстве. И ни медведем, бывшим мельником, из-под моста когда-то и Христа пугавшим.

Над Кемью, Бобровкой и Куртюрмой туман неплотный поднимается; за берега не выползает. Болотце Мыкало – собрался и над ним, его – как блюдечко – отметил, планщик. А сам – мерцает от луны. Болотце с вóдьями – окончатое.

В деревне кто-то где-то разговаривает. О чём-то. Далеко отсюда – не разобрать. Покойник есть – быть может, и о нём. Скорей всего. Ещё вчера его, мол, видели; и не такой уж, дескать, старьё – был-то. Скрипит колодезный журавль – и тот участвует в беседе, то головой в небо, призывая его в свидетели, упрётся, то хвост к нему бесстыдно задерёт; только всегда ко всем с одним и тем же – с тоскливой жалобой на жизнь: когда же, мол, его в покое-то оставят? И отвечает сам себе: когда людей уж тут не будет. Похоже – скоро. Тогда и сам помрёт – завалится. Что в мире вечно?

– Яланцев не будет, пекинцы поселятся – свято место, пусто не бывает. В этом и вечность.

Из Култыка, растянувшись, как партизанский отряд, длинной цепью, бредёт чей-то запоздавший скот, телята и взрослые; всё шли молчком; и замычала

вдруг вожатая корова – *недоёная*; хозяйка ждёт – её предупреждает: всё, мол, бросай, доить меня готовься. Все уж глаза хозяйка проглядела – несомненно.

Мелькают в воздухе нетопыри, бесшумные – как водомерки.

Жуки гудят. Нехрущи. Пихта молодая в палисаднике – за ней настойчиво ухаживают – как обезумели. Растанцевались.

Едва ли не бегом спустившись и так же, шаг не замедляя, поднявшись в крутой, но не глубокий лог, по которому только весной, от дружно тающего снега, да летом, после сильных ливней, ручей к Куртюмке устремляется, сейчас безводный, прошёл Иван Сергеевич пустырьём – когда-то длинной, чуть ли не в километр, Логовой улице, затем короткой – бывшей Забегаловкой. И в ней когда-то три избы стояло. Две рядом, а одна наискосок, через дорогу. И населяли эти три избы однофамильцы-родственники – Есауловы. Чтобы их в разговоре различать, к фамилии приставка добавлялась – прозвище. Афанасьевские, Федосовские и Коноеды. Как добавлялась, так и добавляется: в деревне нет уже ни одного носителя такой фамилии и с таким прозвищем, но в людской памяти они остались.

– А чья заимка тут стояла? Есауловская. Это которых? Афанасьевских. А чья – на Кекуре? Федосовских. А Коноедов-то? У этих земли были на Сосновом... Спросил бы я, так и отец бы мой ответил.

Драчливый был, их вспоминают, корень. Нос, говорили, или кулаки зачесались, выпей для смелости, *хмельным водушевишь*, и направляйся в Забегаловку – почешут. Самыми лютыми считались Коноеды. Комар обидит их, тому не спустят – из всех трёх изб сразу, как мураши, выбегут, мол, и отлупят. Всегда,

когда проходишь тут, дружно на ум являются, грозятся – *дёрзкие*.

В Ялани три их было, Забегаловки, но две другие были тихими.

– Ни от одной уже и следу.

Миновал большой, под жестяной зелёной крышей, с балконом и с глазастыми верандами, дом Истоминых. Свет в окнах не горит. Луна в них лишь – как будто внутрь её не пропускают – отражается; сама, в пустой, не хочет ли входить. В субботу, как на дачу, приедет хозяин – печь в нём протопит. Обычно. Переночует и уедет в город, где живёт, семейный, до следующей субботы, до праздника ли какого – до нерабочего-то дня. К себе на родину, не на чужбину возвращается – побыть. Ведь не одной же печки ради. Сейчас в нём, в доме этом, никого. Отлучились из него дядя Николай и тётка Елена Истомины – навечно. Он им тут больше не понадобится; но дом-то помнит их – как будто поджидает; и к нему вот, к Ивану Сергеевичу, зорко с надеждой поприглядывался – обознался. Ну а как только распознал, так интерес к нему утратил сразу – на ельник окнами уставился, не заслоняясь от луны.

– Тоскливо как... Уж никого не остаётся. Из коренных-то.

Вышел Иван Сергеевич в Линьковский край. Кромкой дороги следует теперь – обходит лужи. Теперь в Ялани – как в сыром всегда осиннике. Так трактора дорогу размесили. Раньше, ещё при старой власти и при МТС, разъезжать на тракторе по улицам села строго-настрого запрещалось, им предназначена была одна дорога: из гаража – и сразу за околицу. Теперь гараж – по всей Ялани. И лесовозы, и трелёвочники. Нет только танков. Было село, теперь – деревня, и та –

как Прохоровка после боя. Скоро и с карты уберут. Душа от этого немеет.

– Так к нам, к дерёвне, и относятся. И относились. Как к слабоумному паршивому. Только шпынять да поучать. С пренебрежением. С презрением. Со знанием – как будто тут они и родились, тут они выросли. Тут они будто и живут, а не глядят на нас из пролетающего самолёта. Ну, в лучшем случае – как дачники. Ни почитать кого. И ни послушать... Как сговорились... Били одни, другие добивают. Да и не сами ли себя... злые-то мы... как Коноеды. То кровь, то сопля... По колено. Включи вон только телевизор, сразу насытишься по горло. Как упыри. Уже в Ялани-то – и то... Ну, тут-то, ладно... Между собою поругаются, за рубль душу не погубят, жизни другого не лишат. По пьянке разве... Да и такого пока не было... Дождёмся. Скоро естественно все, как пещерные медведи, вымерем. И будущие археологи нашего кладбища даже случайно не найдут – на нём китайцы будут лук выращивать. А предки наши бы не допустили... Так, что ли, выродились мы?

Ещё жилой Линьковский край: то там то тут ворота стукнут глухо; собаки лают; в чьём-то хлеву, наверное, овца как будто ясли, слышно, гложет – судя по звуку, можно так решить; неумудрено и ошибиться.

И фонари кто-то зажгёт. Светят, неоновые, *по-мёртвячки*. Как-то нелепо – при луне-то. Входит та в силу – вестью благой от солнца rassиялась.

– Включил же кто-то, надумился.

Обычно он, Плетиков Василий Серафимович, с началом темноты включал и на рассвете выключал их, фонари, – в Ялани к этому привыкли. На столбе, напротив его дома – пока его ещё, наверное, после, как *вынесут*, уж очуждает, – висит общий рубильник. А по-

тому он, дядя Вася, и заведывал. Ну не ходить же каждый раз сюда, утром и вечером, кому-то издалёка, не *таш-шытса*. И делал это дядя Вася добросовестно – днём не маячили светильники, зря не горели. Нынче-то вряд ли стал бы подниматься – сразу ко многому вдруг интерес утратил. И к фонарям, пожалуй, тоже. Может, про них и помнит он, Василий Серафимович. Душой, возможно, озаботился. Да встать никто ему не позволяет. А сам собой не в воле уж распорядиться: узнал вдруг, что раб, теперь – послушен.

Лесник, Нестеров Владимир Николаевич, бывший одноклассник Ивана Сергеевича, около дома. Лежит под колёсником, ремонтирует. Ноги видны его и голос слышен из-под трактора. Подстелил под себя что-то. Шкуру, наверное, овечью?.. Нет, полушубок.

Младшая дочь его, Валя, стоит рядом. Юница. В девятый класс нынче пойдёт. Ключи отцу, по его команде, подаёт да гайки, шайбы и болты от него принимает, в банку их складывая, – чтобы не растерялись ненароком и после долго не искать их. Помощница. Знает, какой ключ *торцовый*, какой – *рожковый*, *накидной*. *На девятнадцать, на семнадцать*. И учится Валя в школе на одни пятёрки. Отличница. Как и две старшие сестры её в своё время – уже студентки. Счастливые они, Нестеровы, в дочерях-красавицах. За отцом всегда – как лоскутки. Так говорят про них в Ялани. Куда бы он, отец, на какую работу ни отправился – сено косить, дрова пилить, копать картошку ли – с ним и они. Могут и с лошадью управиться – запрячь, распрячь и даже спутать. Ну, это ли не радость? Так рассуждает он, Иван Сергеевич. В его семье история иная. Жена виной – избаловала, дескать. Но что поделаешь, как уж сложилось. Прожить заново, набело ли, не получится. Если могло бы повто-

ряться... Тогда б и старость не пугала. Так рассуждает он – Иван Сергеевич. И в том, что прав, не сомневается.

Тут же и Винокуров. Дядя Миша. В камуфляжных, бледных уже от частых стирок, шароварах, заправленных в длинные шерстяные серые носки. В калошах грязных. В камуфляжной же панамке. В не застёгнутой ни на одну пуговицу телогрейке, как говорят в Ялани – *нафастопашку*. Из кармана телогрейки торчит пластиковая полуторалитровая пивная бутылка – в ней что-то булькает. Грудь в тельняшке. Не держится спокойно дядя Миша. Не потому что под крутым градусом. Всегда так. Ходуном ходит. Как на шарнирах. Жена его, Марья Карповна, говорит про него, про мужа: он с матюком на языке и с шилом в заднице родился, и дать пинка нельзя ему – ещё наколешься, мол; смеётся при этом Марья Карповна, добродушная. Лежит она, – так про неё говорят, – на один бок парализованная. И он такой же, дядя Миша, то есть *беззлобный*. Во лбу у него, поверх панамы, торчит фонарик на ремешке с молчащими пока светодиодами – вдруг да понадобится, мало ли. И днём с ним ходит – *вдруг замеркнет*.

Все – как на сцене – под прожектором; подвешен тот, яркий, под стрехой и включён намеренно – целенаправлен в сторону «*Белоруса*»; кучно выются вокруг прожектора мотыли и мошки, слепые будто, тычутся в стекло.

– Добрый вечер, – приветствует Иван Сергеевич бывшего одноклассника, его дочь, свою ученицу, и дядю Мишу Винокурова, односельчанина.

– Здравсте, Иван Сергеич, – потупив почтительно глаза, отвечает Валя тихо. Играет с ней бусая, на барсука похожая расцветкой, лайка. Прыгает, звонко и весело

повизгивая, перед девочкой и норовит в лицо её лизнуть. Отворачивается Валя нерешительно и говорит ей, собаке, словно стыдясь за неё перед посторонними, вовсе уж шёпотом: – Мешаешь, Найда, отойди.

Найда не унимается – ещё не взрослая, в отличие от Вали, – с утра до вечера забавы требует.

– Привет, – говорит Винокуров. – Виделись уже. Цирлих-манирлих. Утречком. Я в магазин за пивом шёл, а ты поехал в Полоусно. Я помахал тебе. Не видел?

– Видел, – говорит Иван Сергеевич.

– Ну дык... не горе-не беда, – говорит дядя Миша. – Я тоже видел, что ты видел... что ты внимание-то обратил, Сергеич.

– Тебя, такого, трудно не заметить, дядя Миша, – говорит *Сергеич*. Ты – как спецназовец в горячей точке, в таком наряде. А в магазин-то – рано вроде было? Он же в двенадцать открывается.

– Кому и рано, а не мне... Купил-то я яё вчерась, бутыль-то эту. Спрятал в крапиве, у забора. Есть у меня там тайничок. Старуха бы моя, – говорит дядя Миша, – один идь хрен выпить яё мне не позволила, из рук бы вышибила батогом, если с кровати-то бы дотянулась. Чуть зазеваюсь, достаёт. С водки, мне говорит, ты, мол, дурак, а с пива – просто сшамашедший... Вчерась чё выпить, было и без пива. Я и оставил на похмельку, яё домой-то не понёс.

– Предусмотрительный.

– Дык жизнь... научит – не дурак-то.

– Здорово, – узнав по голосу Ивана Сергеевича, изпод трактора отзывается лесник. – Куда направился?.. Найда, а ну-ка!.. Ишь, разбесилась тут она.

Уходит Найда, ложится в сторонке, около тележки тракторной, привалившись боком к её колесу, –

совсем, похоже, не обиделась; там будет ждать, пока не позовут. Глядит притворно сиротой на Валю, сигналя веками, – спрашивает. Валя, стесняясь за неё, глаз от земли не отрывает.

– Сначала до тебя, – говорит Иван Сергеевич. – Потом до реки.

– Угомоню – на цепь-то сядешь... То рассказакалась... Трактор сломался вот... Когда теперь налажу.

– Что с ним?

– Больше лежу под ним, чем езжу... Кардан... Меня, наверное, придётся. Пока снимаю – надо посмотреть.

– Да мне не трактор...

– Старьё же всё – поизносилось... Воздухом вышел подышать?

– Да вроде этого.

– Чуть не ровесник... Если не наш, то Валин-то – уж точно... Дело хорошее, погода – для прогулки.

– Не знаешь, – спрашивает Иван Сергеевич, – ельник пилить будут?

– Где только взять его, другой-то, в наше время... на передний привод? Покупать новый – без штанов останешься, никаких денег не хватит... Ельник?.. Какой?.. Валя, подай-ка на семнадцать. Тут мастерил уже я – повесил всякого... Да хоть до дома-то добрался своим ходом, его оттуда не тащил... Рожковый.

Показалась из-под трактора чёрная от грязи и мазута рука, вложила Валя в неё ключ. Рука исчезла.

– Раньше в любой гараж пришёл и – за бутылку...

– Пивка кто будет?

– Нет. Да наш... вокруг-то. Пиво бы было, то – моча...

– А-а, этот... Выделили...

– Сколько?

– С пива, дядя Миша, – говорит лесник из-под трактора, – ссат криво... Валя, не слушай... Два гектара. Тут, у Пятой-горы, по летнику... Отвёртку... Гравер присох – не отодрать... Так прикипел ли?.. нагрелось.

– К деревне?

– К вышке.

– А-а. Туда... Ну, всё равно, – говорит Иван Сергеевич. – Почти что на виду.

– Цирлих-манирлих, – говорит дядя Миша.

– Да, уж впрытык, – говорит Владимир Николаевич.

– Скоро к нам в палисадники залезут, – говорит Иван Сергеевич. – И в них всё выпилят под корень.

– Ну дык, – говорит Винокуров.

– Вполне... А я подумал, – говорит Владимир Николаевич, – ты на рыбалку хочешь съездить в выходные. Идёшь зазвать... Но не могу вот... Угораздило. И тракторишко, Бог даст, если налажу, сено метать надо... Копны гниют... по Боровой дороге. Уж после как-нибудь. Там же разделали... по пням-то наскочили... и где-то ладно угодил вот... согнуть такое, надо умудриться.

– Значит, весь выпилят, если возьмутся... Да на рыбалку ещё рано, – говорит Иван Сергеевич. – Харюз не катится, сверху стоит, на перекатах.

– Не кувыркнулся ещё как-то... Да как так весь... Кто им позволит?.. Если отведено конкретно два гектара. Вряд ли. Рано, конечно. Заморозков путных не было, и лист особенно ещё не валит... Пока не катится. На перекатах ещё, точно, – говорит Владимир Николаевич. – Где-то уж с середины сентября.

– Не горе-не беда, – говорит Виноков. – Тогда я сам... маленько надо.

– Ты не смотри на нас, опохмеляйся.

– Опохмеляются с утра... Тут уж от горя... Я – предложил, вы – отказались.

Вытянул из кармана телогрейки бутылку, открутил крышку Винокуров, глотка два, столько же выплеснув при этом на тельняшку, из горлышка шумно произвёл и сунул бутылку обратно в карман, там на неё и крышку навинтил уж.

– Чуть не закроешь – выдыхается.

Запахло солодом и спиртом.

– Пиво как пиво... чё с яво – не водка, – говорит дядя Миша. – Кто еслив стал бы, я бы сбегал...

– Сами хозяева – никто нам не указ: что хочу, то и ворочу, – говорит Иван Сергеевич. – Нужно им чё-то позволение... А как они Мордовский бор и Волчий тут же, следом, выпилили заодно?.. Кто позволял?

– Ну, доберутся и до Мокрого, – говорит Владимир Николаевич.

– Кто б сомневался... И лес был первой категории. Рядом с рекой, вплотную к берегу. Раньше не трога-ли, и при советской даже власти, даже в войну... Там только санитарная ж должна была быть вырубка, – запальчиво говорит Иван Сергеевич, наболело. – Так обещали. Было и в газете. Только, мол, проредят. И проредили... Нет, дядя Миша, я не буду – мне завтра в школу. Да и пиво...

– Ну, дык а водки-то?.. Отправьте... Наталья даст, – спешит заверить дядя Миша. – Ей идь, один хрен, кам-мирсанке... там лишь бы выручка... ты к ей хошь но-чью заявись, в дверь тока пшибко не ломись, пальцем в окошко тока тюкни – и начеку уж, ушки на макуш-ке... Если не набралась, конечно, в титьку и не лежит воронкой кверху... Вроде уж вышла из запоя-то. То и корову ж не доила. Та по деревне с рёвом бегала, как

заполошная, из края в край металась по Ялане... Дык засушила – больно ж коровёнке. Так с самуёй бы – и узнала б... Три недели, как отмерила, – говорит дядя Миша, раззадорился, – с Ильина дня отгуляла... со своего-то дня рождения. Она ж – второго... Как Конституцию – наотмечалась. Незыблемо. На пару с Гошкой, с мужиком-то – какой-то новый на яё батрачит. С Ильина дня, сама смеётся над собой, дожжы обычно затяжные начинаются, а у меня – на водку жадось неуёмая, мол... Чё-то там в ей, в её-то организме, сильно уж связано с природой – круговорот прямо какой-то... Вот где здоровье, не чета нам... Попей-ка столько да без отдыха. Видел вчерась яё – на смерть похожа. Чума – стоит там – за прилавком-то. Но вроде трезвая была, хошь и, по роже, никакая. Зенки – наскрозь затылок видно... Ну, дык и я... не стану прибедняться. А то спалкал бы, далеко ли...

– И мне нельзя – работы много, – говорит Владимир Николаевич. – Один пей... Ну, там-то да... там-то – конечно... Внаглую. Запустили козла в огород капусту охранять... Наохранил. Смели. Как крошки тряпкой со стола... Тут запретили им, они – в Исленьск, там разрешили. Если в Исленьске не получится, в Москву поедут, там добьются – с мешком-то денег...

– Ну да, с мешком-то – убедительно. Даже и с нашими.

– Ещё бы.

– У них расчёты не в рублях.

– Да чё рубли им?.. Не валюта. Так только, чтобы обменять... А на плесá, в Глубокое, теперь не сунешься – туда дорогу раздербанили – листьяг оттуда вывозили. На своих двоих только – надёжнее... Или на вертолёте. А на моём-то – лишь до Вязмино, сразу

за ним – там месиво сплошное... Или уж на летающей тарелке.

– На той-то – ладно бы...

– Не горе-не беда... Или на танке.

– Да там и танк... На брюхо сядет-то... Другим танком его после только выгаскивать?

– Ну, хоть до Вязмино, и то... Дальше уж можно и пешком. Пораньше выйти и с ночёвкой... И народ, главное-то, – говорит Иван Сергеевич.

– А чё народ?

– Когда не надо, машет кулаками – горазд. Даже не пикнул, не возник.

– А как тут пикнешь? – говорит, так целиком и не показываясь из-под трактора, Владимир Николаевич, всегда, о чём бы речь не шла, спокойный. – Тут хоть запикайся, кто-то услышит. А и услышат, толку-то для нас... Народ как народ, – говорит Владимир Николаевич. – Вечно. Решают всё, сам знаешь, деньги. В Москве, им там до нашего бора и ельника, как мне тут до дохлого карася в Монастырском озере... Да и в Исленьске. Кое-кому и в Елисейске... Лишь бы карман набить зелёненькими, а там трава хоть не расти. Чё им наш ельник? Они его в глаза не видели. До нас им так же – никакого дела. Да и вообще-то... до людей. Мы для них нелюди, подсобный матерьял... и сам всё знаешь, видишь, что творится.

– Вижу, – говорит Иван Сергеевич. И говорит: – Глаза бы не смотрели.

– Да уж.

Молчит дядя Миша – размышляет.

– Так, языками потрепали, повыступали чуть и успокоились. Сопротивленцы. Все же вокруг – и Елисейск, и Милюково, и деревни – пользовались, – говорит Иван Сергеевич, – чернику, бруснику, голубику и грибы бра-

ли. И так приехать отдохнуть – такой тут воздух... И охотились. А в Айдаре вон люди не позволили. Там тоже бор хотели выпластать. Живут им, бором. Отстояли.

– То в Айдаре – там кержаки.

– А мы чем хуже?

– Значит – хуже.

– Что, измельчали, выродились, что ли?

– Хребёт-то, точно, нам сломали... долго гнули.

– А кержакам?

– У тех он крепче, значит, оказался.

– Ну уж. Хотя... Сейчас сюда бы Че Гевару...

– А Че Гевару-то зачем?

– Ну, раз мы сами уж не можем...

– Что?

– Постоять-то за себя... Надо валить, никто ж не спорит. Стране лес нужен. И на экспорт. Не запретишь. Было и будет, – говорит Иван Сергеевич. – Со сна закончится, начнут пилить осину.

– Давно уж начали... везут.

– Ольху – и ту китайцы купят.

– Купят, – говорит Владимир Николаевич. – На палочки... Им тоже надо чем-то кушать.

– А пусть на вилки и ложки переходят, как все люди.

– Их не заставишь.

– Лес изведут наш, и заставишь...

– Привыкли к палочкам.

– Отвыкнут... Или из пластика пусть делают, пора уж... Ладно, валили бы нормально, – говорит Иван Сергеевич, – а то же... Ноги сломаешь – не пролезешь. Лесину свалят, десять рядом вывернут и стопчут. Бревно возьмут, а пень в два метра и вершину с сучьями оставят. И всё изъезжают, исковеркают. Ну, что рассказывать, все знают... И возле самой-то деревни.

– Им так обходится дешевле, – говорит Владимир Николаевич. – И на дорогу тратиться не надо. Тут же: подъехал – и бери. И близко – тоже экономия.

– Мало ли, что... Им – экономия... Но не они же эти-то торили, а предки наши... После себя-то хоть бы восстанавливали, – говорит Иван Сергеевич.

– Цирлих-манирлих.

– От них дождёшься...

– Ну, а мы сами-то?

– Грудью вставать?

– А хоть и грудью.

– На той неделе технику уж будут завозить.

– Сжечь бы её.

– Сожги – тебя же и посадят.

– Где-то ж палят. Вот, в Новгороде, слышал...

– И что, теперь там лес не пилят?

– Пилят, наверное... Дело не в этом.

– А в чём? – спрашивает Владимир Николаевич.

– В народе нашем, – отвечает Иван Сергеевич. – Дайте, я сам верёвочку намылю...

– Да так ли уж?... Стране же надо как-то выживать... после такого.

– Много страна от этого имеет... Если б стране, а то ведь жуликам... Нефть пусть качают, – говорит Иван Сергеевич.

– Ну, раз проворнее они, чем остальные, с них пусть начнётся... И нефть качают, – говорит Владимир Николаевич. – Газ продают... Конечно, надо как-то контролировать. Но как?

– Да как!.. Многие кормятся от этого. Как контролировать... Ну, как-то. Надо, чтобы не только жуликам давали жить.

– Ты отличи его, на лбу же не написано...

– А, это только разговоры.

– Ну так а чё мы ещё можем? Поговорить...

– Народ безмолвствует. Обычно. А это так лишь – потрепаться.

– Ты сам-то чё, Сергеич, не воюешь?

– А я один...

– И все мы – так же...

– Ага. Не горе-не беда... Оно – конечно. Я, пареньком ещё, в расцвете сил, в конце сороковых и в начале пятидесятых, горбатился и наживал себе килу в Средне-Кёмском леспромхозе. Яво уж нет давно, закрылся. И школа даже там была, четырёхлетка. Ну, вы слышали... По Кеме тут, – говорит дядя Миша, ещё бойчее заприплясывая, как будто выпитое пиво в нём вдруг заиграло *сербиянку*, как говорят в Ялани – *сербьянку*, или задорную камаринскую. – Дык мы, с мая месяца, а то, бывало, и с апреля, как тока снег когда сойдёт, грабельками все сучья, вплоть до малой веточки, сгребали в кучи. А как октябрь-месяц наступает, и до Седьмого чтоб поспеть, идём, сжигаем эти кучи. Уже по снегу... А чтоб пожара не устроить, то идь и сядешь. Вот был порядок. Ну, дык тогда – ещё при Сталине. А тот-то – ох уж... При ём бы так не распоясались, как эти... нынче. Уже уран бы добывали... В борах-то было – на боку катись, и после вырубки, там хошь на чём, и на машине ездий. Можно иголку было отыскать.

– Иголку – хвойную?

– Да нет, такую...

– Вот ведь могли же.

К дому Плетиковых, что напротив, чуть наискосок, безглаголиво объезжая лужи, с выключенными фарами, только с глазастыми подфарниками, почти бесшумно, как будто с заглушённым двигателем, подкралась машина. *Инамарка*. Остановилась. Из неё, захлопнув

мягко двери, вышли люди и, тихо между собой переговариваясь, скрылись в ограде. Двое мужчин, без головных уборов, и три женщины, в чёрных платочках. Зашли – ворота не закрыли – как для кого-то.

– Дочка младшая. Тамарка. С мужчиной... С именем ещё какие-то. Этих не знаю, – говорит дядя Миша, навремя перестав приплясывать.

– Друг твой умер, – говорит Иван Сергеевич.

– Царство Небесное. Скоропостижно. Предупредил бы хошь. А то – как оглоушил, – опять приплясывает дядя Миша, словно он босиком стоит на раскалённом, плечами двигает, руками дёргает, как урка перед фраерами. И говорит: – И сам, наверное, не собирался. Мне-то бы мог шепнуть уж, по секрету... Был сёдни у яво, – говорит дядя Миша. – Попроведал. То всё «гы-гы» идь да «га-га» – не унывал-то, и – просмешник. Лежит, молчит теперь... будто немтырь. Никто таким яво ещё не видел тут. Ну, чё... не горе-не беда. И все там будем. Может, я это... Помянуть-то.

– После помянем.

– Чё б не сёдни?... Пока совсем-то не остыл.

– От тебя, говорят, шёл.

– Теперь теплее уж не станет... Да от меня, ребята, от меня. Чё уж правда, то уж правда. Живым яво последним видел я – так получается. Хошь попрощались, обнялись... Да мы и выпили – маленько. Кого там – литру на двоих... за целый вечер... Недоосилили, осталось с полстакана. Но. Как нарочно – на помин-то... чтобы с утра не шариться мне, не искать. Случайно, чё ли?... Проводил. За ворота. Разошлись. Я – в ограду, он – к себе. Подался. Бодрый. До дому много ль не дошёл, упал и умер. Вон – у столба. Умер – и упал, – гадает дядя Миша, – или упал, а потом умер?... Ночью-то было минус два – передавали... Утре-

то и ледок на лужах был, растаял быстро... Когда Таисья уж хватилась... Когда проснулась, среди ночи: нет Серафимыча и нет... Пошла... Ну дык... знатьё бы, то – конечно. Вошёл, сказал яму: здорово, – а он как будто и не слышит... я аж заплакал... так никогда ко мне не относился... как не товариш-ш. Хошь про-смеял бы, что болею... что голова-то нездорова.

– Вы же ругались с ним частенько.

– Ну, не без этого... Дык и мирились.

– Когда будут хоронить? – спрашивает Иван Сергеевич.

– Пятница, помер-то, ну, значит, в воскресенье.

– А-а, в школе буду. Не смогу.

– В субботу тут ещё – чтоб попрош-шаться... А в школе чё?

– Так тридцать первое...

– А воскресенье-то?

– И что?.. Ладно, на Кемь схожу. Сетушка там – проверю.

– Ночью-то?.. Валя, молоток.

– Вечер ещё. Не ночь. Да и светло вон... Она у берега, в курье... Одно название – сетушка. С портянку, – говорит Иван Сергеевич, – не больше... Из старой сделал – место целое в ней выбрал... Ставлю-то так уж, ради баловства... Палкой достану да встряхну. Вряд ли попало что – вода большая.

– Рыба не ходит... это точно, – говорит Владимир Николаевич. – И у меня мордушки, проверял, пустые.

– Цирли-манирли, – говорит Винокуров. – Она воды боится, чё ли? Она же – рыба.

– Корму полно несёт – не ищет.

– Ищет, где глубже, говорят. Сергеич, будешь?

– Нет, дядя Миша.

– Я дак это...

Запахло солодом и спиртом. Даже и воздух будто сморщился, чуть не чихнул, – с таким настоем и так терпко.

В ограде у Нестеровых загремели цепями собаки – вынесли им поесть, понять нетрудно. Не лают, не дерутся. Говорит там кто-то что-то – с улицы не разобрать. Жена Владимира Николаевича, наверное, Татьяна. Больше и некому. Она, конечно. Две старших дочери – так те уже в Исленьске. Конец каникулам – уехали учиться.

Туда же, в ограду, легко сорвавшись со своей лежанки временной и, словно барсук в нору, скользнув ловко в лаз возле ворот в заборе, и Найда устремилась, сразу забыв, как кажется, про Валю.

Попрощался Иван Сергеевич:

– Ну, до свидания.

– Давай.

Пошёл.

Слышит:

– Не горе-не беда...

– Валя, подай-ка монтировку.

Собаки лают.

Гул из поднебесья.

Прямо под ним Ялань. Под поднебесьем.

Лишь в доме Плетиковых тихо, как будто нет в нём никого. Может, и нет: там, изнутри, в другом дом измерении, и все слова там в цифры переводятся – считать их только, а не слушать. Один. И... несколько...

– Нет. Ноль и два. Нет, ноль-два-два... Скучно тут будет без него-то... Весёлый был Василий Серафимович.

Свернул с улицы Иван Сергеевич.

Прошёл вдоль изгороди. Тут тоже улица была когда-то.

Идёт теперь краем угора, с него не спускается. Когда-то были здесь задворки.

Трава, мерцая, серебрится.

Роса не пала на траву – шуршит, сухая, – семенит.

Куют кузнечики – стрекочут. Один замолчит, другой примется. Но общий хор не умолкает. Когда настанут холода – забьются в кузницы, их не услышишь. Скоро. Долго морозов лютых ждать здесь не приходится – Сибирь. Ещё и – Север. Уж не кузнечики, а кузнецы – они, морозы. И не стрекочат, а трещат. Представить жутко. Как выживали люди тут?.. Но выживаем же.

Туман сгущается в низине, готовясь к ночи, – ему теплее так, наверное, – стеснившись. Не расползаясь широко и высоко не отрываясь, – такой он плотный. Как деревенская сметана. Ложку поставь в него – не упадёт та. Так и представляется. Столбы ж торчат – пока не падают, хоть и накренились немного – один туда, другой сюда. Под ним, туманом-то, асфальт сверкает матово, свет не умея отражать, – тракт пробегает. Екатерининский. Он же и Старо-Гачинский. Кому как нравится, тот так его и называет. Немало видел он кандальников. *С тяжёлой думкой в головах.* От Елисейска был до Гачинска пробит. Трудов-то сколько было вложено. Теперь забыл уже, куда и вёл когда-то. Здесь ещё действует, до ближних деревень, а там, от Гачинска, давным-давно уже затянут лесом. Словно поспорились однажды эти города и перестали сообщаться. Вполне возможно. История. Чего в ней только не случилось. Место могло иметь и это.

– Должно же что-то там остаться... Какой же смысл?.. Всё – как в трясину. Может быть, и сейчас бредут там каторжники – виртуально?

Едет по нему, по тракту, в данную минуту мирно легковушка, вряд ли в историю-то посвящённая. Сама в себе сосредоточившись. Урчит – как сытая кошка. Недалеко уже ей до моста через Бобровку. Но не спешит – плохая видимость. Вязнет свет фар её в тумане. Коль – как сметана, было же отмечено.

Катится за машиной мотоцикл, не обгоняет: словно слепой с поводырём – фара не светится у мотоцикла. Оглушает рёвом мотоцикл всю округу – без глушителя.

– Придурок.

Как в немом, звуковом ещё, кино, летает птица. Бесшумная – как мизгирь. Хотя и крупная, но будто – невесомая. Из одних перьев словно. Или, вернее-то, – из пуха. Так можно её себе представить. Можно и с привидением сравнить. Без внутренностей – как чучело. Не уследить за ней: мельком застит крылом луну, перед лицом порхнёт и потеряется, из ничего возникнет снова вдруг, опять исчезнет – играет будто, не охотится – досужая. Но знамо – хищник.

– Глаза, иду, не выключет, надеюсь.

Луна.

Светит.

Бывают вечера такие – лунные.

И этот.

Чтобы заметить в ней ущерб, надо быть зорким, как бинокль. Или – подозрительная труба. Будто в руках её, луну, сняв с небосклона, кто-то повертел и с краю пальцем чуть примял нечаянно, неосторожно – даже не выкусил, не выел. Метеоритом, мало ли, чуть чиркнуло. Нож начинают так затачивать – легко касаясь.

Крадутся мимо неё – хоть и чёрные, но – полупрозрачные, как капроновые колготки, тучки. С золоты-

ми окаёмками – как от неё, луны, будто испачкались – будто осыпало их кромки.

Редко из них какая её скроет. И ненадолго. Может, и нет в этом случайности, а – уговор такой у них – возможно. Если и скроет, то угадать её тогда за тучкой всё же просто. Проглядывает. Словно девица сквозь кисейную фату. Есть в ней, на самом деле, что-то от девицы. Если подумать, можно догадаться. Или – от Девы.

Плывут они, тучки, откуда-то куда-то, будто пустые лодки в океане, – куда их ветром надоумит. Ко всему они, путницы, или беспутницы, кажется, безразличные, даже друг к дружке.

Чуть ли не ко всему – одно есть исключение:

Только не к бьющемуся в груди, как загнанный в клетку свободолюбивый зверь, сердцу Ивана Сергеевича – в таком смятении оно сейчас. И всё сильнее колотится, чем ближе встреча. И так всегда – никак с ним, с сердцем, самочинным, не управиться – уж и не юноша неопытный, а муж бывалый.

Осведомлены – так ощущается, глядя на них, на эти тучки, – хотя бы к этому неравнодушны.

Или – увéдомлены кем-то.

– Здесь вырубки, – говорит Иван Сергеевич. – В городах – застройки бесконтрольные, в старых районах, исторических. Как называется там?.. Новострой. Кому-то прибыль. Но там и тут – лишают людей памяти. Кому-то выгодно, наверное, и это. Только кому вот, непонятно?.. Была Красавица – отсюда видно вон, над Вязминым ручьём... На горизонте. Теперь туда хоть не ходи... Место осталось вроде, но уж не Красавица. И само место не узнаешь. Был там недавно – растерялся. Как дядя Миша вон, хоть плачь аж. Чуть и на самом деле нюни не пустил – печаль такая одолела.

Встань из могил сейчас покойные яланцы, что бы сказали? Тут же от горя умерли бы снова. Хотя бы дед мой – был охотником. К примеру. Вроде не сам всё это натворил, а стыдно. Ну, хорошо, что Елисейск пока не трогают, – безденежный – не оправдаются в нём небоскрёбы. И тут: нет худа без добра. Гремел когда-то. Нынче – нищий... Всё в этом мире так изменчиво. Нет постоянства. Ни вверху, ни внизу. Ни спереди, ни сзади. А в человеке – и особенно. Всю жизнь – как разный.

Сам с собой разговаривает Иван Сергеевич – от времени отвлекается – как бы ему хотелось, то не поторопится.

– Как кто-то где-то говорил: «Путь вверх и вниз один и тот же». Верно. То есть вся Вечность – это перемены. А постоянное в ней – лишь несовершенство. И зло оно же. Наука даже – та устаревает. Подумать страшно.

Спустился под гору. Прошёл Песочницей – тропинка так называется. И по ней весь листвяг, какой был, лет десять уже назад, вырубил – тут-то совсем уже в деревне, – не постеснялись.

Вышел на яр.

Кемь далеко внизу, на шивере луну разбило на осколки, раздробило – те золотятся, никуда не уплывая, хоть и – стремнина; в плёсе вода – как будто неподвижна. В нём, в плёсе, небо ясно отражается; и звёзды редкие в нём даже не дрожат – так безмятежно оно, плёсо; круги пошли – сплеснулась тихо...

– Рыба... Или бобёр с луной играет... Вот и круги – расширились, и скоро их не будет... Никто не вспомнит.

На другом, противоположном, берегу, коса песчаная, искрясь, белеет. Темнеет на ней одиноко,

возле самой воды, перевёрнутый вверх дном, обласок, чёрный от старости, долблёнка по-ялански; лежит на обласке, поперёк него, как стрелка-указатель, двухлопастное деревянное весло; высохло – не блестит. Кто-то на Камне, может быть, бруснику собирает, с ночёвкой, видимо, остался там – так поступают. То и – охотник за ондатрами. Капканы ставит или проверяет – в старице. Может и так: бобра в ней караулит – тех расплодилось чересчур, и те теперь как наказание: деревья валят, как промышленники, хоть и без пил, без топоров. Кого-кого, но рыбаков-то допекают они крепко – рыбу отпугивают, пусть и не едят.

Над Кемью Камень возвышается – сосновым гребнем в небо врезался. Вчесался. Освещены луной его бока. Как декорации – софитом. Манит, к себе влечёт – летишь туда душой щемящей, часто она бывает там, иной раз в теле. Можно сейчас и сосны разглядеть, отдельно каждую. Даже отсюда. Как-то до них ещё не добрались – стоят. Какая – прямо наверху, какая – косо на откосе. Но доберутся, ненасытные. Есть на то краны и лебёдки – всё, что способствует наживе, употребят, применяют, лихоимцы, вплоть до «Сибирского цирюльника». Как новобранца, Камень остригут. Как *каторжанина* ли. Пока в красе, не жалкий он, не оскорблённый. Но за него и наперёд уже переживаешь.

А может – больше за себя.

Глядишь вокруг – захватывает дух.

– Какой толк от всей этой красоты, – говорит Иван Сергеевич, – если на душе у меня дурно, если она, душа моя, страдает? Тогда бессмысленно всё это. Сколько сейчас... до половины?.. Что ж я часы-то не ношу...

Кедр. Огромный. В два обхвата. Вершиной в небе. Кто-то в нём зашумел – зашелестел, зацокал. Белка, наверное, проснулась.

Кто же гнездится там – в его вершине?

Ждёт-не дожждётся он, Иван Сергеевич. До дрожи в теле.

– Как мальчишка.

Спустился к реке. Хрустя галькой, прошёл берегом до курьи. Отыскал в траве им же там спрятанную сухую и длинную палку. Дотянулся ею до сети, потряс её, сеть, чтобы от мусора очистить. Рыбы не видно в ней – пустая.

– Хоть бы одна... для подтверждения... А-а, ладно.

Помыл руки. Отметил: тёплая вода. Набрал в ладони – всю выпил. Вкусная.

– Для Маньки даже не попалась.

Побыл ещё на берегу, послушал речку: с кем-то беседует она – с дном, может быть, своим, а может – с берегами. А то и – с небом. Скроется скоро подо льдом, под толщей снежной – и надолго. Лишь перекат – как-то увёртывается он от мороза, не может тот его сковать – всю зиму полый, насмехается.

– У каждой речки свой язык, свой говорок... своё наречие. И у Кеми вот – хоть и непонятный.

После:

На яр взобрался. Осмотрелся.

Припал плечом к кедру. Стоит. Сердце колотится, не унимаясь. И оттого ещё, что – запыхался: яр метров двадцать да крутой – избеги-ка.

Опустился на выпирающий из земли толстым змеем корень кедра. Или – не змеем, а – драконом. Сидит на нём. Не может успокоиться.

Видит:

Идёт.

– Ну, наконец-то.

Поднялся резко и пошёл навстречу.

Обнял. Целует. Воздуху не хватает в волосах её – те были собранные на затылке – распустились.

– Ты что так долго, Катенька?.. Еле дождался.

– Как договаривались – в половине.

– Ну а пораньше-то?

– Да не могла... Чё-то Васюшка рассопливился.

– Что с ним?

– Не знаю. Может быть – надуло.

Бурая хвоя под ногами – мягко ступать по ней – ковром упругим накопился.

Подступили, не выпуская друг дружку из объятий, к кедру. Катя – спиной к стволу. Тугая. Крепкая. Сюда-то чуть ли не бежала – потом её так сладко пахнет из-под мышек; на лбу – испарина – нектар.

Обнимает её Иван Сергеевич. Целует. В губы – долго, до головокружения. После – и шею, и лицо. Будто сквозь землю он, Иван Сергеевич, проваливается – так ему радостно, так счастлив.

Пьянеет.

– Как я люблю тебя, родная.

– Ой, дёрнул волосы, мне больно.

– Прости, нечаянно. Пойдём на наше место.

– Нет, мне нельзя...

– Ну почему?

– Ещё и завтра...

– Почему?

– Ну почему – ну потому, – шепчет она, Катенька.

– Ну, по-че-му? – в самое ухо спрашивает он, Иван Сергеевич.

– Не знаешь будто, не догадываешься... И Стёпка, – говорит Катерина, увёртываясь от целующего её Ивана Сергеевича, – сегодня он не очень пьяный.

– Я же купил ему бутылку.
– Они с Флаконом её выпили. С утра ещё... Что им бутылка?

- Катенька, милая... ещё и завтра?
- Ваня, не надо.
- Только – грудь.

Отстранив почти золотые, как лунный бой на перекате, в серебряном лунном свете, словно в окладе, волосы Катерины, расстегнул Иван Сергеевич рубашку на её груди. Разомкнул лифчик.

Цедит лунный свет сквозь хвою кедра, обозначет смутные соски. Вокруг сосков – будто гало. Как к непогоде.

Целует их Иван Сергеевич. Как младенец.

– Мне нравится, – шепчет он сбивчиво. – Мне очень нравится... Из них ещё сочится молоко.

Вздохнул при этом глубоко.

Опять целует.

- Только не так... так, Ваня, больно.
- Прости, прости. Я не хотел...

Мечется белка в кроне кедра – беспокоится: её тут дом, пока не вылиняла – после уйдёт, от человека дальше. Человек – сосед опасный.

– Мы и на том свете будем вместе? – и не спрашивает, а утверждает Иван Сергеевич. – Да, моя милая?

– Не знаю, – говорит Катерина.

– Да того света нет... только сегодня... Только – сейчас... Скоро зима, и часто видеться нам будет невозможно. Пошли...

- Нет, мне нельзя.
- Ну, Катенька.
- Я же сказала.

Луна светит. Ей в глаза. Ему – в затылок.

Утки где-то крикают.

Прокричал кто-то где-то:

«У-у-у».

Эхо сказало то же самое. Или – об одном и том же.

– Пойду, – говорит Катенька.

– Катенька, милая, ну как же можно... Теперь когда?

– Дождя не будет если – в воскресенье.

– До воскресенья не дожить мне.

– Пойду.

– Я провожу тебя.

– Не надо.

– Ну, на прощанье.

Крепко, крепко.

Не оторваться – как срослись.

– Пойду.

– Ещё чуть-чуть.

– Нет, всё, пора мне.

– Катя, во сколько – в воскресенье?

– Так же.

– А если дождь?

– Тогда – не знаю.

– Ты не своди меня с ума.

– Ну, ладно, Ваня.

– Ладно, милая.

Ушла. Не оглядываясь – как обычно. За кустами краснотала скрылась. Не проглядывает.

Ну хоть следы её целуй – так сразу в мире стало пусто.

– Горько.

Как это скоро всё кончается – молниеносно. Ждать новой встречи – словно век.

Всё тело помнит. Взгляд. И голос. Такого нет больше нигде на белом свете. И пальцы – мягкие – как воск.

Ещё про голос – из груди.

Ещё про волосы – красивые.

– Если дождя не будет – в воскресенье, – вслух повторяет. И опять:

– Если дождя не будет – в воскресенье.

И говорит:

– А как дожждаться?

Упёрся лбом в кедр. Стоит. Он – Иван Сергеевич. На себя не походит. Обычно – не такой.

Повернулся.

Самолёт летит. На светлом небе чётко виден. Мигает красным огоньком – не сам же себе – кому-то. Для кого-то. А звук пока ещё не слышен. Тому, возможно, звуку и мигает – чтобы, отстав, не заблудился.

– Как в догоняжки.

Уже доносится.

– Как эхо... Или – как гром – раскатисто, изда-
лка.

Лесина в старице упала, ухнув. И выстрел тут же прозвучал.

– Так оно всё... И смысл в этом?

Отстранился Иван Сергеевич от кедра резко. Пошёл.

Не торопится.

И сердце так уже не бьётся, поуспокоилось.

Переживает:

– И она, Катенька, скоро начнёт стареть – кошмар какой-то. Скоро и у неё на шее и лице появятся морщины. И грудь станет не такой упругой, и свою форму меняет, станет такой – непривлекательной, как... Подумать страшно. Почему?.. И кожа... Кожа – гладкая... как... Губы... Не отрывался бы – всё целовал.

Веткой талины по щеке его стегнуло – не заметил.

– И даже запах... Но так люблю её я, так люблю. Идёт.

– И к Нинке не было такого...

Будто на что-то обозлился – шагает твёрдо – как на смерть.

– И было ли, если сравнить?.. Как день и ночь. Как небо и земля...

Оступился на ямке. Не упал. Осмотрел, насколько можно, впереди дорогу – в тумане еле проступает та.

– И ни к какой другой...

Дальше идёт.

– И ни к Наташке – та просто первая была. Только вздыхал, ни разу к ней не прикоснулся... Долго жалел, теперь – и хорошо.

Попало что-то в сапог. Остановился. Вытряхнул. Пошёл.

Идёт.

Щека горит – рукой её потрогал.

– Бог, если Он есть, если Он всё это сотворил, – говорит Иван Сергеевич, – то суетливо это сделал. Сам не меняется, вечен, а наша плоть – как издевательство... Не суетливо, так – нарочно, Своей забавы Божьей ради. Какая мне польза от этой кратковременной силы и красоты, если я знаю, во что всё это скоро превратится? Свежий пример вон – дядя Вася... Свежий – пример. А дядя Вася?.. Сила и красота. Которой не было когда-то и скоро вовсе не останется. Моей и... чьей-то, дорогой мне. Чуть расцвела, и увядает. С чужой что будет – всё равно мне. Ну, если бы она такой до смерти сохранялась, тогда бы проще было жить... Ты мне, создав меня, не сделал этим чести! Ты – если Ты есть... Но это невозможно. Если б Ты был – всё было бы иначе. Если Ты есть – то нас не любишь. Нет, не осознан этот мир, не сотворён сознательно... случаен.

Кричит птица где-то.

На Камне.

Одинокая.

Бойтся кого-то. Чего-то.

Или так.

– А если сотворён он, этот мир, то или в спешке или – как насмешка. Был просто Взрыв первоначальный – всё от него.

Умолкла птица.

– Всё вспыхивает и гаснет, и мы вот... Но мы не искры же от дров. Значит, недобрый Кто-то сделал человека. Или, вернее, безразличный.

Морось – лицо свежит. Через туман – как продираешься.

– Эк-спе...

Поднявшись в гору, вышел из него.

– ... ри-мен...

Идёт.

– ... та-тор.

Не оглядывается. Не на туман, не на луну. Не на высокий горизонт. Не на то место, где была Красавица.

– Теперь Уродина.

Прошёл вдоль изгороди.

– Кто отомстит за это беззаконие? Кто обуздает?

Вышел на улицу.

– Власть и не думает пока. Не видно что-то, чтобы беспокоилась.

Фонари. Живые будто – от мошки.

– Рука, конечно, руку моет.

Возле дома Плетикова Василия Серафимовича – три машины, одна к одной, одного цвета, серые, и с одинаковым фирменным знаком на багажнике в виде немецкой буквы W.

– Три «дабл вз». Как интересно.

Свет в окнах горит. На кухне. Но в доме тихо.

– Галька и Светка, с мужьями, приехали... Двойняшки. Живут в Исленьске. А их фамилии теперь?.. Не знаю. И их могу уже, увижу, не узнать... Время не красит. Им уж под сорок... как и мне. Как это всё несовершенно. Сердце сжимает от тоски. И что, Он благий?.. Всё враньё. И с лесом-то... не допустил бы.

Минуя лужи, обочиной, под дружный собачий лай, прошёл Иван Сергеевич Линьковский край.

– Меня возьми, я их, машины эти, перепутал бы.

Прошёл Забегаловкой. Мысленно повздорил с Есауловыми – и те его как будто поджидали: дерзкой оравой высыпали из своих домов, из виртуальных, – подался дальше победителем.

– Уж не осталось и кола. Вот это – правда.

Затем – пустырём.

Спустился и поднялся в лог.

Подходит к дому.

Как на каторгу.

И жить совсем уже не в радость.

– Мать её, тётя Клава, тёща, рано умерла. Что-то там с почками... И у неё больные почки... Нет, нет, нельзя так думать... И дети взрослые уже... И почему такие мысли лезут в голову?.. Нельзя так думать... Я ж не хочу, чтобы случилось это... Конечно – люди умирают... Нет, надо думать о другом... о чём-то.

Открыл ворота.

– Надо поленницу перетаскать в ограду... пока нет снега. Зимой так редко мы встречаемся... Ох, Катя, Катенька. Скоро и у тебя... И ты... И даже волосы твои поблекнут. Как называют все тебя?.. Гривастая. Катенька. Милая. Люблю.

Нет в окнах света. В одном луна лишь отражается – где спальня.

– И дядя Вася... Ну, там возраст...

Оглянулся. Первый раз за день. На луну.

Отвернулся.

Входит в дом.

Светло. И пол ещё сияет – изобразить луну не в состоянии, всё же пытаясь.

Видит Иван Сергеевич туфли жены. Стоят те возле порога – к поездке в город приготовлены. Пожалуй.

Лакированные – брезжут.

– Как раздражают, – шепчет под нос себе Иван Сергеевич, снимая сапоги. – Как раздражают-то они меня. И почему так?.. У них и форма-то... какая-то... как говноступы... И так нельзя... Но почему вот?.. Я не хочу так жить. Я не хочу так думать... Вот если б с Катенькой... И та начнёт стареть...

Чуть отодвинул их – как будто пахнут – туфли.

– А то поставила тут – не пройти... И губы у неё, – бормочет Иван Сергеевич, снимая куртку, – как у её отца, дяди Володи. Лицом в него. Вылитая. А телом – в мать, покойницу... *Толстопятая*. И толсто... всякая. Раньше – целуешь её в губы, и думаешь, что не её целуешь, а его... дядю Володю.

На кухнемышь – упала со стола.

– Противно. Правда, давно уже не целовал... Ну, хоть бы, хоть бы не проснулась. Если не спит... Да хоть бы уж спала.

Заходит в свою комнату-кабинет, бывшую детскую. Перед компьютером стоит. Но не включает.

Идёт на цыпочках в спальню.

Раздевается.

Ложится в постель – как в ледяную.

Кошка на подоконнике сидит, в окно на тучи смотрит.

Где-то собака воет заунывно.

Лежит.

Лежат.

Как неживые.

– Я ей, кобыле рыжей, все глаза повыщарапываю, – не поворачиваясь к мужу, произносит жена.

– Опять?..

– Опять... Нашла записочку... Штаны твои стирала.

Ветер на улице поднялся. Качать пихту за окном принялся. Тень от неё исчезла со стены – туча луну, наверное, закрыла – и в этом, временном, как будто вечность отразилась.

II

2

НИНА ПОЛУАЛТЫННЫХ

Досмотрев очередную серию до конца, Нина, не проявляющая интереса к политическим, экономическим и культурно-спортивным событиям, а также, в целом, к только что начавшейся программе «Время», зная, что точного прогноза на погоду в Ялани там не скажут, выключила телевизор и, с пустым сердцем и с двумя красными бигуди на висках, отправилась на кухню. Не испытывая на этот раз никаких чувств и переживаний за героев сериала.

«Одно и то же всё мусолят... Можно давно уже родить... Треплют всем нервы. И себе-то. Муть голубая... не кино».

Достала из холодильника бутылёк с корвалолом. Накапала в стакан с кипячёной водой. Выпила.

«Ему и новости смотреть теперь не надо».

Поставила бутылёк на место, заглянула в холодильник.

«Есть на ночь не буду».

Дверцу захлопнула.

«Хоть и хочу... И почки целый день болят. Съездить, к врачу бы записаться... Потом уж. Завтра не получится. Как же там Ксюша-то устроилась?»

Стала готовить завтрак и обед. Мужу на завтра. Суп со свиной костью, уже проваренной, и котлеты из свинины, достав их, уже слеплённые, из морозилки.

Картошку чистит.

Вкусно пахнет.

«Я ей, гривастой...»

В углу, под столом, мышь чем-то шуршит, скребётся.

«И кошка в доме... Сейчас, к зиме-то, их полезет. Придёт, скажу – пусть ставит плашки... а то удумал».

Бульон кипит. Суп зарядила овощами. Котлеты поджарила.

«Ну, вроде всё. Дня на два хватит».

Накинув поверх халата куртку, пошла на улицу, чтобы собрать бельё, развешенное на верёвке.

Светло на улице.

Тепло.

И на угоре ельник – словно светится.

Звезда над ним – яркая.

Кузнечики стрекочут.

Туман над Куртюмкой. И там дальше – над Бобровкой. Есть и над Кемью, но не видно из ограды.

«В детстве так было хорошо».

Высоко в небе тучи редкие, над Красавицей – сгустились.

«И мама, жалко, умерла. Папка совсем уже состарился. А после мамки – так особенно. Сгорбленный. Завтра – не смогу, схожу к нему послезавтра. Возьму, что надо постирать – там накопилось. И не голодный ли?... Хотя я ему и наготовила. Но он же это...».

Собрала в охапку всё бельё.

К крыльцу направилась.

«Голова болит – дождь, наверное, к утру начнётся. Да не наверное, а точно. Это давление ещё... уже измучило».

Вошла в дом. Бельё грудой на стол в передней положила.

«Гладить буду завтра вечером... когда кино буду смотреть».

Повесила куртку на крюк. Кастрюлю с супом на край плиты сдвинула – пусть напревает. Котлеты со

сковороды убрала в чашку, другой чашкой, поменьше, их накрыла. Поставила на подоконник.

«Завтра найдёт... Пока горячие, не сунешь в холодильник... А не найдёт – ему же будет хуже».

Выключила на кухне и в прихожей свет.

Направилась в спальню.

Скрипит пол под ногами.

Вошла.

Включила свет в спальне. Сняла халат. Встала перед зеркалом. Приподняла рубашку, взглянула на ноги. Спереди оглядела их и сзади.

«Ну и ничё».

Выше не стала поднимать рубашку.

«На ночь не буду есть, может, и это...»

Свет выключила.

Откинула одеяло. Легла в кровать.

Луна. Пихта за окном. Молодая, небольшая. Островерхая. Подглядывает.

И на стене тень от неё – чётко отпечаталась, до иголочки. И тоже – смотрит.

«Плохо – когда луна... Уснуть трудно. Штора высохнет – повешу».

Достала с тумбочки флакончик с лаком. Ногти решила покрасить. Передумала.

«Накрашу утром».

Поставила флакончик обратно.

Торшер зажгла. Взяла с тумбочки альбом с фотографиями.

Раскрыла.

Фотография. Уже поблекла, пожелтела. На фотографии молоденький матрос в бескозырке. Улыбается. Во весь рот.

С обратной стороны надпись:

«Нине. На память. Радостный июнь».

Олег Истомин.

Не забывается.

Вернулся он тогда с флота. Отгулял с друзьями встречи.

А тут и День молодёжи.

Солнце. Хвоя. Кедр. Все на реке, кто в город не уехал. На яру. Вниз не спускаются. Большая вода в Кеми, после половодья ещё не схлынула, не в берегах, холодная – никто ещё не купается.

«А я тогда только закончила девятый класс. Идти или не идти в педучилище, думала. Пошла в десятый».

Он её помнил маленькой девчонкой. Так говорил, по крайней мере.

Часто взглядами встречаются, словно цепляются.

Он – только в брюках. Загорелый. Она в платье – без рукавов. *Приталенное.*

Его, Олега, девушка не дождалась.

«Да Танька, кто её не знает».

За другого вышла.

«Уж разошлись давно... Давно уже не замужем».

Все девчонки говорят об этом, *шушукуются*. А он, Олег, и виду не подаёт – будто весёлый. Он и весёлый.

«Интересный».

Вечером встретились возле клуба. Взял Олег у кого-то из друзей своих мотоцикл. И поехали они сначала за Ялань, на Лиственничную гору – вид оттуда *классный*, и она ни разу не была там. И на Красавицу. И на Ялань.

На Камень.

Полил тёплый дождь. Промокли.

Вернулись в Ялань. На яру кемском остановились.

Целовались до угара.

«Как ты мне глянешься».

«И ты мне».

Как ураган влетел он в её жизнь.

«Влетел и вылетел».

Уехал учиться. Не обещал.

«Но мне казалось...»

Приезжал сюда, к родителям, пока они живы были.

Больше, наверное, уже и не приедет.

«Тётка Елена. Дядя Коля».

И до сих пор, когда видит она его здесь, в Ялани, уже сидящего, сердце у неё заходится.

А внешне:

«Здравствуй».

«Здравствуй».

Всё на этом.

Спрятались они тогда от дождя на кемском яру под кедром. От его губ и рук голова кругом – впервые. А она ему сказала:

«Люблю. Но только после свадьбы».

Он не настаивал.

Не у него «впервые». У неё.

«Дура была. Сейчас бы по-другому поступила».

Закрыла альбом, положила его на тумбочку.

Погасила торшер.

Уснуть и не пыгается.

На пихту смотрит – на ту, что на стене – тень её скоро будет на ковре.

Слышит:

Пришёл Иван.

«Крадётся всегда, как кошка».

К компьютеру подался.

Не задержался там. Теперь уж в спальне.

Разделся.

Лёг. И сразу – как уснул.

– Вчера штаны твои стирала...

– Ну?

- Нашла записочку...
- Какую?
- Я ей все волосы повыдеру, лахудре.
- Рано вставать... мне завтра в школу.
- Мне тоже рано – ехать в город... и поросят ещё

кормить.

Спрыгнула кошка с подоконника – как лошадь.
Пошла на кухню – не слышно.

Ветер начался за окном.

«Ну, хорошо, бельё-то убрала хоть».

- Я сдохну скоро.
- Не болтай.
- Сначала детям расскажу всё.
- Что это – всё?
- Молчи, кобель.
- Опять ты...
- Ладно.
- Нина.
- Ваня.

Качается в палисаднике пихта. Достает веткой до окна. В стекло скребётся.

Что-то тревожное есть в этом звуке.

Лежат люди в постели, под одним одеялом, без-
движные, молчат – как будто умерли.

Кто-то живой, похоже, – мёртвые не плачут.

3

БЕЛОЗЁРОВ ГРИГОРИЙ ПАВЛОВИЧ

Не раздеваясь и не разуваясь, в броднях, с загнутыми вверх носками – от многолетия, в дождевике, с куколем, полным листьев и хвои – нападало, когда шёл, не снимая вещмешка, только ружьё – старень-

кое, тридцать второго калибра, с отполированным от долгого служения прикладом – поставив в угол, вступил Григорий Павлович в свою избу, впервые в жизни – как в чужую, сел на скамейку около двери.

Сидит.

Давно уже. В пол, головой поникнув, смотрит. В руках шапку ондатровую держит – та из руки не выпадает.

Глядеть на него тошно – *как в воду опущенный*.

Тикают в избе ходики – им будто скучно: одним и тем же делом заниматься – лет, может, сорок или пятьдесят – не заскучай тут. Гири у них – подобие еловых шишек. На них, на ходиках, медведи нарисованы. Ещё и лес непроходимый – дебри.

Светит в три небольшие, *улишные*, оконца опускающееся в ельник – в ельник пока ещё, а не в пустыню – солнце. Обагрят лысеющее темя Григория Павловича, золотит и без того его соломенного цвета волосы, хоть и редкие, но не седые.

Смотрят, без нашей тошноты, сосредоточенно и строго с божницы тёмные лики Святых – пытаются взглядами хозяина: что же такое с ним могло случиться вдруг? – на Них и взгляда не метнул – будто и нет Их – кто-то будто *вынес*.

Может быть. Утратил.

Весь в своё детство обратился он, Григорий Павлович, и пол не видит.

Вот, рано-рано утром, на Покров, будит отец его и говорит:

– Вставай, Гриша. Пойдём с тобой сегодня на охоту.

– Праздник же, – говорит мать. – Какая вам ещё охота? Не на добро.

– Ну а мы так, – говорит отец, – как на прогулку. А после – в церкву.

Вскакивает Гриша с постели. Одевается скоро, умывается.

– Надо позавтракать, не на голодный же жалуток. Завтракает Гриша.

– Не торопись, не гневи Боженку, – говорит Грише мать, глядя его по голове, кивая на божницу. – А то ещё вдруг поперхнёшься.

Пошёл отец в кладовку – так только дверь туда скрипит – как стонет. Возвращается из кладовки, улыбаясь. А в руках у него ружьишко. Тридцать второго калибра. Почти как новое.

– Вот тебе, сынок, подарок... Ко дню рождения. Ты наш старшенький.

Сам не свой от радости Гриша: не ожидал такого он подарка.

Мать стоит рядом. Подбородок рукой прикрыла. На глазах у неё слёзы. Уголком платка их смахивает.

– Ну а рука-то?

– Приловчится.

Вышли из дома. Ни свет ни заря. Ночи больше, чем утра. А ещё больше – звёзд на небе – то чёрное.

– Звёзды, – сказал отец.

– Звёзды, – повторил Гриша. Повторять за отцом – нравится. Не говорит он, отец, глупостей.

– Безлунье, – говорит отец.

– Безлунье, – повторяет Гриша.

Проводила их мать, благословив и перекрестив в дорогу:

– Ступайте. С Богом.

– С Богом оставайтесь.

Пошли, чтобы никто их не увидел, задами, – от сглазу.

Собака с ними – Соболь.

– Тятя, куда пойдём?

– Да тут вот, близко... На Красавицу.

Убежал вперёд Соболь – чтобы не мешать: толковый. Проведать только прибегает. Шерсть у него на загривке – всегда дыбом. И тогда – когда играет. Но старый – устал. Лежит больше в ограде. Бежит теперь вот только – на охоту.

Сразу в ельнике попались рябчики. Выводок. Штук сорок. Клевали костянику. Шумно разлетелись, расселись кто где. Фьюрикают. Соболь на них не лает – знает дело.

– Ну, – говорит отец. А сам стоит, не шевелится.

Разомкнул ружьё Гриша, вставил патрон. Пальцы не повинуются. Но всё же справился.

Взвёл курок. Собачку чувствует, та – его палец.

Ружьё вскинул, стал, выглядев на берёзке одного рябчика, в него целиться.

– Долго не меться. Но не торопись, – шепчет ему отец. – И прижимай приклад к плечу плотнее.

Выстрелил Гриша. Сильно ударило его. Оглох – не слышит. Смотрит и ничего не видит – дымом вокруг всё затянуло.

В нос – крепкий запах: порох дымный.

И тятя – тот вроде слева был, а тут вдруг оказался справа и смотрит, кажется, в другую сторону – так его, Гришу, развернуло.

– Ого, – говорит.

– Ну так, – говорит отец. – Выстрел.

Опомнился Гриша. Побежал.

Отыскал в траве убитую им птицу. Тёплая ещё. И радостно, и жалко. Стал было снова заряжать ружьё.

– Пока не надо. Добыл одного, сынок, других не стреляй. Нам хватит.

В вещмешке птица, за спиной, – довлеет.

– Был раньше большим рябчик. Из птиц-то – самым, поди, крупным. Шёл наш Господь однажды по Раю, – говорит отец. – Вспорхнул рябчик и испугал Его. Разгневался Бог и сказал: «Не повторялось это чтобы, будешь отныне маленьким». И разделил мясо рябчика по всем птицам. Теперь в любой есть белого маленечко – оно от рябчика.

– От ря-ябчика.

Дошли они тогда до Красавицы. Красавица.

– А почему, тятя, Красавица?

– А ты смотри, – ответил тятя. – Какая красота тут.

– Да лес и сопки – чё особенного? Везде так.

– Да всё особенное – каждый кустик. Бог насадил и так украсил. Ты посмотри, деревья-то какие, взглядишь-ка в каждое, и как по склонам-то ютятся. И место складное какое – как на картине. Живое только. Божий огород. На чё и нам бы, человеку-то, равняться – на природу.

Подстрелили они тогда ещё двух глухарей – одного на гальке, другого на сосне. Больше охотиться не стали.

– Гости придут, найдём теперь, чем их попотчевать. А то идь...

– А копалуху – чё её не стрелил, тятя? Сидела близко, – уже на обратном пути спросил Гриша.

– А копалуху лучше уж не бить... как-то стараться надо, себя сдёрживать, – ответил ему отец. – Она потом на яйца сядет, потомство даст...

Сорвалась с лиственки копалуха – громко полетела.

– На то она, родной, и – самка. И деревцо, сынок, без надобности не заламывай, если уж что приметить только. Но. А то, идёшь, смотрю, ломаешь.

– Да я на прутик... постегать.

– Хоть и на прутик. Лучше уж сук вон палый подбери, и им тогда уж... постегать-то.

- Ладно.
- Да и стегать к чему?
- Не буду больше, тятя.

Вернулись домой.

Мать и нарадоваться не может – всё улыбается. Дичь-то, уселась у печи, теребит: ну и охотники, мол, ну, добытчики.

Пьют за столом чаёк они, добытчики, уже поели.

Гордость.

В церковь пошли потом. *На службу.*

Какое-то время спустя, ушёл отец, почти уже сорокалетним, на фронт, от брони отказавшись. Принесли вскоре на него *похоронку* – лучше бы сразу всех их, Белозёровых, и застрелили. Убит в бою, дескать, под Мценском.

Где этот Мценск-то?

Большой печали в жизни Гриша не испытывал – до онемения: несколько лет потом не разговаривал – как будто не с кем было. Да и не о чём. Не возникали в нём слова.

Мать, оставшись солдаткой, а потом и овдовев, чтобы спасти их, пятерых детей, от голодной кончины, сама себя лишала куска хлеба, высохла, как лучина, и померла от истощения.

Больше наверное – от горя.

Уже и плакать не могла. Глаза закрыли ей сухими. Он закрывал – рукой здоровой.

Столпились все возле неё.

– Будь им отцом.

И был отцом им.

Теперь кто где – *разъехались по свету.*

Каждый год осенью собирался Гриша, сначала с отцом, а потом уже и один, потом уже и не Гриша, а Григорий Павлович, по прозвищу Сухорукий, когда-

то учитель труда в яланской средней школе, на охоту. Шёл на Красавицу – излюбленное место – не куда-то: мог в темноте туда дойти, а также и вернуться.

Намерился он, Григорий Павлович, и нынче. Всю зиму готовился. Ждал – отрывал листки у численника – легче. Дождался сезона. Пошёл попромышлять. Рябчиков. Самцов. Зоб у них чёрный. Разглядеть-то. Да заодно и на Бобровку заглянуть – начал уже спускаться хариус, ещё не начал ли? – проверить.

Дошёл.

И сердцем обомлел:

Её, Красавицы, не стало, её как ветром всю снесло. Землю-то там – раздели будто.

– Поизголялись и насильничали.

Вернулся домой.

Сел на скамейку.

Сидит.

Дома ли?

Себя не узнаёт – так никогда себя не чувствовал.

Вьлетела из часов кукушка. Назвала время:

Вечер.

– Уже?.. Или кукушка очумела?

Встал с табуретки Григорий Павлович. Прошёл к кровати, аккуратно застеленной суконным серым одеялом. Лёг на неё, не раздеваясь.

В потолок смотрит. На матицу. В которую кольцо вбито. На кольце этом зыбка когда-то висела. Все они, дети Павла Ивановича и Лукерьи Игнатьевны Белозёровых, из казаков, в ней лежали. Многих из них на фронте вышибло – мужиков-то. У одного из них медаль была – за взятие Праги. Где-то.

И к нему, Григорию Павловичу, пришла недавно. «За отвагу». Но не ему, конечно.

– Тяте.

Тот её где-то заслужил. Ну, раз погиб-то. Так всё.

Кольцо есть. А люльку-то никто теперь уж не повесит – кого укачивать в ней? Память?

Так укачалась уж – что и подташнивает.

– Лучше бы я до этого не дожил, – вдруг произнёс Григорий Павлович. – Как Вася вон, ровесник мой – тот уж не дышит – молодчина.

Перестал видеть матицу Григорий Павлович – слеза мешает, накатившись. Трудно глядеть через слезу.

В груди болит, щемит в ней, давит.

– Я в копалуху, тятя, так и не стрелял, – сказал Григорий Павлович. – Хотя и много раньше видел их... Теперь уж нет их... нет Красавицы.

– Хоть, Григорий, Римское царство и пало, – ответил ему тятя, – но много ещё веры и добра в роде человеческом. И ходит по земле ещё Слово Божие – убеждает.

– Да уж, – впервые возразил отцу Григорий.

Птица какая-то ударилась в окно.

Ушиблась.

Её уже не слышал Сухорукий – слух у него вдруг обострился.

4

БРОДНИКОВА ПРАСКОВЬЯ ЕГОРОВНА

– Ой-ой-ой-ой.

Так у неё болят ноги. Так их *разламывают*. В голених. И так ещё:

– Тошнёхоньки мои... И почему такие мне мучения? На самой старосте-то лет. Давно пора уж помереть... всё ещё ползаю пошто-то. Господи, Господи... ох, милосердый.

Не может сидеть Прасковья Егоровна. Не может лежать. И на одном месте стоять не может долго.

И жить ей тяжело – разучилась.

Взявшись за дужку, поднялась с кровати. Пошла по избе. Возле окошка снова оказалась.

Прямая. Как отвес. Когда ляжет – как уровень.

– Идёт, ли чё ли, кто ко мне?.. Маячит... Девка-то эта... Нюрина-то дочь... Как её, всё и забываю... Катерина. Дак поздно ей. Завтра должна же заявиться. Да показалось. Воды и дров в избу натаскат. Хлеба, скажу, чтоб много не брала. Буханки хватит. Чё-то так стали печь – черствет-то скоро. День полежал – уж заскорузлый.

Пошла к кровати.

– Ой-ой-ой-ой.

На кровать села. Носок с ноги сняла. Взяла с табуретки лопух. Обернула им ногу. Кость сплошную, а не ногу. Перевязала шнурком, чтобы не свалился. Сверху носок опять надела.

Посидела. Повздыхала. Привыкла. Как по-другому жить, уж и забыла.

– Ой-ой-ой-ой. За что мне это? Да боль-то – тычет прямо в сердце. Помилуй, Господи, дай помереть... А то забыл уж... отдалился. Я ж иди на месте остаюсь.

Поднялась. Пошла.

Опять возле окошка. И как к нему всё попадает?

– Не Александра ли идёт?.. Его походка-то, однако.

Пришёл муж её Александр с фронта в сорок третьем, летом. Без левой руки. А зимой, в декабре того же года, простудился в ямщине, слёг и помер в мае. Похоронили. В избе лежать не оставили. В избе-то пусто стало без него, вдовой – переживала.

– И чё с войны-то возвращался?.. Раз ненадолго сюда прибыл... Да нет, не он... Опять, однако, помешалось.

Пошла от окна. Добралась до кровати. Села.

Сняла носок с другой ноги, обернула её лопухом, шнурком обвязала, носок обратно натянула.

– О-ой-ой-ой. А эта, левая-то, пуш-шэ. Как кто иглами её там будто колет, вредный.

Посидела.

Полежала.

Поднялась.

В окно-то носом чуть не ткнулась. Так и стекло бы не разбила.

– Не Коськантин ли?.. Показалось. А он всегда так рысью к дому подбегал, всё как куда-то торопился. Пспел, милый, не опоздал.

Был у неё сын. Константин. Утонул в Кеми в половодье, семнадцатилетним пареньком, – спасал девчонку малолетних. Двух из воды вытащил и в лодку как-то затолкал, за третьей стал нырять, так и не вынырнул.

– Всё иш-шо иш-шэт.

Направилась на кухню.

Достала из стола корочку хлеба. Сосёт её. Вкусная.

К окошку подалась.

– Не Лиза ли?

Дочь у неё была. Вышла в пятьдесят третьем году замуж за пролётного офицера, уехала с ним на Украину. И с концами. Но поначалу письма хоть писала.

– После писать, ли чё ли, разучилась... Да нет, какая же там Лиза... Собака, может?.. Или – лошадь?.. Не Катерина ли – куда направилась?

Пошла в горенку. Опустилась на колени перед божницей. Помнит на ней все иконы. Глаза направила – один на Богоматерь, другой – на Параскеву. Сердцем – к обеим.

Шёпотом – не для кого-то.

Обо всех помолилась. И о Плетикове – как о живом – ей он племянником доводится. Ещё не знает, что тот помер.

Сердце разгладилось – конечно – от молитвы.

Кое-как поднялась.

– Ой-ой-ой-ой. Тошнёхоньки мои. Сколько же лет-то мне?.. Да уж как много... Как дереву. И спиливать пора... Ну раз не падаю сама-то.

Опять в окне. Стекло чуть носом не проткнула. Беды бы было.

Вглядывается – как будто видит.

Видит, наверное, коль смотрит.

– Не смерть ли вон ко мне идёт? Она, однако.

Пошла к кровати.

– Или опять почудилось, старухе.

Легла. Ноги выгнула.

– Да та такая – трудно обознаться.

Шумно дышит – чтобы себя узнавать.

Или – войдёт кто – чтоб услышал.

Открыла глаза.

– Не померла ещё. Помилуй, Господи.

Поднялась. К окошку подалась.

– Ну, чё, живой в могилу не ляжешь.

Задела носом стекло. Холодное – чувствует.

– Доживать надо... уж как-то.

Смотрит. Пристально.

– Кто это в светлом-то там, Господи?

Пошла к кровати.

На кровать села. В стену уставилась. Стена – знакомая до точки.

Помнит, что там висят портреты. Её детей. И её мужа. В памяти – как на дереве – вырезаны.

Слушает:

Кто-то войти к ней в избу будто должен.

– Боже, превыше сил моих такое одиночество.

Вздохнула сердцем – помолилась.

Ещё к живой, пришёл к ней вечер.

5

ВАСИЛИЙ СЕРАФИМОВИЧ ПЛЕТИКОВ

На позапрошлую ночь, плотно и сытно поужинав и просмотрев по телевизору с начала до конца концерт какой-то *заунывный, сифоний*, лёг спать Василий Серафимович. Утром рано, в пять часов, ещё и петух не прокукарекал, проснулся. Встал, как штык, помылся скоро, *по-суворовски*, попил аппетитно чаю шиповного с *брусничными* шаньгами, только что настряпанными *специально для яво* женой его *Ляксеевой*, спать так ещё и не ложившейся. И хлопотал после весь день по хозяйству расторопно – *как заведённый*. А вечером, изрядно потрудившись, направился, *со спокойной, шолковой, совестью*, к другу своему закадычному, как все зовут его в Ялани, Винокуру – отметить праздник *наступающ-ший*.

Так это было.

Теперь иначе:

Сутки уже доходят, не просыпается никак Василий Серафимович – не хочет. Хоть и заголосит вдруг рядом женщина, запричитает – даже на это несмотря. Не поднимается, как Лазарь.

Так не похоже на него.

Стремительно пробившись сквозь мелкий и густой, хоть и прорежаемый каждое лето ненасытными и непоседливыми бобрами, молодой тальник, прямками – так, заслышав человека или собак, пробегает по лесной чаще лось или лосиха, – к устью Бобровки вышла Катерина. Близко отсюда – по тропинке – до моста. Туда торопится. Сама не знает – почему. Кто-то несёт её – как будто. Тут и без спешки ходу минут десять. А она ног не чувствует под собой.

Быстро прошла тропинкой вдоль Бобровки, но на дорогу не выходит. Под большой старой елью, наклонившейся к речке, встала. Смотрит, отодвигая ветвь колючую рукой.

Кто-то бельё полощет на Бобровке. Двое. Войдя по колено в воду, полощет женщина. Мужчина стоит на берегу, на самой кромке. Примет он от неё выполосканную тряпицу, положит её в ванну, устроенную на тележке, возьмёт с травы другую и подаст её женщине – так это происходит.

«Скорей всего, что кержаки... Мерзляковы... дядя Артамон с тёткой Устиньей... Всегда на речку чуть не ночью ездят почему-то».

Шелестит речка шиверой. Камешник на дне различим – вода такая в ней прозрачная. Луна насквозь её просвечивает, словно воздух. Гольяны, в приплёске сбившись плотно в руно, из мелкой ямки на луну плятятся. Больших рыбин, хариуса, не видать – на глубине да под коряжинами дремлют.

«У тех глаза какие-то... кружочек с треугольником – такие. Как будто срезка – куда плыть. Стёпка показывал – глядела. Ловко он ловит их... умеет... Или –

умел: забросил и рыбалку. Уже и рыбу – ту жалеет... Как его сильно, значит, садануло там. Раньше же не был он таким... какой-то... это... кто бы знал».

Волосы завязала на затылке, чтобы – идёт-то быстро... –

«...Не трепались... А то – как ведьма – раскосматилась... бегу тут».

И где за сук-то вдруг не зацепиться б ими.

«После распутывайся... мучься».

Лифчик и кофту застегнула.

«И правда, пахнет молоком... Ох и дурная».

Выполоскали бельё. На берегу ещё посушили. Ухватившись за оглобли, впрягся мужчина в тележку. Согнулся. Потянул. Как коренная. Заскрежетали по гальке колёса тележки – кому-то звук такой противен. Идёт женщина сзади. Молчат. За жизнь совместную наговорились.

Как гробик – ванна на тележке, – прикрытый белым.

«Точно – они: Артамон Варфоломеич и Устинья Елиферьевна. Больше и некому. Они обычно. Чтобы никто не видел их, наверное. Идёт – согнулся. И – она... такая круглая – как шарик... Ещё одёжки надевала».

Блестят в лунном свете железные колёса – не двигаются будто; мигают спицы. Луна на них, мелькающих, не может закрепиться, и им от этого веселье.

На асфальт выкатил мужчина тележку. Чуть вроде выравнился – стал прямее. Дальше поехали, без передышки.

Шуршат колёса по асфальту – кого-то, может быть, и этот звук коробит.

Скрылись за поворотом. Чуть слышать.

Нагнулась к речке Катерина. Зачерпнула в горсть воды. Вода студёная – как лёд. Ею себе в лицо плеснула.

«Ох и дурная, Катька, ты... ох и дурная».

Не пошла сразу домой. Завернула к матери.

Полы хотела у неё помыть. И обещала.

Вошла. Сказалась.

Но та, мать, Марина Николаевна, *полуслепая*, замахав на дочь руками, ей запретила строго-настрого: девка, какие, мол, полы – в такой-то праздник!.. Дескать, уж завтра приходи.

– Завтра, так завтра. Ладно, мама.

Расспросила Марина Николаевна о Степане и о внуке. О том, когда картошку думают начать копать. Нынче же все, мол, как с ума вдруг посходили: раным-рано ещё, уж и копают. А раньше – всё после десятого. Теперь, мол, так – всё *кверхтормашками*. А кто-то будто уж и выкопал, *совсем рехнулись*.

– Числа с десятого, – ответила.

– Дак и нормально.

Взяла у матери булку хлеба в долг – дома кончился.

Из избы вышла.

С крыльца смотрит:

Луна вползает на надвратницу.

С крыльца спустилась Катерина. Помедлив, вышла из ограды.

Сразу *к себе* теперь направилась. На Колесниковскую улицу, что за Бобровкой. Гора – на ней и улица расположилась – там уж совсем под самым небом.

Всё здесь знакомо и на сто рядов исхожено.

И не хотела бы, но вспоминается.

Как бегала она по этим стёжкам-дорожкам из *Ялани в Колесникову* – к Стёпке. Ноги несли.

«Шальная, и шальная».

Как он навстречу выходил. Как провожал после до дома.

И как расстаться было трудно.

«Глянулся».

Какой он был всегда хороший и весёлый. И как гонял на мотоцикле.

«Сдрешной».

Как дрался он из-за неё с ребятами.

«А приставали потому что».

Как никого и ничего он не боялся. Пошла бы с ним тогда и на край света.

«Он и теперь такой, конечно... только что это-то... после ранения... Как бы Васюшка – тот не напугался».

Как в последнюю ночь перед тем, как уйти ему в армию, они всю ночь просидели на кемском яру, около кедра.

Как утром плакала она. И как потом в Ялани стало пусто.

Как пришёл он, *Стёпка*, с армии. И зашёл сразу не домой, а к её матери. Заплакала та, его увидев, но не сказала ничего, только: «Живой. Вернулся, слава Богу». И не хотел с ней после долго разговаривать.

«Со мною».

А потом пришёл и предложил ей выйти за него замуж. А у неё уже и *пузо на нос смотрит, и кто-то ножками уже колотится*.

«Васюша».

И мать сказала: «Выходи».

Как они после поженились.

Не сразу спать в одной постели стали.

«Спали на разницу... Потом уж... как-то получилось».

Не долго и в одной они теснились.

«Так по ночам вдруг закричит... как сумашедший».

Подошла Катерина к дому. Постояла возле.

«Ещё и это-то... не может... но он такой... отзывчивый какой-то».

Берёза в палисаднике. Тихая – как будто ждёт кого-то – ветра.

На мураве уже лист палый лежит – пока реденько. Не втоптан.

Открыла ворота – не скрипят: петли Степан недавно смазал, – вступила в ограду.

Побыла около крыльца. Сколько-то. Мягко стоит-ся на мураве.

Тело её – а как чужое.

«И сердце чё-то...». То – своё.

Щенок скулит в будке – что-то ему, наверное, приснилось.

«Или по Стёпке стосковался».

Кругом дома скворечники, которые он, *Стёпка*, когда они перебрались сюда жить, в *Иванихинскую избу*, наделал и наставил. Намастерил. Ладные. Как игрушки. Каждый год кедровые ветки на них обновляет. Одна из них луну сейчас закрыла. Высоко та поднялась – в ограду смотрит, тень от ворот на землю положив: то, что в тени, луна не видит; в лучах её мурава нежится.

Во всём доме горит свет – как вспыхнул.

Вошла в сени Катерина – как омертвела.

Темно. И пахнет крепко затхлым.

«Стёпа сказал, что сени будет переделывать... Полы тут сгнили».

Взялась за дверную скобу – холодная.

А дверь открыть – и духу не хватает – ладонь немеет.

Что говорится в доме, слышит.

И слышит то:

Как сердце в груди бьётся – места себе там не находит.

III

7

СТЕПАН ДОСИФЕЕВ

Прихватив тряпкой, Степан снял крышку с кастрюли, ткнул вилкой в картошину.

– Ага. Ну, скоро сварится, Васюха. Тебе-то ладно, ты уж сытый. Вон сколько смеси этой съел. С ложки и я попробовал – вкуснятина. Тебе-то – ладно, ты накормленный. И Борзья – тоже не обижен... носил ему, наелся каши... А ты ещё и титьку пососёшь... проснёшься ночью.

Кот вокруг ног у него вышагивает. Трётся. Рыжий. Подхалимый.

– Хвост тебе дал селёдочный... Не хочешь? Зажрался, значит. Промышляй... Мышей в ограде вон – как на току.

Закрыв кастрюлю, положил вилку на стол.

Из кухни вышел.

– А сколько время?.. Скоро девять.

Часы на стене – *ходики*. Ходят.

Сидит на кровати среди подушек ребёнок, колотит пластмассовым разноцветным попугаем себе по коленям. Улыбается.

– Гу-гу, гы-гы, – говорит. И: – Ма-ма, па-па, – продолжает.

Сел Степан рядом, погладил ребёнка по голове и говорит:

– Папа твой здесь, никуда, слава Богу, не запропастился, никуда, Васька, не делся. А мама – придёт скоро. Она – у бабушки. Полы помоеет в избах... и вернётся.

– Гы-гы, гу-гу, – говорит ребёнок.

– А ты как думал, – говорит Степан. И говорит: Где-то сетушка, на амбаре, у твоей бабушки, валялась. В Ялани. Надо достать её и починить. Потом – поставим. Ты ж рыбу любишь... Сеть-то не бабушкина – дедова. Тот всё рыбачил. Брал и меня с собой частенько. Хороший был у тебя дедушка... какой уж дедушка... прадедушка. До ста немного не дожил.

– Ма-ма, па-па.

– Ты по подушке бей – не по ногам, ногам-то больно.

– Ды-ды.

– Чё так смеёшься, казачонок?.. Мама у нас хорошая, Васюха. Красивая. Добрая. Постарет, будет нужна только нам с тобой, а больше... никому. Кому же?.. Жить-то со старыми – попробуй-ка.

– Па-па, па-па.

– Да, Васюха. Кто же друтой-то... Кто?.. Это – и ты-то если старьей... И то – не знаю... От их и пахнет... и капризные... Это уж так... любить их шибко надо. А про себя забыть немного следует... тогда – уж как-то.

Встал Степан с кровати. Пошёл на кухню.

– Себя-то меньше подмечаешь. В себе-то всё вроде нормально...

Картошку проверил на готовность. Слил воду. Несёт кастрюлю, замотанную в белое вафельное полотенце, к кровати. Поставил её в угол постели, накрыл подушкой.

– Мама придёт – чтобы горячая ещё была... картошка. Селёдка есть у нас – мы и поужинам. Ты-то вон... сытый. Сытый, Васька?

– Гы-гы, гу-гу.

– Ну дак, конечно. Столько вон стрескать... Вырастешь, милый, пойдём с тобой на рыбалку, ш-шуку поймам – ого какую. Или – тайменя... ещё лучше. Тот-то уж, парень... это – рыба.

Взял с дужки кровати розовое махровое полотенце, вытер им рот ребёнку.

– Я и не вижу, что испачкался. Вишь, вон иконы-то... ещё от Иванихи... А мы сидим тут, с грязной рожей.

Колотит Васюха *попугаем* по подушке.

– Вот так-то правильно... не по ногам же.

– Гы-гы, га-га.

Пошёл к двери. Покурил, в приоткрытую. Закрыл дверь.

– Зимой нам холодно – дверь обошью. Войлок... у матери был где-то припасён. Моль, может, только источила.

Пришёл, сел снова на кровать.

– У твоей бабушки, короче... Гы-гы, га-га... И я о том же. Брат бы приехал – матери помог бы, мне одному там с крышей не управиться – шифер подать да придержать бы... Ну, там жена – всему хозяин. Скажет ему: мол, не поедешь – и не послушатся, и не поедет. Ну... это как там... все мы разные. Я – без обиды. Просто... как-то...

Бросил Васюха попугая, трёт глаза себе обеими руками.

– Сразу и спать вон, вижу, захотел – поел-то плотно. Давай-ка спать. Давай-ка, милый.

Положил Степан ребёнка себе на колени. Тот не противится, не плачет.

– Па-па, па-па.

– Да, да, сынок, давай-ка спать. Бежит серенький волчок, тебя хватит за бочок... И самому бы не уснуть... То раньше мама... Ещё тебя вдруг испугаю. В башке моей теперь другая колыбельная... Тебе б её вовек не слышать.

– Ма-ма, ма-ма.

– Да, Васюха, да. Кто тебе скажет, ты не верь... Правда – не в слове, правда – в сердце. Спроси у баушки, та тебе скажет... А она, мама, у тебя красавица. Мама у тебя хорошая. Бесценная. Это ведь так пока... А после-то... Тело ведь не роднит... и не сближат. Душа роднит, душа сближат. С таким-то телом, как у мамы, изжить нескоро – то, что требует... Как растопить дрова сырые. Если растопишь уж – надолго жару.

– Папа, папа, – говорит ребёнок.

– Да, да, Васюха, – говорит Степан. – Да, да, сыночек.

– Мама, мама, – говорит ребёнок.

– Да, да... и мама.

– Гу-гу.

– Мама твоя вернётся скоро. Полы помоем, и назад. Она хорошая у нас. Это вот я... я такой трудный...

– У-у.

– Я как к ней лягу, парень, спать, так почему-то всё и вижу... Он, Витя Чесноков, из Боготола... шибко сшибал на нашего учителя... этот – по физике который... ну дак – высовываются Витя в выбитое взрывом, без рам, без косяков, окно, а ему выстрелом из пулемёта разносит голову, как тыкву, и мне глаза его мозгами забивают... Во сне-то всё и протираю – так залепило... до сих пор... Ты понимаешь?

Молчит Васюха – понимает.

– А мама наша – молодая и красивая... какой ж понравится такое... Скажи, Васюха? Себя поставь-ка в это положение, на её месте-то побудь... В мире таких – раз и обчёлся... Это с такой-то красотой...

Спит Васюха.

– Ну, так оно... Да и Флаконт вон... Лес вырубает?... Вырубает... Человека не будет, и лес нарастёт. Природа-то – она своё возьмёт. Бох поругаем не бывает... как баб Дуся говорит. Кто-то пришёл?... В сенях-то шорох.

Глядит на дверь – та сильно привлекает. Как что-то... Как киноэкран.

Открылась дверь – не распахнулась.

Она вошла.

В руке её буханка.

В глазах её...

Глядит на мужа.

На сына взгляд перевела.

Портрет так смотрит со стены.

Как лунатик – поворачивается и уходит на кухню – в прихожей будто опустело.

Возвращается. Без хлеба.

Стоит. Смотрит. Не моргает.

Руки вдоль тела – словно приросли.

– Ты, Катя, чё?.. Чё там стоишь-то?

Подходит Катя к кровати – как к пропасти, к обрыву.

Стоит. Рослая. Не по избёнке. Потолок низкий – как небо в ненастье.

– Катя, ты чё?.. Чё-то случилось?

Падает в ноги Степану Катерина и, глухо зарыдав, целует ему ноги.

– Катенька, Катя, да ты чё? Сына разбудишь. Катя, чё ты?

Молчит Катя, трясётся телом. Как земля. Содрогаётся.

– Я Ваську отнесу в его кроватку, – говорит Степан. – Дай мне подняться. Отнимись.

Не отпускает его ноги Катерина – играет будто. Но по глазам её – так не подумаешь. Как заболела. Или – умерла.

Переложил Степан Ваську с колен на кровать. Гладит жену по голове.

Волосы у той разметались – как от ветра.

Взял Степан жену за плечи.

– Ну, поднимайся.

Встала Катерина.

Смотрит.

На мужа.

– Я схожу в баню, сполоснусь, – сказала так – как никому.

Ушла.

Долго нет её – заждался.

Спит Васюха – в кроватке. Луна – по носу его гладит.

И тут – на улице – луна.

Вышла Катерина из бани.

Вошла в избу. Иначе, чем раньше – как в свою.

Снаружи можно увидеть:

Погасли окна.

Сразу на одном из них луна разместилась – её как будто не впускают, – но она стёкол не ломает.

Со стороны можно услышать:

Не кричал этой ночью в доме никто, никто не плакал.

Была такая тишина – как на Красавице когда-то. Так замирает полнота. Пустое так не затихает.

Ни слов, ни *циферь*.

Бог нам в помощь.

*Ночь, ближе к утру, пасмурная – дождь намечается,
и лил до этого всё лето*

Только в одном доме пылают окна.

Лежит в нём Василий Серафимович. Вчера ещё – яланский. Теперь – ветхий. Уничижённый. Бездыханный. Сущий уже во гробу, но не на глиняной пока ещё займке – не добрался, никто его не подторопит.

В доме, в котором родился и прожил. Прибывать будут завтра – скоро портится. Лежит – приобретает. Внимательный – познаёт. Никто к нему не обратился, не воззвал: «Старик, встань». И не встаёт. Тлеет, чтобы когда-нибудь в нетление облечься. Когда кости его взойдут, как трава, возведётся на них плоть и прострётся по ней кожа. После придёт от четырёх ветров дух и одушевит – обещано. Как древо жизни, станут дни его. Пока лежит. Свидетельствует. Зовёт нас, живых ещё, чтобы пришли взглянуть, как красота его телесная чернеет. Придут многие. Да не все. Кто-то по уважительной причине. Учитель физики, Иван Сергеевич, поедет в школу, в Полоусно. Хотя и не очень он там завтра будет нужен – так, может, кто-то полагает. Линейка в школе – дело важное. Не то, что смерть. Та – лишь тогда, когда приходит за тобой. Или за кем-то очень тебе близким.

Сидит на стуле около гроба овдовевшая. Имя её Таисья Алексеевна Плетикова, в девках Белозёрова. Яланская. Чалдонка.

Теперь:

В чёрном. Грузная. Скорбит. Никак узнать не может мужа. Замуж-то выходила вроде за другого.

По дому смерть-хозяйка ходит – значительная, ко всем присматривается – как к своим.

Ноль-два. Два-ноль. Два, или – несколько...

* * *

Пьеса заканчивается. Но все остаются на своих местах. Зрители вяло, приличия ради, требуют автора – вроде положено – или поплодировать ему, или освятить.

Автор выходит, неловкий, неуклюжий, с любовью низко кланяется актёрам, давно ему, похоже, знакомым, отдельно и ещё более почтительно – исполнителю главной роли, лежащему в домовине. Затем поворачивается застенчиво к публике и произносит в зал косноязыко:

– Помолитесь за нас, немощных и грешных, за живых ещё и отошедших.

– Господи! Господи! Господи! Господи! – кто-то из зрителей, наверное, так помолился.

*Санкт-Петербург
Рождественский пост, 2008*

ТАХА

(записовка в полутонах)

Памяти Виктора Карманова

Аспожинки.

Унылая пора! очей очарованье. Приятна мне твоя прощальная краса.

Увы, увы! и мы пристрастны. Привязан к миру я, словно язычник, на пуповине у него верчусь, болтаюсь, так что и голова иной раз даже кружится, как сильно. Но, по Григорию-то Богослову, «я – земля и потому привязан к земной жизни...». А что там у него дальше следует, пока, пожалуй, и не доскажу. Сейчас не вспомню.

Печаль небесная, сквозная, проникающая, её, как бабочку, сачком, ладошкой ли не поймаешь, щепоткою из воздуха не выхватишь, как паутину, в горсть не возьмёшь, в карман её не спрячешь, сердце снуёт в ней, словно ласточка перед отлётом над деревней; душа, как лист осиновый, трепещет, будто зовёт, зовёт её подспудно кто-то, она, сиротская, и откликается.

Или вот из другой уже, что называется, оперы: концерт № 3 из «Времён года» Антонио Вивальди – тот тоже, разумеется концерт, глянешь ли на притихший,

будто очарованный кетской богиней Бангсель, лес, на изнемогшую, припавшую на изгородь траву или на высоко-высоко развёрнутое над Сретенском голубое, с поволокой белой, небо, забредёшь рассеянно ли в огород, в котором, до треску размордев и оттопырив зелёные, хрусткие уши, в ожидании своей очереди, осталась сиротеть уже одна только капуста, или, зачем-то выйдя за ворота, встретишься вдруг с отчуждённым, как у утопленника, взглядом шляющейся без дела и без цели утрюмой собаки с неизвестной тебе и ею, может быть, самой уже забытой кличкой, всё-то нынче и припоминается; будто звучит, звучит, но без аллегро, лишь адажио, и не назойливо, не пристаёт, как иногда прилипнет к языку какой-нибудь худой мотивчик, никак не отплеваться от которого, а, совпадая ладно с состоянием, в котором ты находишься и пребывает окружающее, – так же уместно, как и стих А. С. Пушкина; часто на ум теперь – и не зову, сама как будто по себе – навевается из прошлого и девушка в венке из красно-жёлтых листьев, Артемида, зелёноглазая, в веснушках, стройная, как корабельный кедр, тихо придёт, побудет, плавная, как водоросль, и молчаливая – почти немая, и удалится своёвольно, не удержишь; да только к теме данной это не относится; хоть и пощипывает сердце, как от скрипки; ну, значит, к теме; имя её на небе звёздном каждой ночью выявляется: Арина – колко – хоть головы не поднимай; когда за тучами не видно звёзд, тогда как будто кто-то произносит... но тоже больно.

Осень уже нагрянула, с низовки заявила, как всегда, подкралась незаметно – всё ещё лето будто было, хотя уж небо ею и дышало, – но свою пегую кобылу оставила она, стреножив, в ельнике до срока. Пусть пока там, ненастная, и постоит. И чем дольше, тем

лучше. Мало кто по ней, поди, соскучился, земля разве да скворечники.

Сухо пока – и замечательно. Сверху сутки круглые не льёт, под ногами не чавкает вязко. А промозгло-то когда да грязь кругом, так скоро всем надоедает, собакам даже. День такой, другой, и все уже насытились и о ведро заскучали. Сейчас вот ладно, любодорого. Помощь, ниспосланная свыше. Гулко. Дали ясны и проглядны – манят, влекут, хоть бросай всё, собирайся и беги в них без оглядки. Дым их ничуть не заслоняет – курится столбами прямо в небо, там, в синеве, и пропадает, растворяясь, – в огородах уже выкопавшие и убравшие в погреба или подполья картошку хозяева жгут ботву, успевают, пока дождём не намочило, или слякотью, а то и снегом до весны её не завалило, чтобы потом ещё с ней не возиться, перед пахотой. Ожидательно-тревожно: душа, как стрекоза-егоза из басни, лето красное пропрыгала беспечно, теперь всё чаще к небу обращается, чтобы печаль на Господа возверзить – Господь всемилостив, сам бы ты только подоспел к одиннадцатому часу, где не замешкался бы. По ночам уже и подстывает, иной раз к рассвету и до минус трёх столбик термометра, проверишь, снизится – в лывах низинных и в бочках поточная вода замерзает, ощутимо, чуть не до звона, ядренеет воздух – выйдешь на улицу, вдохнёшь его в себя из полумрака глубоко, будто взволнован чем-то или озабочен, выдохнешь, взглядом читая что-то в звёздах, – густо отпыхнется, прочитанное паром затуманя. Не протопи печь в избе к ночи, поленись да пронадейся на авось, то к утру она, изба, так выстынет, ещё и ветер крепкий если «взъерится» да «дух жилой», мамины слова, из неё, из избы, выдует, что околеешь и под одеялом. Но к полудню отпускает и стоит до

вечера ещё чудно и ласково, почти по-летнему, солнце как может ещё греет, хоть и низкое уже, конечно, – почти скользом Сретенск опекает, а любит оно, солнце, Сретенск, иной день от восхода да заката глаз с него не сводит, а ему, Сретенску, это нравится. Ни утки, ни гуси с Севера пока что не летели, значит, тепло ещё подержится, подождут морозы лютые – колотуны, как говорят тут. Лиственный лес вокруг Сретенска оголился, стал прозористым, мало его здесь, поблизости, всё больше хвойный, а тот что летом, что зимою – одним цветом – подпирает небо над селом тёмно-зелёным чесноком острожным – бережёт Сретенск от сквозняков полуночных – устроено. Только и вздохнёшь, только и произнесёшь: Господи.

Я жду – томлюсь, как каша гречневая в горшке за заслонкой, – поджидаю из Елисейска своих брата Николая и сына Ивана, обыдёнкой у него, у дяди, отгос-тившего, которые давно уже, как мы заранее-то договаривались, должны были приехать на «Ниве» с Кармановым Виктором, старым приятелем моим и бывшим нашим односельчанином, имеющим теперь квартиру в городе, а живущим больше всё-таки в лесу, на пасеке, но что-то вот задерживаются. Не нравится мне это, нетерпелив я по натуре. Мы вчетвером намереваемся отправиться на Таху. А ждать и догонять хуже всего, как говорится. Оно и правда. Слоняюсь я по ограде неприкаянно, заглядываю то и дело, как наблюдающий, за ворота: не подъехали, не едут ли? Мама – в калошах, испачканных говном коровьим, в джинсах синих, в «модном», коротеньком сиреновом пуховике, отношении, наверное, в своё время и оставленном здесь одной из её внучек, в шерстяном платке коричневом, завязанном под морщинистым подбородком, глаза живые, молодые, – подоив во дворе корову, процедив

в подсобке молоко, выходит она оттуда в обнимку с полной трёхлитровой банкой, прикрытой марлей, – видит это – что я маюсь – и спрашивает меня:

– А ты червей-то накопал? Ещё нет ли?

– Накопал, – отвечаю.

– То-то. А хватит?

– Да как клевать будет... Поди, что хватит.

– Надо уж так, чтобы надёжно. Нехват – не брат, а злой прохожий... Всё к своей рыбалке подготовил? – интересуется она.

– Да вроде, – говорю.

– А то опять, как прошлый раз, уедете без вёсел... грести-то палками придётся.

– Нет, не уедем. Вон... возле лодки... положил уже их.

– Тогда сходи, я чё надумала, пока за мохом, – говорит мама, снимая около крыльца калоши. – То после, мало ли, и не удастся... Тут далеко ли... Скоро обернёшься... Бычок пришёл, а тёлки чё-то ещё нету, вот уж где блудня, так уж блудня, – беспокоится.

– Придёт, – успокаиваю я её. – Вся, – говорю, – в свою мамашу. И как так утелилась?

– Мамаша гольная, ещё и чище... Не загоняй её – и одичат... Сёдни ещё сама вот как-то заявила... Придётся-от, – говорит мама. – Придёт, конечно... Жива-то здорова, кто если не задрал, куда, пожалуй, денется... заявится, гулёна.

Мох ей нужен, чтобы положить его на зиму между оконными рамами. Мох туда лучше класть, чем вату или поролон. Естественно. Те впитывают в себя, как губка, влагу, сохраняя её долго, и подоконники от мокрети сгнивают быстро, коробится и шелушится на них краска, а мох – тот сушит: живёт-то долго, хоть и от земли вроде оторванный, отнятый, есть не ест, так

только пьёт – и осушает всё возле себя до хаянки он. Да и «с мохом-то оно красивше». Не поспоришь, и вправду, красиво. А если на мох ещё и гроздь рябины, спелые ягоды клюквы, шишки кедровые, еловые или сосновые пристроишь – так и вовсе одно загляденье. «Как-то к душе оно, когда с ним, с мохом-то», – говорит мама. «Это уж точно», – соглашаюсь.

– Ладно, – говорю. – Без меня не уедут. – И продолжаю, зная, что оставаться, пусть и ненадолго, ей тут одной совсем не хочется – «в таком доме без никого-то так тосклииво... как забытому»: – Ох, – говорю, – мама, не пошёл бы я на эту Таху, честное слово, ни за что бы, ни за какие деньги не пошёл бы, да ведь он, Витька, соблазнил, злодей такой он.

– Конечно, – говорит мама. – Знамо дело, кто из вас кого сомустил, кто закопёрщик-то, известно.

Смеёмся оба.

Маме восемьдесят пять лет. Исполнилось в августе. Она ещё «в можете» – «дёржит коровёнку», сама с ней управляется, возделывает свой «огородишко», на покос ещё со мной ходила этим летом – гребла, ворочала, «давая форы» своим внучкам, и помогала мне метать – «кака уж помощь тут, ну, на зароде, как кокушка, посидела, и делов-то» – серёдку топтала и вершила. Не пролёт зародишко, надеюсь, – получился. Мы здесь – помилуй, Господи, нас – гости, и к прискорбию. «Тянет» огромный дом она, после смерти отца, в одиночку. Отважная женщина, если ещё и вспомнить, что зима тут почти девять месяцев, а морозы в декабре и в январе и ниже шестидесяти градусов по Цельсию случаются. Ни к кому из нас – ни к сыновьям, ни к дочерям – даже пожить она не едет. И не уговорить. Тут, дескать, буду помирать – так, мол, дети, полагаю, если, конечно, Бог – Тот как иначе не

распорядится, но уж на то Его Святая воля. И на кого корову-то оставляю, мол!? А куриц?! Вот и гостим по очереди у неё, то кто-то из её детей, а то из внуков или внучек её кто-то. Но гость есть гость – дом не на гостях стоит, а до тех пор, пока хозяин его подпирает... и пока Бог, естественно, созыждет.

Подался я.

Солнце садится – красное, припухшее – не лопнуло бы, напоровшись на верхушки ёлок, чего доброго. Сочно обохрились поляны – словно обсыпаны кирпичной крошкой. Нежно вечереет. Подались вороны в ельник на ночёвку – молчком нынче что-то, в тугих раздумьях будто, – подозрительно. Монахи, не упрямились ещё, мирно, безмолвно хлопочут на своём поле с картошкой – уже маленько не у края – докапывают. Высокий деревянный крест в их, монастырском, огороде освещён со спины золотисто лучами закатными – к востоку смотрит. Крест из осины, свежий, лишь едва околennый, но не обструганный – и не бликует – вовнутрь себе как будто золотится. Монахи молодые, алолицые, как на подбор, все крупные, медлительные. «Мешкотные» – так говорят в Сретенске.

Я им, монахам, через изгородь:

– Бог в помощь, – говорю.

– Спаси Бог, – откликаются они разногласно. От земли разогнулись. Стоят. Одеты кто во что горазд. Кто в кроссовках, кто в сапогах резиновых, кто в перчатках грязных, кто без них. Лбы и шеи в красных крапинах – мошка наела, вовсе уж к вечеру-то злая. Воловые и волоокые. И бороды у них, у монахов, на солнце рыжевеют – но не от зарева как будто, а от вечности – тысячелетие какое, забываешь.

Помолились бы, думаю, обо мне суетном. Пожалуй, помолились. Устроен мир Твой, Господи, устро-

ен: есть кому о ком попечься; а обо мне когда – уж вовсе радостно.

Болото рядом, чуть – через пихтач – не на виду у Сретенска. Клюквенное. Карликовые на нём берёзки, лиственники и сосенки – впроредь. Как в тундре. Корявые. Несколько кедров, тоже не шибко стройных, не могучих. Слетают, меня заслышав, громко рябчики – черёмуху на рёлке обклёвывали. Далеко не уносятся, садятся тут же, смотрят в мою сторону со сковывающим их любопытством; большой табун – курочек сорок; слепнут они в сумерки – на звук плятятся. Ружьё с собой теперь я не ношу, убивать жалко стало. В прошлом году двух подстрелил, домой принёс, отдал их маме. Села та их теревить возле печки. «Это последний раз, охотиться не буду больше. Жалко», – сказал я ей. «Кого жалко?» – спросила она. «Да их, хоть этих рябчиков», – ответил я. «Ну и нашёл, кого жалеть, – сказала, вздохнув, мама. – Так Бог судил. Для чего вот и плодятся. Не ты, другой убьёт. Не человек, так птица хищная или зверок какой задавит. Мир стоит, милый, на этом. Чё их жалеть, зло разве в этом?» Да, может быть, подумал я, но пусть другой убьёт, только не я. И вот, на днях тут, вычитал я у Блаженного Августина: «Некоторые стараются распространить эту заповедь («не убий») даже на животных, считая непозволительным убивать никого из них. Но в таком случае, почему не распространять её и на травы, и на всё, что только питается и произрастает из земли?.. Неужели же, слыша заповедь “не убий”, мы станем считать преступлением выкорчёвывание куста и согласимся с заблуждениями манихеев?» И Бог ведь Ною завещал. «Всё движущееся, что живёт, будет вам в пищу; как зелень травную даю вам всё». И Моисею это подтвердил. Уж не

впадаю ли я в ересь? А долго ли, помилуй, Господи. Мирская мудрость – буйство перед Богом.

Надрал я мху – зелёно-бело-жёлто-розовый – легко с землёй тот расстаётся, будто с опостылевшей чужбиной, и та, земля, о нём как будто не жалеет, от себя спокойно отпускает, – наполнил им, мокрым, плотно холщовый мешок, домой направился – влажнит мешок мне спину стыло – не застудить бы, думаю, то вдруг прихватит на рыбалке поясницу. Из пихтача ещё не вышел, слышу, машина сигналист – громко и протяжно – звук разбегается по околотку беспрепятственно, единолично – село притихло в предвечерии. Уже смеркается, но вижу, стоит возле нашего дома оранжевая, как мандарин, «Нива». Меня из леса вызывают. Тут я. Хоть и нагруженный, но скоро добежал – ещё бы.

* * *

Лодку мою, двухместную, «резинку» – весь день, туго накачанная, на сквозняке она в ограде просыхала, – сдули, скрутили, в рюкзак её упаковали, положили к ней короткие весёлки, самодельные, удобные для сплава по быстринам, котелки – один под суп, другой под чай – поставили в машину. Банки с червями проверили, все снасти просмотрели – что основное – ничего как будто не забыли. Собрались. На крыльце рядком уселись – помолчать-то на дорожку – так у нас водится извеку. Мы – я, Николай, брат мой родной, и Виктор, общий наш приятель, – возбуждены заметно – как собаки промысловые перед охотой. Сын мой Иван, в отличие от нас, восторгов особых не проявляет, вряд ли их и испытывает – не очень-то ему, понимаю, хочется тащиться на какую-то там Таху,

речку таёжную, глухую, он не рыбак, совсем уж «питерский» – ему тут «дико» – без асфальту; к бабушке только прикипелся. Просто моей, отцовской, воле покоряется: сказал ему: пойдём – он и послушался. Не пристрастить – о чём и не мечтаю даже, – хоть показать ему природу нашу, ещё, слава Богу, пока «дикую», намерен, когда ещё он побывает тут, и побывает ли? Кому и нет, а мне печально.

– Ну, чё, ребята, трогать надо, – встав и отряхнув рукой сзади штаны машинально, говорит Виктор. – Ночь не поезд – не задержится. А дорога там – не карта.

– Ну, с Богом, – говорит, с крыльца спускаясь, Николай и осеняет скоренько крестом наш дом. Он недавно только покрестился и теперь знаменует, как новообращённый, каждый угол и всякую тень. – Благослови, – просит он маму.

– С Богом, – говорит нам мама. – Господи, благослови. И как вы там на пустополе быть-то будете?..

– До свиданья, тётка Васса, – говорит Виктор.

– До свиданья, Виктор Васильевич, – отвечает ему мама. – Храни вас Ангел и Никола Чудотворец. Ты, Ваня, там приглядывай, на всякий случай-то, за ними, – просит она внука, – следи, чтобы они не баловались шибко... И не Ислень, но речка всё же... Чё и за Таха за такая?.. Чем там таким вкусным только и намазано? Тянет вас туда... магнитом будто.

– Ладно, бабушка, – обещает ей, улыбаясь во весь рот, Ваня. – Присмотрю.

– Уж присмотри ты, ради Бога. А вы ему там повинуйтесь... Ну и доброго вам, рыбаки, улову, – желает нам она.

– Соли, пожалуй, взяли маловато, – смеётся Виктор.

– Теперь не жарко – не испортится, – улыбается и мама. И говорит: – Ну, поезжайте. – Курица к ней подошла, клюёт её в калошу. Калоша с прозеленью от навоза, курица глупая – а как же.

Уселись мы в машину – и припала та сразу, будто вдруг чего-то испугавшись, на рессорах: мы-то с Иваном, ладно, килограммов сто пятьдесят всего лишь, может, и потянем вместе, ну а вот в Викторе и Николае – в тех на двоих пудов шестнадцать-то, пожалуй, будет?.. Будет. Не выболели, как говорится.

– Так. Всё взяли? – спрашиваю я.

Такого не было, чтобы мы что-нибудь да не забыли.

Я на переднем, рядом с Виктором, а Николай и Иван на заднем сидении устроились. За ними дыбом – рюкзаки.

– Пока что рано, мы ещё тут, чё если и оставили, дак там, на Тахе, и спохватимся, – говорит Виктор. – А жизневажное-то вроде с нами.

Мы с Николаем понимаем, что имеет он в виду выпивку, и смеёмся – дух наш бодрый, на подъёме – впереди четыре дня рыбалки. Николай купил, как и условились мы, два литра водки – одну литровую бутылку «Петровича», какую выбрать именно, он сам решал, по этикетке, вероятно, две других, пол-литровых, «Для храбрости», есть и такая вот, оказывается, – Виктор взял литровую бутылку самогонки собственного производства. А вот о том, что в моём рюкзаке таится капроновая канистрочка с тремя литрами «ливизовского» спирту, по моему заказу привезённого Иваном мне из Петербурга, Николай и Виктор и не подозревают даже, я это скрыл от них коварно. Пьём мы все трое редко, но, как выражаются в Сре-тенске, метко, после долго и не пробуем.

Таха, прорезав поперёк хребётик безымянный, перекатисто впадает в Тыю, уловом вымыв в самом устье яму глубоченную, – ох и таймени в ней когда-то зимовали! – Тыя, круто извернувшись, чуть ли не встречь, втекает в Кемь, а та – в Ислень, ну а Ислень – куда – да в Океан – куда же ей ещё и впасть-то, в нём только места для неё и хватит. Нет на Тахе по всему её течению ни деревни, ни посёлочка, никогда, поди, и не было, были лишь стойбища остяцкие да охотничьи зимовья, а сейчас и этих совсем мало – остяки вывелись, а охотникам далеко и сложно туда добраться – пешком-то нынче редко кто куда отправится. Рыба в Тахе водится только четырёх видов – хариус, таймень, голянь и щука. Щук крупных нет – до пяти-шести килограммов, не больше, а таймени всякие бывают – килограммов до пятидесяти-то, это точно. Вода в Тахе и в июле, в самый жар, студёная, прозрачная, а после первых зазимков, к ледоставу, и вообще её как будто в русле нет – такая ясная – как чьё-то имя. Дно в ней, в Тахе, в основном, камешниковое, а глубина – обманчива, как мара. Пробудешь на Тахе трое или четверо суток и ни одного человека не увидишь. Но не соскучишься; того, скучаешь по кому смертельно, тут не встретишь. Только самолёты пролетают высоко над Тахой. Таху оттуда, сверху, может быть, и видно. Бежит, петляет, отражая небо, а с небом, может быть, и самолёт. «Как бык пописал», – говорит про её извороты Виктор. Уж так вихляет. До самого ближнего населённого пункта от Тахи не меньше сорока километров. Сейчас нам нужно по тракту проехать двадцать километров до сворота, там ещё двадцать до Подгоренской бригады, то есть до Лиственничного, а после ещё пять километров от Лиственничного до пасеки, на которой большее вре-

мя года живёт и работает Карманов Василий, родной брат Виктора и мой друг детства. Переночуем на пасеке, а рано утром, пока ещё не рассветёт, Василий нас на «Ниве» довезёт до устья Тахи, угонит машину назад, на пасеку, а мы, перейдя по бревну Тыю, станем заходить до места на Тахе, откуда и будем спускаться обратно. Вечером через четыре дня там, в устье Тахи, если Бог даст и всё пройдет так, как нами суетно замыслено, Василий встретит нас, и мы отправимся домой. Какое счастье для меня побывать перед отъездом в Петербург на Тахе – всю зиму после будет мне она блазниться. Буду идти, сидеть, читать или работать, а перед внутренним взором, независимо уже будто и от моей памяти, отчётливо как наяву, станут вдруг вспыхивать, чередуясь с чьими-то глазами и веснушками, но из другого уже вроде фильма, виды и сценки: какой-то омут или шивера, ночной костёр или поклёвка. Мы там, на Тахе, этим летом уже были с Виктором и с Николаем, один раз в июле и один раз в августе. В июле донимает гнус, конечно, – сил нет, нет никакого от него спасения ни днём, ни северной короткой ночью – «в кровь» изъедают комары и слепни. В августе хорошо – нет ни слепцов, ни паутов, ни комаров – мошка, мокрец, но тех уж терпим, – и ночи тёплые ещё – сравнительно – тащить с собой туда не надо ватники, по крайней мере.

Из Сретенска скоро выехали – не Москва, даже не Киев. Едем. Совсем уж отемняло – не июнь месяц. Фары выключи, и глаз тогда коли хоть. Совки проворные срываются с дороги, порхают невесомо сколько-то, как мотыли, перед машиной в лучах света – забавляются, – исчезают после, в сторону свернув, в потёмки; мышками-житничками промышляют – с поля на поле перешмыгивают те через дорогу, веро-

ятно. Машин нет ни встречающих, ни обгоняющих – бензин нынче дорогой – мало теперь, не то что раньше, ездят: не экономят, может, но «жалеют»; это раньше – в магазин за водкой или «паперёсами» – и то на тракторе, на самосвале ли катались. Худа-то без добра – и тут вот – не бывает.

– А чё вы, – спрашиваю, – запозднились так?

Молчат – чалдоны тугодумые – не отвечают сразу, «кумекают»; Иван безмолвствует – в разговор встречать тому раньше старших вроде как не по статье – нравы в Сибири не столичные – он понимает это; а к нему пока не обращаются.

– Хе-ге-хе, – произносит погодя сколько-то Виктор. И улыбается. От уха и до уха, будто вспоротый. Как очеловеченное солнце на детских рисунках. При этом будто и лучится. Щёки его под самые глаза в густой, пегой щетине, а та – «как тёрка», и гладко выбритым я никогда его не видел. Голубоокий. Круглолицый. «Широкомордый» – так говорят в Сретенске, но в похвалу, а не в обиду. Прозвище в детстве у него, у Виктора, было: «Варвара» – теперь никто его уже так не называет, кроме его родного брата разве, тот иногда ещё и вспомнит: ну, Вигюха, скажет, ну, Варвара – любовно.

Молчим – приятно ехать нам всем вместе; да и куда ещё – на Таху.

Урчит мотор, машина мягко катится.

Закурил Виктор. Курит он с мундштуком – «тянуть вкуснее», в шутку объясняет, «сладко», через мундштук-то; до сидения и втягивает – так, когда слышишь это, кажется; шумит в нём, в Викторе, при затяжке – как в скважине. Канская «Прима» – вот его избранница. Если и изменяет ей, так только в крайних случаях. Мундштук сам выстругал. Из «куричьей сле-

поты» – говорит – из бузины значит. Всё-то он в лесу его, мундштук свой, и теряет, всё-то он его, вокруг себя руками шаря, и ищет – делать-то нечего когда, так и занятие, а когда ждёшь чего-то, так и время скоротаешь – вещица нужная, выходит. А почему из бузины-то вот и только, мол? – Да почему, да потому, что дырку в бузине проделать легче, дескать, нутро-то у неё, что у старой, что у молодой, не как у «деушки», не тугое, а трухлявое, по природе, мол, такое, шилишко, проволоку, гвоздь, а то и прутик крепкий сунул, вынул, дунул – и готово; если один посеял безвозвратно вдруг, другой – минута-две – и смастерил; где «слепота» бы только рядом оказалась, мол, но, слава Богу, не диковинка. Понятно.

– Чё запозднились, – продолжает наконец-то Виктор. – Чё запозднились, хе-ге-хе... Да то и запозднились, что твоего вон брата выручал... И запозднились.

– А чё такое там стряслось?

Молчим. Едем. В свете фар нетопыри ушатые мелькают – вроде как искры, только – чёрные.

– Баба вон мужика не отпускала ни в какую, на подмогу пришлось ехать.

– У-у, – говорю я. – Дело обычное. Тогда всё ясно.

– Кому ясно, – говорит Виктор, – а кому и пасмурно... Продай корову да купи бабе обнову.

Включает Виктор магнитола. Поёт Кадышева – от сердца, – поёт про то, как напилася она пьяной, не дойдёт она до дому – мы её понимаем, живо ей сочувствуем, – после поёт она и про другое. Слушаем. Проникаемся. Моя душа машину обгоняет. Жаль вот, что время-то не подторопишь – я бы уже стоял сейчас на берегу со спиннингом, рыбачил бы.

Миновали деревеньку, но уже бывшую, Черкассы, черкесскими казаками на берегу Кеми в семнадца-

том столетии основанную. Теперь пустырь тут, днём кое-где только верей от ворот увидеть ещё можно – торчат среди бурьяна прямо – для «жисти» ставились, навечно – не так легко их покосить; такие толстые – руками не обхватишь. Девушки в Черкассах были рослые, статные, с густыми, чёрными бровями – это я помню, – в одну из них, Шуру Черкашину, даже влюблён был горько в одно время; училась она у нас, в Сретенской средней школе, на класс меня старше. И пострадал же я тогда – от безвзаимности. Встретил её недавно в Елисейске – красивая; поговорили с ней – несуетливая. Рядом с такой и постоять-то – радостно – как в церкви.

– Жалко, нет уже Черкассов-то, – говорит Виктор, пялясь слепо в темноту оконца бокового. И в который раз уже, слышу, жалеет. Как проезжаем, так и вспоминает. – Веселее с нею было.

Может, и он, Виктор, тайно был влюблён в какую-нибудь из черкасских девушек? Может, и в Шуру же Черкашину? Не знаю. Его дела амурные – потёмки; не афишировал, «тихушник».

– Да-а, хорошая была деревня, – и Николай вздыхает по Черкассам. – У реки и на сухом, высоком месте... Умели место люди выбирать.

Кемь внизу, под яром, в темноте – сейчас её не видно.

– Да-а, – говорит Виктор, – управились с деревней коммуняки – как мамай прошёл – поразорили.

– Ну и эти... демократы – как шакалы, – заключает Николай.

– Ну а эти уж и вовсе, – соглашается с ним Виктор. – Восстанавливать не станут.

Проехали ещё три километра. Проскочили по мосту через Тью – флуоресцентно мимо нас промчались с двух сторон его перила. Достигли сворота – но не

тут же, а минут через десять, – вырулили с тракта на просёлок.

Останавливает машину Виктор, мотор глушит. Тихо становится. В ушах шумит лишь – словно после взрыва.

– Гул... Как в космосе, – говорит Николай.

– Ага, – говорит Виктор. – А ты там был?

– Пока не доводилось, – говорит Николай.

– Ну а хотелось бы?

– Конечно.

– Какой ты, парень, любопытный, сладу на тебя никакого... Плохо будешь себя вести, отправим с Тахи, – говорит Виктор. – Правда, Иван?

– Не знаю, – говорит Иван.

– А кто тебе дрова-то станет на ночь заготавливать? – спрашивает Николай.

– Иван вон... Сами натаскаем, – отвечает Виктор. – Нас этим не испугаешь... Обойдёмся.

Иван тут встрял без разрешения:

– А мы и так ведь в космосе... Земля же в космосе вращается.

Мы промолчали.

Молчим и после. Слушаем. В машине полумрак, за окнами черно.

Включил Виктор в салоне лампочку и говорит:

– Стресс с Николая надо снять, однако.

– Не было у меня никакого стресса. Поехали, – говорит Николай.

– У тебя не было, так у меня из-за тебя был, – говорит Виктор. И говорит: – Бабу твою уговорить не просто оказалось... Как будто с танком побеседовал... через заряженное дуло... Ноги вон до сих пор ещё трясутся... как у продрогшего телёнка.

– Поехали, – говорит Николай. – Трясутся.

– Да, на педали вон не попадают, расплясались, – говорит Виктор. – Пошто такой-то ты... нетерпеливый? Куда торопишься?... Как к любовнице. Беду догнать всегда успеешь.

– Заводи давай! Поехали!

– Поехали... Сёдня же, в ночь-то, заходить ведь всё равно не станем. Хотя тебе-то чё, ты запросто, конечно... Тебе что ночь, что день, что шло, что ехало... Ночью намышь тайменя, может, выгатишь, и брату нос хоть раз утрёшь. Ступай... Только без нас, пешком, а мы – на пасеку, – говорит Виктор. И, оборачиваясь, говорит: – Иван, достань-ка там... тебе ловчее... в кармане рюкзака... бутылочку... а из другого – кружку... В моём. Ну, у тебя и дядька, парень... Суровый, как дратва. Боюсь его я. Только глянет – душа вянет.

Достал Иван бутылку и кружку, передал их Виктору.

– Николай пить не будет, – говорит Виктор, между колен зажав бутылку и протирая указательным, толстым, как толкушка, пальцем внутри кружки. – Чё-то там чёрное... Эмаль, поди, отбилась.

– Ага! – говорит Николай. – Не буду... Наливай!

– Смотри-ка, – говорит Виктор, с бутылки свинчивая пробку. – Какой нездержанный ты... Как парная медовуха.

Выпили мы самогонки по очереди из одной кружки – Николай, я и Виктор. Иван не пьёт – он «выбрал пепси». Отдаёт самогонка немного творогом. Салом с хлебом закусили. Закурил опять Виктор. В открытое окно дверцы дым деликатно выпускает.

– Крепкая, – говорит Николай.

– Ну так. Как солдат, – говорит Виктор. – Гомна не гоним.

– Коровой только пахнет, – говорит Николай. И говорит: – Но хорошо. Внутри как сразу затеплело.

– Да, – говорит Виктор. – Как у грешника от пламени пещного.

Постояли ещё немного. Поехали.

– Николай, – говорит Виктор.

– Чего тебе? – отзывается тот с заднего сиденья, судя по интонации, подвоха ожидая.

– Сколько у тебя женщин было?

– Нисколько, – говорит Николай. – Рули давай, а то куда-нибудь заедешь.

– Какой ты строгий, – говорит Виктор. – Поаккуратней мне, однако, надо с ним, Серёга, а то ещё утопит – плыть-то будем.

– Тебе с ним плыть, ты и решай, – говорю. – Я бы поостерёгся.

– Да уж решил... остерегусь, жизнь-то, наверное, дороже. Жизнь не бабочка – другую не поймашь.

На Лиственничном, среди бескрайней темноты и тишины таёжной, гудит нутром огромный ток, светится, как замок, как дворец ли, трудятся на току люди – зерно, какое подвезли уже, веят и сушат. Повсюду техника разбросана, полуразобранная, нерабочая. Трактора, комбайны, сеялки, автомобили. Там и здесь стоят на тракторных санях болки, цистерны или бочки. Троса валяются, колёса, ступицы. Трава вокруг измазана мазутом, но не сплошь, а пятнами. Собака на обочине. Живая. Лежит на боку. Спиной к дороге. Мордой к нам лениво повернулась – и глаза её по-людоедски как-то загорелись.

– Ух, ты... Переключилась бы на ближний, – говорит про неё Виктор. – Меня-то чуть не ослепила.

– Угу, – говорит Николай. – Как лазером.

– Ага, Лазером Моисеичем, – говорит Виктор.

Сзади оставили мы и бригаду. Скрылись огни её за перелеском. Едем по выпуклому, как тарелка опро-

кинутая, полю. Клевер на нём. Густой. Полёг и перепутался. Вылетают из него, машиной вспугнутые, птички – крохотные – как моль.

– Много им ещё убирать, – говорит Виктор, имея в виду рожь, овёс и подгоренских колхозников. – До снега не успеют. Явно. А уже сеют-то... с кунчонку козью – малость. Заяц с маху перепрыгнет. Нет, – говорит, – у них ни техники, ни денег. Обнищали, как горькие пьяницы. Бедному вору у них нечем пожить.

– И не пойдёшь сейчас по миру, – говорит Николай. – Кто где подаст-то?

– Ага, подаст... догонит и поддаст. Отберут ещё последнее... Не государство, так бандиты, – говорит Виктор. – Только и выручки у них теперь, что продавать налево и направо со своих земель, где уцелел ещё какой, лесишко.

– Да, – говорю я.

– Весь скоро спустят дядям из далёка, – говорит Виктор. – А тем там чё, у тех взгляд мутный – через доллар на всё смотрят, как девчонки через стёклышко, нас они тут в упор не различают...

– С травой сливаемся, – говорю я.

– Была бы прибыль... Есть, наверное, раз так нещадно сплошь всё валят, – говорит Николай. – А чё им мы?..

– Мы – блохи на собаке... В лесу-то плакать уже хочется... Ольху уж пилят, это надо же. Раньше такое и во сне бы страшном не приснилось.

– Да уж.

– Скоро, – говорит Виктор, – если и дальше так пойдёт, а оно на то похоже очень, и за мою куричью слепоту возьмутся. Без мундштуков останусь, ё-ка-лэ-мэ-нэ... Запастись, пожалуй, надо. Нынче за деньги всё – и задницу свою подставят и чужую расцелуют...

Будто бы и детей ни у кого, зараза, нет. Ага. За бусы маму с папой проторгуют.

– Да-а, – говорю я. – Ситуация.

– Ещё какая. Ситуация... Раньше по берегам, вплотную к речкам, не валили хоть, – говорит Николай.

– Но, – говорит Виктор. – Было запрещено, маленько всё же соблюдали. Теперь без удержу, как коло-радские жуки, везде сгрызают подчистую всё. Теперь дозволено... Пустыня скоро будет.

– Гоби.

– Рос бы лес на небе, добрались бы и туда. На трелёвочнике на небо прямо бы и въехали, а там спросили бы: Эй, Бог, где тут лешишко у Тебя находится? – говорит Виктор. И спрашивает: – А чё тут сделаешь? – И отвечает: – Да чё, ничё... Шальное время.

– Сами мы шальные, – говорит Николай. – Перед концом всё...

– Это-то понятно.

Грустно становится. Молчим. В уме отчаянье, как желваки, бессмысленно переминаем.

Едем.

Дорога здесь пошла совсем худая, лесовозами разбитая. Не на «Ниве» бы, и не проехать. Машина хорошая. Да и водитель неплохой – со стажем, ловко с баранкой управляется – «как с ложкой».

– Николай, – говорит Виктор. – Может, на Лиственничное вернёмся, далеко-то пока не отъехали, да поваришу заберём с собой?.. Есть там такая, в твоём вкусе: обширная – как по горам, по ней охотиться с собакой можно...

– Ага, рули давай... Забрал он! Места в лодке ей не хватит, – отвечает ему Николай.

– Какой ты нравственный... мораль блядёшь, однако. По берегу бежать будет, – говорит Виктор. –

Тоже мне, выдумал проблему. Сергей по левому, она по правому, по одному-то их пускать нельзя, конечно, – за первым же кривуном снюхаются, а нам с тобой потом чё делать?.. Зубами с голоду скрипеть. Суп-то она варить ему, Серёге, только станет. – И говорит: – Ох, у тебя и брат, Сергей... сердитый.

– Гроза, а не мужик, – говорю.

– Гро-озный, – говорит Виктор. – Как наместник.

– Два зубоскала, – говорит Николай.

Иван помалкивает.

Тепло в машине, табаком пахнет – вроде и вкусно. Кадышева ещё поёт – теперь про терем – задушевно и об этом.

Слышно: залаяли собаки – дружно, но не задорно. Видно: с разных сторон, из мрака выявляясь, сбегаются они неторопно к дороге – встречают. Приветливые. Ушки у них на макушке – как фанерные, хвосты качаются у них на спинах калачами, глаза – как угли раскалённые – но не от злобы, а от света. По сторонам держатся, под колёса бестолково не лезут – не курицы – те от машины убегают под машину же.

Свет фар, скользом, темноту как будто соскребая, выхватил из гуши соснового и берёзового леса стену избы бревенчатой, листвяжной, с небольшой дверью и одним на эту стену тоже небольшим окошком, а после – баню и сарайшко.

Развернулись, под навес спятились, остановились. Пока сидим, не двигаемся.

– Приехали, – говорит Виктор.

– Да-а, – говорю я. – Приехали.

– Слава Богу, – говорит Николай.

– Сим-сим, откройся, – говорит Виктор.

Дверь в избушке отпахнулась – хозяин вышел. Стоит в дверном проёме. В свете фар, рукой глаза не

закрывая, в нашу сторону жмурится. Босиком, в чёрном трико и в белой майке, та навывпуск.

– Красавец мужчина. Как петух перед атакой... брат-то, – говорит про Василия Виктор. – Планк... Явление народу.

Волосы на голове у Василия гребешком вздыблены. Борода всклокочена. Заспанный.

Выбрались мы из машины, разминаемся – полтора часа в дороге были, не меньше – ноги занемели. Иван стоит, собаку по заливку гладит, та только веками – жонглирует как будто ими.

– Здорово, брат, – приветствует Василия Виктор.

Здороваемся с ним, с Василием, и мы.

– А ты опять, однако, чуть не трезвый? – говорит ему Виктор. – Не просыхаешь, как ондатра.

Молчит сколько-то Василий. Вглядывается в нашу сторону, как в пустое. После того уже, как узнаёт нас, произносит:

– А-а, это вон кто... вы, – и улыбается. И продолжает: – Да как всегда... совсем немножко... только для живости, а так-то оно на хрен бы... Гости вот перед вами лишь уехали. А не попались вам навстречу? Их угощал, дак и... маленько.

– Нет, – говорит Виктор. – Никого нигде не видели. Разве по воздуху они, как утки, пролетели?... На чём?

– На тракторе.

– Нет, не видали... След вроде есть, а трактора не видели.

– Да? Странно чё-то, – говорит Василий. – Недавно вроде и уехали... А я прилёт только и думаю, кого опять холера принесла тут – собаки брешут?... Может, они, сломался трактор, дак вернулись? Ну, заходите, – приглашает.

Все мы уже – кроме собак, конечно, тем не дозволено бывать тут, даже заглядывать сюда заказано – в избушке. Кто сидит, а кто прохаживается.

В глазах у нас ещё дорога не угасла – виртуально набегаёт.

Засветил Василий лампу – фитиль укручен был в ней только – выкрутил, а дым пошёл – чуть-чуть убавил. Стекло у лампы сверху задымлённое, словно тонированное.

На столе полно посуды, беспорядочно приткнутой: вместительная деревянная кумка с зелёным незасахарившимся ещё мёдом, алюминиевая чашка с крупными кусками варёной лосятины, ножи различные, от охотничьего до кухонного, ложки, вилки с нормальными и изогнутыми то чуть, а то и до крючка зубцами – что же ими ковыряли? – эмалированные кружки, внутри рыжие от медовухи. Хлеб «домашний» на разделочной доске, толсто нарезанный – ломтями, блюдец с солью крупного помола – «каменкой», бочонок-перечница, лук, чеснок и огурцы солёные в тарелке. Тут же и несколько наполненных окурками до кромок «пепельниц» – жестяных консервных банок с напрочь вырезанными в них крышками. Падают от всего на столешницу тени – зыбкие, как тина, – даже от спичечного коробка.

Запах знакомый, ничего нового. В запечье стоит небольшой ларь с вощиной, на подоконнике лежит скатанный в шарик прополис – ещё и ими пахнет благовонно.

В углу, на маленькой косыне, икона закоптёлая, средних размеров, старая – Святые воины Георгий и Димитрий. Тонкоколенные. Кудрявые. Стоят – вооружённые. С ними не страшно – под защитой.

Висят на стенах большие, цветные репродукции с фотографий – актрис, Алфёровой и Яковлевой, одна против другой, в пристойном обе виде, и девицы безымянной в узких трусиках, но с голой грудью – на нас, на всех одновременно, и на гостей, и на хозяина, лукаво щурится она, девица эта, но – не Саломея.

– Василий, – говорит Виктор.

– А? – откликается тот.

– Артистки пусть красуются – на добрые наводят мысли, а эту, девку-голотитьку, снять пока, наверное, придётся, – говорит Виктор. – Завтра – не будет нас, тогда – повесишь.

– А чё такое? – удивляется Василий. – Чем она тебе не угодила?.. Кровь с молоком, в прыску... Участки тела и... фигура вон... И глаза – согласие сплошное.

– А вот в этом и причина... Да и мне-то ладно, мне-то чё, – говорит Виктор, – я не греховодник, в похотях не тлею. По мне-то пусть она хоть и трусишки свои скинет. Бесполезно. Не откликаюсь на такое. Николая, парень, жалко.

– А-а, – говорит Василий. – Тогда понятно, – улыбается.

Молчит Николай, на икону смотрит.

– Да пусть, – говорит Василий.

– Не знаю, – говорит Виктор.

– Трепло, – говорит Николай.

– Ага, конечно... Я вот и трепло. Я ж о тебе пекусь, забочусь о твоём благоспокойствии... Смотри, – говорит Виктор, доставая из нагрудного кармана энцефалитки сигарету и мундштук. Размял. Неспешно зарядил. Прикуривает. Затянулся. Дым после в матицу протяжно выпал. И продолжает: – Спать надо будет лечь подальше от тебя, на всякий случай, то ещё

приснится чё-нибудь тебе такое... пакость какая-нибудь... и поколотишь.

– Ложись на улице.

– Придётся.

Тихо бормочет с тумбочки, заваленной ружейными патронами, журналами и пачками «Беломора», переносной приёмник – он никогда здесь и не выключается – батареи под ним, в тумбочке, огромные – надолго их хватает – на полгода, то и на год. Трещит в нём больше что-то, щёлкает таинственно.

– Подслушивают, – говорит Василий.

– Но!.. Майор Пронин? – спрашивает Виктор.

– Инопланетяне.

– Кого, тебя?

– Меня.

– А-а, – вскинул брови Виктор. Говорит: – Это-то может быть, конечно. У них забот, наверное, тебя только подслушивать... Чё и летают тут, как галки. – Брови опустил. Окурок из мундштука в пепельницу спичкой выковырял молча. Продолжает: – И подслушивают, и подглядывают. Нос суют везде свой, шныры. Наказание и только. Еще на камеру, поди, снимают, одинокого-то, как ты с собаками да с петухом тут разговариваешь, им, любопытным, интересно: венец природы наставляет подопечных. – Мундштук продул, в карман его убрал. – А после про тебя кино там, на тарелке, смотрят, как порнуху ребятишки, уссываются. – К двери прошёл, к столу вернулся. И говорит: – Путнего много из тебя, наверное, извлечь надеются, раз наблюдают-то. Ты для них, брат, как находка – месяца два проквасить можешь, не закусывая, и ходить за пасекой при этом, как нормальный. Ты для них, для нас как – трезвенник... как чудо.

– Но, чудо-юдо, – соглашается Василий.

– Они, беспутые, на связь с тобой, трещат, пытаются всё выйти, а ты то пьяный, то весёлый – ни бе, ни ме им и не здрасте. Вот и добейся от тебя... И почему тебя-то они выбрали? – Не садится Виктор, пол ногами будто мерит. – Ну, жди теперь, брат, приземлятся тут на блюдец со сметаной... улы-то, жалко, пошибают, потом ходи их расставляй, забота... перевезут тебя с собой куда-нибудь, где у них логово-то или база... а там ни водки и ни медовухи, и чем ты, парень, опохмелишься?..

Озадачился Василий.

– Да-а, – говорит. – Не знаю даже.

– Ну а чё, – увлёкся, видно, Виктор, – может, они, бродяжки злостные, как раз такой вот опыт несусветный и хотят проделать над тобой: выживешь ты или нет там, в невесомости, без алкоголя-то?.. От них, мутненьких, всего ожидать можно. Как от масонов.

– Да уж. А я и тут как в невесомости... мне чё масоны?

– Это понятно. Тебе сейчас все черти по боку...

– Ага. А чё мне?

– Ребята с рожками тебе ещё тут не являются?

– Да вроде нет ещё... тьпу-тьпу, – говорит Василий. – Хотя, кто знает, может, и являлись, да я их, может, не узнал... рожки-то если под фуражками у них скрывались... или под касками... не знаю.

– Это-то вот, поди, скорее... А кто тут был-то? – спрашивает Виктор.

– Я им, пришельцам-то, на кой, такой-то, сдался?.. Не на пельмени, не на студень, – говорит Василий, сам себя как будто успокаивая. – Шибко уж тощий – не обстрожешь... Только что на бульон... и то на постный. Едят они такое, нет ли?

– В порошок тебя помелят.

– Ага, как перец, – говорит Василий. – На приправу... А так-то чё, пусть приземляются, чем их попотчевать, найду уж.

– Без вопроса, – говорит Виктор.

– А увезут... Да пусть увозят. Может, со пчёлами чё надо делать, посоветуют... как их лечить-то... Они же вумные – всё знают. – И отвечает: – Да эти – Вебер с Бледнолицым.

– Кто всё знает, тот дома сидит, по пространству не мотается, – говорит Виктор. И говорит: – А-а, постоянные клиенты. Ну а они тебе не примерещились?

– Да это вряд ли, – говорит Василий. – Я ж ощущал их, не казались... Кружками часто, помню, чокались... болтали.

– Столько попей, не только кружкой чокнешься... так полагаю.

Володя Вебер – просто – потому что Вебер. Фамилия у него такая. Был бы он русским, назывался бы Ткачём или Ткачёвым. Из поволжских немцев, ссыльных. Сам-то не ссыльный он, конечно, здесь уже родился. Так обрусел и осибирился, так тут прижился и прирос к этим неласковым местам, что никуда его отсюда, ни в какой хвалёный-расхвалёный зазывалами-сиренами сладкоголосыми обетованный Фатерлянд не выманишь. «А я ничё не потерял там», – так отвечает он, Володя Вебер, на вопрос: а ты-то почему туда не съездишь, дескать, не скатаешься? Ваня Перунин – тут сложнее – он Бледнолицый потому, что лицо у него, как «советский флаг», постоянно красное, принял он, Ваня, уже сколько-то, не принял ли ещё ни капли – всегда как будто «остограммившись». «Тебе, Ванька, хорошо, – как-то сказал ему в шутку при мне, помню, Вебер, – на тебя машина не наедет, по спецразрешению только – у тебя морда как «кир-

пич» запретный... Или шофёр уж в сисёку разве пьяный». Ваня ему тогда ответил смехом: «На тебя зато наедет – ты гестаповец. Фершгтейн?». Ваня Перунин и Вебер Володя друзья с детсадовского возраста и, к тому же, закадычные: где один, ищи там и другого – пьют они, как близнецы, всегда на равных.

Улыбается Василий. Продолжает:

– Бледнолицый тока что вот из больницы... Вчёрась или позавчёрась, на днях тут, вышел... Дак, что выпи́сался, обмывает.

– Ну и чё опять с ним приключилось? – Не стоит он, Виктор, не садится, по избушке, половицами скрипя, прохаживается. – Грибов поганных обожрался?

– Есть-то чё будете? – спрашивает Василий. – Суп, может, разогреть?.. Сварено у меня... Не суп, правда... Шерба с налима... Утром мордушку бегал проверял... Залез, паршивец... Не люблю я их пошто-то?.. Оттого, что склизкие, как пропастины, может... Одноглазый почему-то?.. Кто ему его в воде-то там и выпткнул? С крутым ершом подрался, может? – улыбается.

Нет, отвечаем, дескать, сыты, не успели, мол, ещё проголодаться. Чаю с мёдом выпить соглашаемся.

– Мёд на столе... А чай, недолго, подогрею... Да чё, чё, – говорит Василий. Подхватил с полу, поставил на буржуйку примус, им занялся. – «Шмель» чё-то начал барахлить, зараза, хоть уж к зиме, к сезону-то, совсем бы не сломался... Ясно, чё. А ты не слышал?

– Нет, не слышал. Я – от кого?

– Дело обычное. – Запалил примус. Зашипел тот. Устроил на него чайник. – Сидели они втроём у Миши Орлова на пасеке – он, сам Миша, Бледнолицый и Володя Вебер; троица; Вебер спал уже, убайкался, концерт весь этот пропустил; ну и – естественно чё –

выпивали: пчёлы последние у Миши сдохли – поминали. – Стоит Василий около буржуйки. Тень его над ним нависла. Пах почесал себе, и тень заколыхалась. – Ночь лунная. Светло, как днём. В окно-то чё-то кто-то из них глядь – ну, ё-моё – медведь возле избушки. Явился, но, не запылится. И за столом их будто не было. Вылетели они, как понос, из избушки на улицу и на него, на зверя, как на мужика... Ружьё с собой взять позабыли. Ну, конечно. Его, медведя, тапочком по морде. А он не любит – ать на дыбы и поломал маленько кости им... Посостязались, поборолись. – Снял Василий с чайника крышку, попялился сквозь пар в чайник. – Ничё не видно чё-то... Кипячёный, подогреть лишь... Ване-то ещё как-то повезло – легко – ушибами отделался, счастливый. А у Миши и рука, говорит, погрызена, прокушена, однако, и несколько рёбер опять сломано. Долго тому лежать ещё в больнице. Вебер ему туда и самогонки отвозил уже... Анестезия.

– Костоправ медведь, да самоучка... Мише всё мало почему-то, – говорит Виктор. – Его же раз уже помял один и вроде сильно... И тоже так же, в пьяной драке... Где неуёмный-то Есенин... Ну а собаки-то где были?

– Мало, наверное, – говорит Василий, – ещё-то если лезет. Дёрзкий.

– Что ты, – говорит Виктор. – Как Чапаев.

– Ничё, когда-нибудь нарвётся. Шею свернёт ему какой-нибудь, тогда утомонится, может. А медовухи-то вы будете?... Собаки были на бригаде – летом же Миша их не кормит – сами себе, как волки, промышляют.

– Наскребёт кошка на свой хребёт, это уж неминуемо, конечно. Дурную голову и хмель-то не берёт... По кружке если, но не больше, – говорит Виктор. –

А то заходить тяжело завтра будет. Ты-то пойдёшь с нами?.. Или ты тут себе наловишь... Николай вон разве – тот тебя поддержит.

– Ага! – говорит Николай. – Только попробую... а то поддержит.

– Нет, – говорит Василий. – Некогда.

– А-а, медовуху всю ещё не выпил?

– Да вроде есть ещё маленько, – улыбается Василий. – Мне на неделю, может, хватит... если кто только не заявится, а то тут... как на дискотеке... то рыбаки, а то колхозники... то леший так кого притащит.

– Как нас?

– Как вас таких вот... но, – и улыбается.

Совсем друг на друга не походят братья – будто и не родные они вовсе, а сводные. Как, впрочем, и мы с Николаем: он, Николай, светлый, как говорят в Сре-тенске чаще – белый, а я смуглый, «подкопчёный», – разные мы полярно с ним и по характеру. Ну и у них вот, у Кармановых. Виктор русоволосый, крупный, полный. Лицо у него русское – курносое и круглое. Жить долго без человеческого общения он не умеет – сутки-двое сам с собой в лесу побыл и надо ему к людям на минутку – побеседовать. Василий слегка рыжеватый, невысокого роста, сухой, горбоносый, узколицый – как германец. Может в лесу находится один месяцами – и даже если пить не будет водки или медовухи – не соскучится. Василий с бородой, редко когда её снимает, а Виктор хоть и не ежедневно, но бреется. Оба пасечники и охотники хорошие, чем до этого и жили. И небедно. Туго теперь, конечно, им приходится – пчёлы больные, мёду собирают мало, и продать его нынче непросто: завались на базаре «узбекского», хоть и ненастоящего, но подешевле, заготовители пушнину принимают за бесценок, а народ

её теперь не покупает вовсе – нет потому что денег у народа. Правда, кому сейчас не туго?.. Вопрос такой знакомый, риторический.

– Барыгам, – говорит Николай.

– И тем легко ли? – говорит Виктор. – Крутятся... Шибче, чем шарики в подшипниках. Так повращайся, парень, повертись-ка, и под теменем-то мало чё останется – всё до коробки голой выдует.

– Чиновникам, – говорит Василий. – Этим всегда у нас – когда не страшно им, дак, значит, хорошо... А побоятся если изредка, понервничают где маленечко, потрусят, то недолго – ко всему, как крысы, приспособливаются... Не для себя, так для детей своих оставят, что натащут... Хоть и толку с этого не будет. Не добром нажито, не в добро и обернётся – так оно водится, не я придумал.

– И чё за гуси за такие – эти и чиновники? – говорит, посмеиваясь, Виктор. – Хочу, однако, быть чиновником, хочу и шибко, аж трясусь вот... Определи меня в них срочно, Николай.

– А что чиновники? – говорит Николай. – Никакие чиновники, хоть самые расчестные и расхорошие, никакие самые разумные реформы делу не помогут, пока Промысел Божий не увидит, что нам это, жизнь-то сытая и сладкая, пойдёт на пользу... Спаси, Господи, люди Твоя... Да и бывает ли она на пользу?

– Это-то так, конечно, чё там, – говорит Виктор. И говорит: – А всё равно хочу я стать чиновником. Хочу и всё тут, подайте эту должность мне. Перед бабой стыдно хоть не будет. Запиши меня в них, Николай, в чиновники.

– Сам записывайся, – говорит Николай. – И сядь!.. То мельтешишь... туда-сюда... как камерник, тут расходился.

– Какой ты строгий, – говорит Виктор. – Как царь... Я насиделся, – говорит. И продолжает: – А нам оно – хоть мы и не чиновники, да – лучше: иметь-то хлопотно, а не иметь легко. Да, Николай?

– Отстань!

– Ладно, шут с ним, не буду я чиновником. Кем есть теперь, останусь пчеловодом – спокойней как-то... Только вот баба?.. Э-э, да и пусть маленечко попилит, беда-то, раз у неё обязанность такая, на то она ведь и пила-то поперечная... Ещё бы пчёлы вот не гибли. Иван... Ива-ан!

– Что?

– Не женись.

– Не буду, – говорит Иван. Расположился он на койке, листает потрёпанный журнал «Охота».

– Сядь ближе к лампе, – говорю ему я.

– Да ничего, мне видно, – отвечает.

– Глаза испортишь.

– Не испорчу.

И потолкуй с ним.

Вышел Василий из избушки, вернулся вскоре с трёхлитровым алюминиевым бидончиком, на стол его поставил, улыбается.

– Эту, – говорит, – и я ещё не пробовал... Проверим, – и сияет – не то что лампа его – ярче.

Попробовали. Вкусная, парная. По кружке. Больше-то, хоть и хотелось, но не стали – идти завтра тяжело будет – испытано. Чаю попили с мёдом – удовольлись. Мёд замечательный – «с осоту и с шишкарника». А медовухи, пепси изменив, и он, Иван, с полкружечки отведал. Заулыбался после. Как от радости.

– Это не водка, пей... полезно, – так сказал ему Василий. – На отца-то не поглядывай. Здесь не он, а я распоряжаюсь.

– Как не полезно-то, полезно, – отозвался тут же Виктор. – Из ушей бы не полезло... По тебе, парень, заметно – как спортсмен вон... лось поджарый.

– Но. Бегун на дальние дистанции, – сказал Василий. Улыбается.

– Ага, бегун!.. Ползун... до Фляги и обратно. Равного нет тут. Чемпиён.

В избушке натоплено.

– Как в Африке, – говорит Николай.

– Ага, – говорит Виктор. – К утру будет, как в Оймяконе.

Хозяин лёг на одну кровать, я – на другую, две их всего тут; обе с панцирными сетками; лежать неловко на такой мне без привычки – прогибается, у себя я сплю всегда на жёстком; Николай, Виктор и Иван, постелив матрасы, устроились прямо на полу. Пока ничем не накрываемся – жарко. Беседуем. О разном. Больше о внутренней политике, конечно, – нет уже никаких у нас благих надежд на будущее, жизнь всё худеет вроде и худеет, народ нищает и спивается, зато чиновники «мордеют и борзеют»; Москву легонечко покляли, дескать, устроилась удобно, на счёт всей страны «с жиру бесится», да, мол, добром-то это ведь не кончится, – везде её, столицу нашу «дорогую», клянут в полголоса, по всей России, и мы вот тоже. За президента, дескать, стыдно – пропил великую державу, отдал её жулью на откуп. Но жить-то надо – заключили.

– На всё воля Божья, – сказал Николай.

– Ну, это-то понятно, – ответил ему Виктор.

Мыши за печкой шебуршат сухим горохом.

– Вон, как чиновники, – говорит про них Виктор. Лежит он на боку, на взлокоточке, курит, пепел сбивает в пустую консервную банку, стоит та около его матраса. – Несуны.

– Ещё какие, – говорит Василий. Развалился он на спине, широко раскинув ноги, пускает дым от папиросы в потолок, туда же и смотрит неотрывно, потолок как будто подпирает. – Мне под постель тут натаскали... под подушку... Конфисковал я раз, другой, они по новой...

– Запасливые.

– А то.

Фитиль в лампе убавлен. Бормочет, потрескивая как костёрчик, транзистор – что-то про томских фермеров сначала, про их бесчисленные нужды, после про русских и украинских девчушек, скопом бегущих за границу на «тяжёлые» работы.

– Бедняжки, – говорит про них Виктор.

– Но, – соглашается Василий.

– Страдают, – говорит Николай.

– Что ты, – говорит Виктор. – Жалко?

– За Родину обидно.

– А Родина-то чё тебе?.. Наоборот, – говорит Виктор. И говорит: – Всяк хлопочет, добра себе хочет... Вам хорошо, а нам подавно. У них профессия такая – очень, говорят, древняя... Там, парень, жалость исключается... там, парень, бизнес. Сюда, на пасеку бы, лучше прибежали.

– Ага. На кой они мне тут сдались, – говорит Василий. – Без них тошно.

– Развеселили бы тебя.

– Да уж куда там... Моё веселье вон, в бидончике.

– Это мы знаем, понимаем.

За окном тьма крошечная – пульсирует, на стёкла окон давит. Собаки изредка залают – то у избы, поблизости, а то далёко – туда, во мрак, совсем сейчас не хочется.

– На медведя, – говорит Василий. – Ходит тут... пришлый... шатается. Тайга горит там, на востоке, все сюда

и перекечевали... Муравьятничек, некрупный. Пока не пакостит, и не стреляю... Пусть шарится – собак в форме держит... а то расслабится и обленится.

– Может, и не медведь? – предполагает, забавляясь, Виктор.

– Медведь, а кто же? – простодушно реагирует Василий. – По лаю слышно.

– А может, эти, энэло-то? – говорит Виктор и смеётся.

– А-а, – улыбается Василий. – Может, и эти... Наблюдают. Мёдом им тут намазано...

Скоро все затихают. Братья Кармановы начинают вразнобой похрапывать. Тут же вдруг и очнутся, перекинутся словом-другим о пчёлах, о пасеке, о чём ином ли, снова, слышишь, засопят – охотники.

Мне не уснуть – на новом месте у меня не получается, буду лежать – и ни в одном глазу – до самого подъёма, взбудораженный: скорей бы там, на Тахе, оказаться! – я не в ладах ещё со временем. Но:

Отче наш, Иже еси на небесех!..

* * *

Скоро в избушке выстыло – уже ветхая да и к зиме совсем ещё не подготовлена – в окнах не вставлены вторые рамы, дверь, хоть и толстая, но не обита пока войлоком. «Стены уже как решето... Столетняя, дак чё там... Проконопатить надо будет как-то, как бы вот только время выбрать, то никак всё», – говорит о избушке Василий. «Ага, всё бросишь и займёшься конопаткой, – говорит ему на это Виктор. – Как же... А медовуху-то кто будет пить?! Если отступишься, прокиснет». Улыбается Василий: в том-то вот и беда, дескать, что некогда, так-то давно уже бы и занялся. Ну, мол, конечно.

Лежат все, как зародыши, свернувшись; кто во что сумел укутаться, как куколки, не шевелятся; ни рук, ни ног, ни головы ни от кого не видно.

Никто не встал ночью, не подбросил дров в буржуйку, все поленились.

Шипит на тумбочке приёмник – не пробивается сквозь шип ни музыки, ни речи – эфир как в рот воды будто набрал – пора такая для эфира: мёртвая.

Предутрие – по времени, по темноте – так ночь ещё глухая.

Слышу я, а приоткрыл глаза, и вижу, Василий поднялся – спал он не «разболокаясь», то есть как был вечером в трико и в майке, так в них и лёг, впрочем, и мы не раздевались, – минуя спящих на полу, последовал к столу, чуть добавил свету в лампе, затопил буржуйку – загудела та, отзывчивая, сразу, заиграла в щели бликами – уютно. Вышел Василий с фонариком на улицу, к собакам. Побранил их там за что-то, слышно. Побыл сколько-то. Вернулся. К столу подсел, плеснул из бидончика в кружку медовухи, выпил, а после закурил. «Беломор» курит. Сидит на лавке нога на ногу, в себя понуро смотрит – в уме забот, пожалуй, неизбывно.

Я и Виктор тоже на ногах уже. Под рукомойником, за печкою, умылись. К столу, к Василию, подсели.

А Николай и Ваня ещё дрыхнут.

– Ты бы, брат, сильно-то не налегал, – говорит Василию Виктор. – Всю всё равно её не выпьешь... Как поведёшь машину-то обратно?

– Да я маленечко...

– Но, знаю я твоё маленечко.

– Кого тут... Капля.

– Две... И к ним ещё четыре фляги.

– Чтобы во рту только поправить... Минтос, – говорит Василий. Улыбается. – А то как в заднице у негра...

– Ну так.

– А чё, да так и поведу, впервые, чё ли... Так даже лучше: больше скорость – меньше ям... А ты-то будешь? – спрашивает у меня Василий, щёлкнув пальцем по бидончику, – глухо откликнулся бидончик: не опростался ещё, значит.

– Нет, – отвечаю. – Я же не с похмелья.

– А чё, с похмелья только пьют-то?.. Его, похмелье, надо ещё заработать.

– Не заработал ещё, значит.

– Разводи примус, ставь чайник, – велит Василию Виктор.

– А примус-то зачем, – говорит Василий. – На печке чайник... скоро закипит уж.

– Николай!.. Ваня! – команду ю. – Хватит валяться. Поднимайтесь.

– Пусть спят, – говорит Виктор. – Без них поедem. Вернётся брат через часок, разбудит, и Николай ему поможет разобраться с медовухой тут... То в одиночку-то когда он справится... Иван им будет подносить... И мило дело. Так я думаю.

Зашевелились Николай и Иван – просыпаются.

– Поспать не дадут, – ворчит Николай.

– Привыкай, – говорит ему Виктор. – Тебе три ночи там ещё сушиться.

– Вредные.

Чаю попили крепкого. Сидим. Молчим. В окно то и дело поглядываем – там, за окном, ещё густые, как собачья шерсть, потёмки.

Хлопнул ладонями, как выстрелил, по коленям себя Виктор вдруг и говорит:

– Ну, ребята, хватит кунку гладить, пора телегу ладить... Пока доедем.

Встали мы из-за стола. Вышли на улицу.

– Серенькое утро – красненький денёк, – говорит Виктор.

– Чё-то мне оно не нравится, – говорит Николай. – Правда, пока ещё не угадаешь.

– Ты, как колдун, всё и гадаешь, – говорит ему Виктор.

– Да, – говорит Николай. – Гадаю... только на погоду.

– Какой ты... прямо и не знаю. Шаман, ли чё ли, в кочке ноги.

Иван зеваает, ёжась и утягивая, как пугливая улитка в свою раковину, голову в чёрной вязаной спортивной шапочке, скрывшей и брови у него и уши, в поднятый меховой воротник «пилотской» куртки, спрятал и руки он в её карманы – продрог парнишка, непривычный.

Василий в своих «выходных», как он их называет, то есть «охотничьих», светло-табачных, «хэбэшных» штанах, с ножом на поясе; в домашних тапочках; в одной фланелевой рубашке клетчатой, тёмно-зелёной; в сдвинутом на затылок выцветшем берете камуфляжном. И улыбается, как дембель. Хоть на портрет его, на «дембельский», фотографируй – выразительный. Душман таёжный.

Виктор в вылинявшей, старенькой, потрёпанной энцефалитке. И тесна она ему, великому, и коротка – так, что и пуп не прикрывает даже. Между широким, «офицерским», ремнём, который висит у него, как у ковбоя пояс с кобурой, чуть ли не на мошонке, и поясной резинкой энцефалитки пялится на улицу голое брюхо – тугое, словно чересчур

надутое, круглое, как пузырь, и волосатое, «как у абрека».

Крутятся возле нас собаки, хвостами помахивают – в азартном ожидании, всё лайки – умные. Ворчит на них Василий – для порядка.

– Приеду, кашу вам сварю, – сообщает он им безразлично. – Пока тут стерегите. – Сказал так собакам и спрашивает у нас после: – А вы ружьё-то брать не будете, ли чё ли?.. Мало ли... Зверь попадётся, может... с мясом бы сидели.

– Да ну его, – говорит Виктор, – с ружьём ещё морочиться... Рыбу бы донести, – смеётся он, – то ещё мясо... Силы не хватит.

– А вон... вручить его Ивану, – настаивает Василий. – Парень здоровый – потаскает.

– Да я бы взял, не отказался, – вдруг оживившись, говорит Иван. При этом чуть не весь из куртки вылез, даже в потёмках заблестев глазами из-под шапки.

Сходил Василий в избушку, вынес оттуда ружьё – шестнадцатый, двухстволку тульскую – и полный патронташ, подал их Ивану. Тот рад-радешенек – патронташем перепоясавшись, ружьё вверх стволом повесил на плечо, Тургеневым перед нами прошёлся, смачно поскрипывая прихваченной заморозком травой, и говорит:

– Нормально.

– Э, мужики, вам же ещё и мою лодку?.. – спрашивает Василий.

– Лодку, конечно... Тоже вон Ивану, – говорю я. – Ему в ней плыть, ему с ней и идти... Пусть тренируется.

Принёс из бани Василий резиновую лодку, упакованную в вещмешок, с торчащими из него дюралевыми вёслами, запихал её сразу в багажник «Нивы» – кое-как туда и втиснулась.

Размещаемся и мы все в машине.. Завёл Виктор мотор. Прогревает. Он и Василий курят.

– Как паровозы, – говорит им Николай. – Дышать вон нечем.

– Не ругайся, – говорит ему Виктор.

– Когда встречать вас, рыбаки? – спрашивает Василий, всё почему-то больше веселящий.

– Вечером на четвёртый день. Сегодня пятница... так... значит, в понедельник, – отвечает ему Виктор. – Как прошлый раз-то, не проспи, а то налижешься опять тут...

– Да постараюсь, – говорит Василий, улыбаясь.

– Чувствует моё сердце, постараешься, – говорит Виктор. – Снова пешком плестись придётся... Раз уж устроил нам по-свойски.

– Кто старое помянет, тому глаз вон. Тогда так получилось... гости одолели. Не беспокойся, – говорит Василий. – Я запишу... А тут и – добежите – недалёко.

– Но, – говорит Виктор, – по карте носом миллиметр... А по земле потопаешь ногами.

Поехали – колеи здесь глубокие, на своём «Трумене», «сто пятьдесят седьмом», Василий их нарезал, вода и летом жарким в колеях не просыхает – медленно, обочиной, стараясь не сползти и не подсесть на грунт мостами. Блестит на траве иней. Деревья в опоке – искрятся. В свете фар бело всё – как от снега.

Василий открывает на ходу дверцу, кричит, высувшись и обернувшись, на собак, чтобы те оставались тут, на пасеке, а не бежали за машиной.

– Шить! – приказывает им Василий.

Послушались его собаки, смотрят нам вслед, но не бегут, остановились.

- Не выпади, – говорит Василию Виктор.
- Да чё я выпаду-то? – говорит Василий, закрывая дверку. – Не выпаду.
- Кто тебя знает?.. В борике надо будет, не забыть бы, тормознуться, – говорит Виктор.
- Зачем? – спрашивает Василий.
- А как зачем!.. А удилище-то для Николая...

Мы смеёмся. У меня спиннинг, у Виктора и у Ивана удилища пластиковые, телескопические. Николай не признаёт такие – для него такое «хрупкое», только ершей тягать, мол, на такое, путняя рыба враз его ломает, дескать. Вырубает он себе обычно сосновое, сырое – день, не рыбачить уж, а просто потаскать такое – и без рук остаться.

– А-а, это надо, – говорит Василий. – Прошлогоднее-то пересохло, легковато, однако, будет.

Проехали мы полями, засеянными овсом и изрезанными вдоль и поперёк по ниве медвежьими тропами – любят медведи полакомиться овсом молочным – можно их скараулить тут и завалить, пока овёс ещё не сжали. Спустились в длинный, больше чем километровой, косогор, год назад ещё покрытый густо вековелыми лиственницами, а нынче пнями лишь утыканный, – в долину Тыи. Миновали, слава Богу, проскочили мочажину топкую. Вкатились в борик, Щетининский называется, в сороковых годах ещё, послевоенных, вырубленный, мало-помалу только-только отрастающий. Тогда ещё пилили бережнее – брёвна к речкам для сплава на конях возили, сучья в кучи собирали и сжигали – легче лесу и восстановиться. Это сейчас – как вороги на оккупированной территории – на деляну после них не сунешься, а если попадёшь туда случайно, так и без ног останешься, пожалуй.

Едем мы теперь хорошей, твёрдой, боровой дорогой, ныряя в ямы и из них выныривая.

– Останови! – командует вдруг Николай.

– Чё такое?! – спрашивает Виктор, тормозя машину резко.

– А удилище-то, – говорит Николай.

– Ах ты язва!.. Я уж и забыл, – говорит Виктор. – Аж испугался... заорал-то... Не медведя ли, подумал, задавили?

Уже отбеливает тонко по востоку – чуть лишь брезжит. Линией зубристой отличился горизонт от неба. Лес из мрака слабо выявился – нависает. Ветерок полосовой напористо по лесу пролетает – потерял что вечером ещё, играл-шалил, так вроде ищет. Поверху сопки обозначились едва – громоздкие.

День неминуем, приближается.

Переночевав благополучно, с края на край в тайге переключаться начинают световые птицы, живы все здоровы ли, справляются, славят ли Творца, проснувшись; а ночных нигде уже не видно и не слышно – наохотились, насытились и угнездились; днём-то им какой, поди, и отдых – шуму столько – как на «ярманке».

Все мы, кроме вдавленного в угол его дядей и дремлющего там, как байбак, Ивана, выходим из машины и принимаемся искать по борюку сосёнку подходящую. Те, на которые указываем ему мы, даже не глядя на них, Николай бракует сразу – то, дескать, жидкое, а то сухое слишком, мол, и, значит, ломкое, – находит себе сам. Взятый у Виктора ножом – своего у него нет, какие когда и были, так все переломал он, растерял ли – срезает Николай сосёночку почти под корень, отсекает у неё вершинку и сучки, ошкуривает, основание заостривает – удилище и готово.

Виктор, примериваясь, берёт «инструмент» этот в руку, приподнимает чуть и тут же его опускает. И говорит:

– Это хорошее, это пойдёт...

– Да, это доброе, – говорит и Василий. Тоже примерился. – Сломать такое... да-а, дурак-то клюнуть должен... о-о.

– Где и как вагой, как багром им можно будет поработать – не подведёт, поди, не треснет... Какой заторишко где растолкать, дак и искать ничё не надо, – говорит Виктор. – Любые брёвна этим распихаем.

– Да-а, – говорит Василий. – Сна-ась.

– Ээ, – говорит Виктор. – И косолапому, если тот где на речке в лодку-то полезет вдрут, хряпнешь таким, дак мало не покажется, морду расквасишь всмятку махом, перешибёшь ли пополам ему хребтину... Чуть разве в комле только тонковасто – ага, кого вон! – пальцы в обхват маленечко не сходятся... Чё-то ты нынче, парень, подкачал... Прощлый-то раз потолще вроде было.

– Молчи! – говорит Николай. – Тебе им не рыбачить.

– Слава Богу, – отвечает Виктор. – Нож не сломал?

– А хочешь, чтоб сломал?

– Давай сюда, то потеряешь.

Снова залазим все в машину. Едем. Николай теперь сидит рядом с Виктором, высунув в дверцу с опущенным стеклом руку, держит ею удилице. Окно открыто – холодно нам, сидящим сзади, – задувает, но уж терпим.

– Смотри, орясиной своей не зацепи какое дерево где, а то ещё повалишь поперёк дороги, – говорит Николаю Виктор, – и не проедем.

– Рули путём – не повалю, – отвечает Николай.

– Какой ты дерзкий.

Ну вот и Тыя. Правый её берег. Проезжаем по нему вверх по течению реки ещё метров двести и останавливаемся – дальше нет уже дороги. Почти напротив устья Тахи. Она впадает в Тыю слева.

Выгружаемся. Проверяем, не оставили ли что в машине или там ещё, на пасеке, случайно. Рюкзаки у нас и каны – грузу у каждого не больше двадцати килограммов, но заходить-то далеко, так и натянет.

Щуро нам, как детям малым будто, улыбаясь, вынимает Василий из-под рубахи и из-под ремня, от впа-лого, как у выбегавшегося в охоте или за сучками кобеля, живота своего – и как он с ней ходил, когда и взял, когда её туда пристроил, никто из нас и не заметил даже – тёмно-коричневую пластмассовую полуторалитровую бутылку из-под пива «Купеческое». Стоит, сам себе, как змей, хитрый. Пробку откручивает осторожно, на нас глазами, счастья полными, уставившись. Шипит под пробкой медовуха, пенится.

– Вся бы не вырвалась из заточенья-то, то она может... Пыш один раз – и пусто, сгасовала. Шибче шампанского играет, – говорит Василий. И говорит: – Ну, чё, немного надо на заход-то... чтоб вам фартило, то ведь это... маленько духов чтобы сдобрить.

– Ты уже сдобрил их и, вижу, ладно, нам теперь нет нужды заботиться об этом... От самых яростных обезопасил на неделю, – говорит Виктор.

– Ну дак... я для кого, для вас стараюсь.

– Оно и видно – нос уже сизый.

– Он у меня такой от веку, отморозил его в детстве.

– Кому другому расскажи, нам-то не надо... отморозил.

Отпиваем мы по глотку-по два. Василий к бутылке прикладывается основательно.

– Смотрите, чадо как оголодало, – говорит Виктор. И говорит, косясь на брата: – Однако, да... пешком идти придётся нам обратно... Так чё-то мне, ребята, кажется. Ага. Могу поспорить с кем-нибудь на рубль.

– Давай со мной.

– С тебя получишь!

– Да всё нормально будет, мужики, вы успокойтесь, – говорит Василий. – Не забуду. Ну а забуду, уж не обессудьте.

– Молодец, – говорит ему Виктор. – Правильно рассуждаешь.

– Ну дак...

– Тебя, как птичку, слушал бы и слушал.

Виктор ворчит. Василий улыбается.

Теперь нам надо перебраться через Тью по бревну. Непросто это.

Подмыло, рухнул когда-то, повалив за собой ещё несколько лесин поменьше, но не на том, на котором стоял, а на другом берегу, куда упал, мощный кедр, с комля его давно уже заилило, корни лишь частью на виду торчать остались, а с вершины упирается он в толстую, живую ещё, пихту – потому его и в половодье не уносит, льдом только хрупкие сушня с него обломало, так и служит он теперь, пока не сгнил и не переломился, для таёжников мостиком. Всё будто ладно, но одно вот неудобство – лежит оно, бревно это, высоко над речкой и не прямо, а под углом – в подъём – градусов в двадцать. Тратим мы тут, на этом переходе, много времени. Я и Виктор каждый раз вроде и с горем пополам, но переходим, а Николай – вот с ним-то и загвоздка. «Мандражирует». И долго. Мозжечок совсем, говорит, что-то испортился – вертикаль, мол, плохо держит. Ну, бывает.

Зная это, провожает нас Василий до бревна – нам поболезновать.

Кое-как, друг другу помогая, прорвались мы, навьюченные, как дромадеры, через густой, но облетевший уже благо, а то и вовсе, задохнуться в нём, но без топорика через него бы не продраться, терпко пахнувший в простылом воздухе черемушник, каждое лето прячущий настырно от людей тропинку; и предстали.

От воды, снизу, тёмное оно, бревно, – отмякло, – сверху сверкает, как хрустальное, – обиндеVELO рясно – скользкое, как налим, если не пуще, что уже было нами прошлой осенью испытано и пережито в полной мере. Только при виде этого бревна глаза у Николая округлились – так уж его теперь пугается, бедняга. Мы – я, Иван и Виктор – в болотных, а он в кирзовых, «лес-промхозовских», сапогах, с носками-набалдашниками. И по ровной-то земле ступать в таких «сороходах», наверное, сложно – как в веригах. «Зато для ног, – говорит Николай, – здоровее. Кожа всё же, не резина». Хотя там кожи-то – одна полоска. У него тромбофлебит – мучается. Хотя какое там «здоровье». У нас хоть в сапогах вода не хлюпает, пока нечаянно не зачерпнёшь где, а у него ноги всегда в сырости, и сапоги – чуть что – и полные. Летом-то ладно, ну а осенью... Вот уж упрямый, так упрямый: так «здоровее», мол, и всё тут. Такую твёрдость духа проявлял с женой бы, да, а то... ну, словом, ясно – подкаблучник.

Переступая «лесенкой» сторожку, перешёл я по бревну на левый берег Тыи и на правый берег Тахи, на стрелку то есть, оставил там свои рюкзак и кан, перенёс туда после и остальные рюкзаки и каны. Стою. Дышу полной грудью. То вроде зяб всё, зяб, как из избушки только вышли, и в машине, а тут согрелся

разом, даже и в пот меня прошибло от такого напряжения – искупаться-то сейчас совсем не хочется – не знойно. Иней на бревне от ног моих чуть-чуть подплавился – бревно и сверху потемнело. Перешёл за мной следом и Ваня, с вещмешком, в котором вёселки и лодка, и двухстволкой за спиной. Встал на бревно, смотрю, и Николай. Сошёл, вижу, с него тут же, бормочет себе, в русую бороду что-то; глаза у него – голубые, большие – и вовсе с блюда стали от расстройства-то. Нос у него – как у Льва Николаевича Толстого в старости – баклушей. Окончательно уж рассветало.

– Ну? – говорит ему озабоченно Виктор: и самому ещё ведь перелазить. – Чё ты?

– Чё, чё!.. Да не могу, – говорит Николай. – Только ступил, и голова сразу кругом... Раньше по брёвнам бегал, как по гаревой дорожке.

– Ну, вспомнил тоже... Раньше и все мы были рысаками... А ты бы взял да помолился, – предлагает ему Виктор. – Перенесло бы тебя, может?.. Как блаженного.

– Да?! – говорит Николай, глаза на Виктора тараща. – Помолился!.. Умный какой... А я чё делал!.. «Интернационал», что ли, пел? – и заикаться даже начал от волнения.

– Вам вдоль бревна тут надо тростишко бы натянуть, вот от корней-то этих и до пихты, чтобы маленько хоть придерживаться, и нормально... Можно и проволоку просто. Ходите часто, следует устроить, – советует, улыбаясь, Василий. Ему-то что переживать, ему сегодня не карабкаться, а то понервничал бы тоже. – Как в горах через ущелье... Вертолёт ли нажимать, а лучше свой уже, конечно, займет... Пора бы вроде, мужики-то уже взрослые, а не засранцы.

Пять минут лёту – и на Масловской, и по бревну бы не корячились, – сказал это Василий и к бутылке ненадолго приложился, так в руке которую и держит. – Или вот выпить – и тогда, ребята, как на амбразуру... Вихри враждебные веют над нами...

– Уже запел... муж этой... как её там?... Аллы Пугачёвой, – глянув на Василия, говорит Виктор и предлагает Николаю: – Ты говнодавы-то свои сыми и босиком, как этот... Маугли... попробуй.

– На самом деле, – говорю и я ему с другого берега. – В твоих же только... ламбаду вытанцовывать.

– А чё, и правда, – говорит Николай. – Можно и лодку, правда, накачать... и переплавиться.

Сорвалась с кедра, упала, шлёпнувшись об воду, в Тьпо шишка – поплыла, течением подхваченная; тычутся в неё, видно, мордами мальки, её поклёвывают.

– Ну, это долго... на полдня тут, – говорит Виктор.

– А так скорее?

– Так скорее.

– А скovyрнуть?..

– Тогда и вовсе заторопишься.

– Ладно, – говорит Николай.

– Давай, – говорю я.

– Приступай, – говорит Василий. – С Богом... Бог не выдаст, свинья не съест.

Иван сидит на колоде, рукой ружьё гладит. Сочувствует дяде.

Метнул, как копьё, своё удилище на мой берег – а то хотел им было балансировать при переходе – воткнулось оно возле меня в дёрн – качается. Сел он, Николай, после на бревно, разулся; глядит на небо, как смертник.

– Брата-то чуть, индеец, было не убил, – говорит Виктор.

– Молчи, – говорит Николай.

– Слушаюсь, – говорит Виктор.

Поднялся Николай с бревна, стоит на песчаном мыске, босой.

– Бурлак на Волге, – говорит Виктор.

– Ага, – говорит Василий. – Репин.

– Да, – говорит Николай. – Бурлак, – и мне кричит: – Сергей, лови-ка!

Бросил он один сапог – попал тот прямо под ноги мне. Швырнул он другой – ударился тот – гулко в зычной, только что очнувшейся тайге – о ствол пихты и плюхнулся в Тьпо – рыба крупная как будто сплавилась.

– Таймень, – сказал Виктор. – Блеснить, Сергей, тебе придётся, так, однако.

Чудом не утонул, такой тяжёлый-то. Спустился я вниз, почти скатился, успел, подцепил его, едва дотягиваясь, за голенище вырванным из земли удилищем, причалил к берегу, достал сапог, воду из него вылил, наверх поднялся, пристроил его вверх подошвой к пихте – пусть пока обтекает. Молча все за этим наблюдали, после все вздохнули облегчённо.

– И тут оно вот, удилишко, пригодилось, – говорит Виктор. – Хорошее, – и говорит: – Пихту-то чуть, вредитель, не сломал своим обутком смертоносным... Нет на тебя зелёных рядом тут... экологов, а то бы плешь тебе проели.

Ворчит Николай – я вроде у него виноватый, поперечный ветер ли, ворона ли пролётная.

– Плохой бы из тебя, парень, вратарь, однако, получился, – говорит мне, улыбаясь, Василий. – Неважно ловишь.

– Я не матрос Кошка, – говорю.

– Да-а, – говорит Виктор. – Маленько смазал оба раза, а то уж брату-то бы не рыбачить.

Иван молчит – на нас любитесь.

Встал Николай на четвереньки, пошёл по бревну. Пошёл ли?.. Как зверь. Картина – древним чем-то от неё повеяло вдрут.

– На заре человечества, – говорит Василий.

– На закате, – говорит Виктор. – Ты, Николай, когтями на ногах, как бурундук, в бревно поцепче уж впивайся-ка, – рекомендует Николаю он. – А то ведь... не сапог – и таким даже знатным удилицем тебя сразу не выловишь... Ладно, что плавать хоть умеешь... Ну, и плыть босому-то удобней.

Безмолвствует Николай, передвигается. Бледный. Теперь и все мы языки как будто проглотили, истерично наблюдаем. Перебрался. Достал портянки из кармана телогрейки, на бревне сидит, ни на кого не смотрит, обувается.

– Ловко. Почти что взапуски, – кричит ему с другого берега обрадованный Виктор. – Как на бревне будто родился. Орден-то, может, нет, а на стакан-то заработал... Плеснём, Сергей, ему на Масловской?!

– Придётся, – говорю.

Не отвечает Николай, насупилсь, как дождевая туча. Обулсь. Встал. Прохаживаться начал – нервы успокаивает.

Благополучно – хоть и не разуваясь, но тоже, как бабуин, на четвереньках – перебрался к нам и Виктор. Стоит, шумно втягивает и выталкивает из себя, как из цилиндра поршнем будто, воздух – одышка.

– Рысак, – говорит ему, успокоившийся уже, Николай.

– Ага, – говорит Виктор. – Есть маленько.

Тепло с нами прощается с другого берега Василий, всего нам доброго желает, как с любимой будто расстаётся, только что не рыдает. Поставил на землю

себе под ноги опорожнённую уже бутылку из-под пива «Купеческое». Распростился с нами, будто с новобранцами. Пошёл к машине. Запел своё, весёлое какое-то. Хлопнул дверцей. Поехал, слышим.

– Пожалуй, встретит, – говорит Виктор. – Так чё-то мне кажется... Шаляпин.

– Может, и встретит? – говорю я.

– Ага, как в прошлый раз, – говорит Николай. – Опять напьётся и забудет.

– А он уже забыл, наверное... Ходил за лодкой, за ружьём-то... там же везде заначки у него... как у верблюда.

Иван молчит, ружьё вскинул, в ворону целится, играясь. Одну «убил», другую взял на мушку.

– Побереги патроны... так транжиришь-то, – шутит, переводя дыхание, Виктор. – А то медведь вдруг где... тебе и стрелить будет нечем.

– А на медведя пули я оставляю, – говорит Иван. – Этих я дробью.

– Не дай и Бог, – говорит Виктор. – Лучше бы с ним и не встречаться, с косолапым... Ходи он мимо, по своим делам... как поезд.

Покурил Виктор. Посидели мы, пока он курил, а заодно и отдышался. Встали. Рюкзаки и каны на себя надели, лямки от них поправили друг другу за плечами – несподручно самому-то. Ну, с Богом – с Богом, мол. И подались.

И так у нас заведено: час ходу – десять минут отдыха. Ну а идти часа четыре – приблизительно – как угадаем. Последний, четвёртый, привал устраиваем мы уже на Масловском ручье, около Масловской избышки, если, конечно, выйдем к ней, а не промажем, недалеко уже от пункта назначения, откуда после и сплавляемся. Вода в этом ручье удивительная, чай с

неё заваривается славный, и он, ручей этот, по ходу тут единственный, где можно чай-то скипятить. Какие и бегут в распадах ещё в июне, к июлю напрочь уж пересыхают. Таха из сопок соки все вытягивает.

* * *

Солнце взошло. Наверное. Пора уже ему. Взошло, конечно. Не показалось нам оно ещё пока только из-за тумана плотного – болтается тот, шаткий, никак не определится – припасть ему к земле или подняться к небу – туда-сюда бросается, как непутёвая собака на прохожих, – и на лице он оседает свежей мокретью. Бодрит. Приятно.

Тропинка тут натоптанная, больше всего, конечно, рыбаками, что и понятно, всё же у речки, также охотниками, в меньшей степени, и шишкарями, то листвою, то хвоей палой выстланная толсто – шагать по ней мягко, пружинисто, одно удовольствие, – то она жёлтая, то она бурая, то она чуть ли не малиновая – облетел уже весь краснотал – так от его, конечно, листьев; то она в горку, то под горку, где петляет вслед за Тахой, по её ярам высоким, где прямит в её излучинах по хорде, пропуская в кривунах места «неклёвые». То и сами мы и срезаем, но не наобум, не «на дурака», как говорит Виктор, а только там, где нами было уже хожено, разузнано и точно помнится. Прямить далёко тут рискованно – по тропинке, какой бы она ни была, идти всё же легче, не выигрываешь и по времени особо-то, спрямляя, – проверено: или залезешь в буреломную чашу – а с рюкзаками-то да с ка-нами по ней ломиться! – или в старицу непроходимую уткнёшься – вот и делай после обходного крюка – проиграешь и по времени, и в силах потеряешь.

А тут иди себе да и иди. Ну, не терпится, конечно, хочется скорее.

Шишки кедровой в этом году урожай небывалый, давно уже такого не было, полно нынче в тайге и разного зверья поэтому – текут на корм сюда одни, тянутся за ними другие и тоже не ради компании весёлой, а ради пропитания – мир так устроен.

– Белка есть – появится и соболь, – говорит Виктор. – Проходная, вся-то не останется... таборная только.

– Да, – соглашаюсь я.

– А?! – спрашивает Николай.

Но никто ему не отвечает. Дальше и он молчит, идёт, шумит, не ждёт ответа.

Задрав хвосты, как скорпионы, то по тропинке, то её пересекая, а где валёжина, по ней проскачет непременно, а если пенёк, через него уж обязательно переметнётся, носятся туда-сюда озабоченно – со стороны-то кажется, что бестолково – полосатенькие, как вепрята-поросята, бурундуки, одни порожные – сердито на нас циркают, ещё бы: в самое жаркое для них, заготовительное, время, мы под ногами у них путаемся, а другие – с туго раздутыми от орехов щеками – без звука – с мордой, набитой до отказа, не поциркаешь.

– Смешные, – говорит про них Иван.

– Страшные, – говорит о них же Виктор.

– Чё?! – говорит Николай.

Белки, мелькая, словно искры, по стволам и шурша при этом по коре сноровисто когтями, цокают на нас с деревьев – дразнятся, знают, что вот сейчас, невыходных-то, их никто не тронет, это потом побегайка за ними, поищи-ка.

– Додразнишься, – бросил одной из них на ходу Виктор. – Иван вон дробью-то залепит.

– А можно? – сразу ухватился тот.

– Да ну, зачем же... Я это ей, чтоб не дразнилась.

Кучно и рябчиков, но эти не орехами лакомятся, а ягодой, в той тоже нынче недостатку нет – и костяники, и рябины, и черёмухи – полно вон.

Рябчиков Иван пока не стреляет: убьёшь – нести их далеко будет – это уж мы ему, конечно, запретили, сам-то он и рад бы поразвлечься. Попадутся, так подстрелит ближе к месту.

И идти нам всё пока на юго-запад.

Я шагаю первым – нет росы, так и сухой я – замечательно; от инея сильно не намокнешь, разве что штаны отволгнут на коленях, солнце глянет лишь, они и высохнут. Сразу за мной Иван идёт, старается, «горожанин в первом поколении», раскраснелся, разогрелся – голову в воротник уже не прячет он, а то – как курица на седале – так был скукожен.

– Тяжело? – оглядываясь, его спрашиваю.

– Да ничего, нормально, – отвечает.

– Держись подальше от меня... метра на три или на четыре, – учу его я. – Стереги глаза от прутьев. То стегну ещё нечаянно... Со спины же я не вижу.

За Иваном, на должном от него расстоянии, следует Виктор, давно уже наученный – таёжник.

– Дядя Коля вон дотащит, если кто идти не сможет, – говорит он, Виктор. Сипло дышит. – На ноги-то ему ещё по гире прицепить бы надо было, сапогов-то его мало... Но. Как лось... Меня не затоптал бы... Идёт, шумит – бульдозер будто догоняет. Всё и боюсь, не задавил бы.

Николай, гремя, как боталом, прицепленными к рюкзаку с лодкой котелками, нашу цепочку замыкает. Слышит он только на одно ухо, на другое глух, как тетерев, и в разговоре, хоть и хочет, но пока не участвует. Вперёд мы его теперь не пускаем – натер-

пелись – бежит он, длинноногий, быстро, нас не щадя, и левит обычно, что ему ни говори, круто, когда с тропинки уже сходим, – так что мы сильно удаляемся от Тахи к югу, чуть не к Тые, а потом как угорелые и чешем далеко и строго к северу. «Правую ногу бы ему маленько подпилить, то прёт по кругу... как мельничный мерин», – говорит Виктор. Когда он, Николай, водил нас поначалу, на месте мы, взмыленные и злые, оказывались часов через восемь. Теперь за четыре, а в лучшем случае, не заберёмся если где, поторопившись, в болотину, то и за три с половиной часа добиремся. С тропинки сходим и идём затем по компасу. А Николай – тот компасу не доверяет, как противнику, и указания его не признаёт. «Да-а, прибор – стекляшка с железячкой. Всякая аномалия его обманет. А их тут сколько... В мозгу, – говорит, – у меня компас, как у зверя, этот-то, точно, уж не подведёт». – «Ага, точно такой же, как и мозжечок твой, – отвечает ему Виктор. – То-то мы с тобой и заходили чуть не по дню». – «И всё равно лучше было, – упорствует Николай. – По крайней мере, интересней». – «Один и бегал бы, раз интересно», – говорит ему Виктор. «Тебя ничем не перемелешь», – говорю ему я. «Да», – отвечает.

Идти пока не жарко – вовремя мы нынче в путь тронулись, ни за похмелькой, ни за чаем утренним на пасеке не задержались. Сейчас ни мошки нет пока, ни мокреца, не мельтешат роем перед глазами, свет белый не застилают, и лицо от них не надо прятать в сетки, хотя от этих-то и в сетках спрячешься не шибко, проникают во все щелки, чуть где в одежде дырка маленькая, и проберутся, накусают, – а то и дышать в сетках, ещё и на ходу-то, тяжелее, и смотреть через них утомительно. Сейчас вот ладно. Воздух

здесь всегда с озоном почему-то, из-за леса, может, хвойного, из-за чего другого ли, резок и вдыхается так: во всё тело сразу будто – словно в губку. Крапива и пырей от зазимков уже увяли – идти стало свободнее, прогляднее сделался обзор. Заденешь их, пырей или крапиву, иней с них посыпется, сверкая. Нет-нет, да и появится от нас справа Таха, блестнёт внизу плёсом ровно или мелко перекастом. Радостно. Вода немутная – дно сверху просматривается – камешниковое. Таймень где не стоит ли, не сыграет ли, глазами ищем. Идём, переговариваемся.

– Добрый, поди, дурак живёт в том омуте, под перекастом-то вон, – предполагаю я с задором.

– Не говори. Живёт, наверное, холера. Дождаться нас никак не может, – откликается на это Виктор.

– Хвостом – стоит на дне, поди, и – взбрыгивает, зараза, – совсем уж по-сибирски, по-чалдонски, подражая нашим старикам, говорю я.

– А как же, взбрыгивает, конечно, лихорадка, – отвечает так же Виктор.

Ивану всё равно, живёт там, в омуте каком-то, кто-то, не живёт ли, хвостом играет, не играет ли, – разговор наш он не поддерживает. Вот из ружья бы попалить ему в кого-нибудь или во что-нибудь, другое б дело было, так я полагаю.

– Пострелял бы?

– Пострелял бы.

– Постреляешь.

Отстал где-то Николай: котелки его не бухают, не слышно. Идём медленнее. Оглядываемся. Видим вскоре: догоняет. Насобирали он с земли в котелки кедровых шишек. Одну в руках держит, орешки из неё на ходу щёлкает. Довольный. Удилище несёт, зажав его под мышкой, как оглоблю.

Подобрал и я «паданку», кедровка которую выронила, ею же уже и начатую. Щёлкать принялся, и ни одного в ней, в этой шишке, полного ореха не нашёл, а всё пустые. Добрую шишку та, кедровка, не выбросила бы – живёт этим – разбирается.

И у Ивана вижу в руке шишку.

Виктор орехами не занимается. «Грызть мне их нечем, – говорит. – Кто б их пощёлкал мне, а я бы уж пожаткал... Хоть нанимай кого-нибудь, ли чё ли... Хоть Николая».

Где нависли над Тахой толстые, в два обхвата, высоченные кедры, там в заводи под ними тоже много шишек накопилось, тесно, одна к одной, прибитых к берегу; полным-полно их и по ерикам, будто в какой-нибудь китайской гавани лодчонок. Ни одной скоро не останется – звери и птицы приберут все до единой, в закромах своих схоронят – зима-то тут такая долгая – снежная вечность – не все её и переживут.

Тропинка всё худеет и худеет. Вскоре и вовсе пропадает, как исток ручья, будто скрывается под землю. Дальше обычно рыбаки уже не забираются. Мы вот только. Мы да ещё, может, один человек – Саня Ларин – есть такой рыбак заядлый; живёт он в Елисейске, но дома бывает мало, всё больше по озёрам да по речкам, «как варнак заблудный, шастат», безработный нынче, как и многие, «слободный», и сюда вот наповадился. Ну и Бог с ним, с Саней Лариным, нашу рыбу он не выловит, ему свою бы как поймать да вынести, а дров, воды и воздуху на Тахе всем хватит. Далеко, как мы, от гари не заходит он, тут, поблизости, всё крутится. Иногда, когда до этих мест мы уже спустимся, видим следы его на косах. Но рыбачить тут нам уже скучно – ходом проносимся до устья.

Сворачиваем мы, удаляясь от Тахи, круто влево, выбираемся из пихтача в гарь и останавливаемся на перекур.

В шестидесятых годах «прошёл» тут широкой полосой шелкопряд и погубил весь хвойный лес на сотни километров, сожрав с него наголо всю хвою. Высытятся теперь здесь только крековастые сухостоины, не подьел ещё пока которые снизу весенний пал, и они пока не завалились. Рухнут скоро и последние. Передвигаться по гари трудно – малинник, чапыжник, кипрей да пучки-зонтики, выше человеческого роста, а к этому ж ещё и пни и кочки да колода на колоде, сразу и не разглядишь в траве которые, – всё-то идёшь да спотыкаешься. А загреметь при полной амуниции приятно, конечно, мало, потом ещё и подниматься же. Еще бы раз, а то ведь... всё проклянёшь. Местами зарастает гарь осинниками и березниками, но те пока ещё мелкие да густые, обходить и их приходится, через них-то не продрасться. Тут мы немного скашиваем к полудню и направляемся туда, где сама Таха к югу отклоняется своим изгибом. Но это после перекура.

Рюкзаки и каны сняли. Сидим на полусгнившей мягкой, холодной валёжине. Спины у нас под рюкзаками взмокли – парят, как иордани. Десять минут наш отдых – так условлено. Виктор курит – ему ладно. Николай с Иваном шишки разбирают. А мне сидеть никак не терпится. Минуты три-четыре протянулись.

– Ну, что, пошли, – говорю. И поднимаюсь.

– Да у тебя чё, шило в заднице-то, чё ли?.. Ещё, успеешь, накидаешься, – говорит мне Виктор. И продолжает: – Кто спешит, тому глаз вон...

– Ага, – говорит Николай. – Придумал тоже.

– Ну, или ногу, – добывает Виктор тонким сучком из мундштука окурков, прячет мундштук в нагрудный

карман энцефалитки. Говорит: – Ну, чё, сидят-сидят да и, на самом деле, ходят.

И пошли мы.

Верхушки сухостоин долговязых как в потали – солнцем тронуты, на нас оно пока ещё не светит – так всё ещё туман ему не позволяет. То там, то тут встречаются до основания разваленные медведем муравейники, развороченные им же трухлявые коряги – муравьёв, личинки ли муравьиные тоже искал в них – любит. Везде они, медведи-муравьятники, троп тут наделали. Иногда и мы пользуемся этими «дорогами», пока попутно, идти по ним куда ловчее, чем в целик. Попадается заячий и лосиный помёт. Тропы лосей прямее, чем медвежьи.

– Зверишко держится, смотри-ка ты, – говорит Виктор. – С вертолётот-то не всех ещё чиновники пощёлки... Пришли, не местные... тайга горела там... из-за Ислени... На зиму вряд ли здесь останутся... хотя осиннику-то вон хватает. Корм есть. Спокою тут ему не будет только.

– Да, – говорю. – В прошлом году, ходили мы, так меньше вроде было.

– Матка тут с тогушем... понатоптали, – говорит Виктор. – Лежанки две вон... Ночевали. Ушли вот только что – парит ещё говно-то... Медведь за ними же пролаптил. Нас они, его ли испугались.

– Да, я заметил, – говорю. – На телёночка озарился.

– Чё?! – чуть не кричит, спрашивает Николай, голову разворачивая к нам способным ухом.

– Ничё. Иди... Какой ты любопытный... Не отдави мне только пятки, – говорит, не оглядываясь к нему, Виктор. – А то потащишь на себе, как волк лисицу... Или под мышкой, как свою оглоблю... Может, пока рюкзак возьмёшь мой?

– А?! – говорит Николай.

– Ага, яга и кочерга, – говорит Виктор.

Иду, успокаиваю сам себя мысленно: ну, уже скоро, дескать, скоро – так я мечтаю о рыбалке. И тут же думаю: и это ведь пройдёт, мол, – ох, прямо как по Проповеднику.

– Устал? – оборачиваясь, спрашиваю у Ивана.

– Да нет, – отвечает тот. – Пока нормально.

Вижу, что устал.

– Надо вон дядьку пропустить вперёд, пускай маленечко поводит, – говорит Виктор, задыхаясь. – Тогда уж, точно, все устанем, язык-то на плечо скоро вывалим.

– А?! Чё вы там?! – спрашивает Николай.

– Ничё, ничё, – отвечает ему Виктор. – Не про тебя мы... про рыбалку.

– Да знаю вас я, трепачей, – говорит Николай.

Сидит на самой вершине мёртвой лиственницы ворона – на всю округу каркает, как громкоговоритель, о нас всех жителей тайги оповещая, – сама по себе, дозорная ли.

– Снять бы её сейчас, – говорит Иван.

– Зачем?... – говорит ему Виктор. – Пусть поёт, засранка музыкальная... С ней немножко вроде веселее... Зверя не скрадьваем... Нам пока не от кого тут таиться.

Гарь тянется от Тахи километров на сорок, до села Маковского, острожка в далёком прошлом, тоже нынче уже вымирающего, и дальше, к Томской области. Но нам туда не надо. Сворачиваем мы к северу, в ельник, языками тут ещё какой остался, шелкопрядом почему-то обойдённый. Шагать им, ельником, гораздо легче.

Натопан в нём, видим, целый тракт Владимирский – мох медведь на двух ногах, как человек, носил в охал-

ке тут – обустривает где-то здесь себе берлогу. Скоро ляжет, если ничто или никто ему не помешает. Большой, похоже, бурый. Шишек кедровых под елью, видим, немалая горка насыпана – тоже он, топтыгин, заготовил. Шишки не трогаем – зверя не хочется сердить. И обижать – а то таскал, таскал откуда-то, пожалуй, издалёка – близко-то тут нигде не видно кедров, – старался, а мы возьмём да и своруюем – некрасиво.

Начинаются распадки. Спускаться в них куда ещё ни шло, но вот взбираться – попотеешь. Нам-то и ладно, но для Виктора беда – задыхается, «куряга». Идём тут медленнее.

Перемежается кое-где ельник мшальными осинниками и негустыми соснягами. Вышли мы в один из таких сосняжков, на перекур остановились. Вспорхнули с земли рябчики – костянку, похоже, клевали, – тут же и расселись на сосёнке.

Азарт охотничий Ивана охватил – глаза, как у собаки, загорелись.

– Ну, иди, – говорит ему понимающе Виктор. – Да только двух, больше не надо. На двоих на нас по рябчику, и хватит.

Отошёл Иван. Стрелил два раза. Несёт в руках убитых курочек. Держит за лапки их. Аж будто светится – ещё бы – не промазал, не потратил зря патроны.

– Меткий, как Эрос, – говорит Николай – «подтрунивает» над племянником.

– Сунь их себе куда-нибудь... в карманы, – говорит Ивану Виктор. – Мы-то, парень, не потащим.

– Конечно, – говорит Иван. – Может, ещё?.. Чтобы по рябчику.

– Нет уж, не надо, пощади... оно ж шевелится... живое...

Посидели, отдохнули. Пошли дальше.

И в гарь стараемся не выйти, и к Тахе опасаемся приблизиться – ещё по старицам там гибнуть.

Так и идём ровным и чистым ельником.

Тумана нет уже, поднялся, сделал-таки выбор. В лесу прояснило, видать теперь далёко. Небо радуется сквозь ельник – по краям оно густое, синее, а ближе к солнцу жиже – голубое. Мало-помалу, но теплеет – руки стали согреваться. Иней на солнце сразу в капли радужные обращается, и те пылают многоцветно. Светлые облака пятнают ярко мироколицу – наскоро, как попало, бывший туман в них смяло ветром верховым, – несёт их встречу нам; рыхлые, сонные, ещё как будто не одумались.

Движемся мы, не так быстро, может, как бы мне хотелось, движется и время: пора пришла и третьему привалу. Выбрались мы на елань, где солнышка больше. От ноши освободились. Пар от нас, как от бежавших долго лошадей, исходит. На вывороченной с корнями когда-то бураном или ураганом старой толстой берёзе расположились, отдохнули; я, как школьник, непоседливо; шагать мне легче, чем сидеть, хоть на ходу и плечи рюкзаком и каном натянуло уже крепко – ноют; дышать я не умею. Поворчал на меня за суетливость мою Виктор и говорит, кряхтя, с берёзы поднимаясь:

– Дурная голова ногам покою не даёт... ещё своим бы только, ладно бы.

А Николай и Ваня – те на меня лишь поглядели, но так, будто один из них, старший, рублём меня одарил, а другой, младший, – полтинником.

Пошли мы дальше.

В мочажину чуть не углубились было – Таха, значит, где-то рядом; пережат шумит, и тот, остановились, замерли, так слышно – недалёко. Выходить нам к речке ещё рано. Двинулись левее. Идём в этом на-

правлении уже больше часа. Гарь впереди – широко просвечивает через ельник – слевили лишнего мы всё же. Не надо в гарь нам. Прямо на запад повернули. Вышли вскоре в верховье ручья. Могли бы и промазать, тогда до Тахи и до вечера бы не дошли мы. Вниз по ручью спускаться стали. Старый охотничий тёсик заметили. Драл кто-то тут же бересту когда-то. Ну, значит, где-то совсем близко. Видим – избушка. Наконец-то. Поставил её, полуизбу-полуземлянку, когда-то промысловик-охотник Маслов – тёсик его, и бересту драл он же, – ездил зимой тут на «Буране». Сам он, Маслов, давно уже умер. А избушка завалилась – и не войдёшь в неё – так скособочилась. В сенцах матрас висит на жердочке. Валяются кругом худые чайники, банки консервные и щелочные батареи. В стену воткнут топор с истлевшим уже, серым, топорischem. У стены стоит канистра из-под керосина – негодная – проржавела. На низкой, провалившейся кровле лежат скрюченные черёмуховые удилища с леской и с обманками, без грузил и без поплавков. Место тут хоть и тёмное, за солнцем, и от ручья сильно тянет сыростью, но для привала краткосрочного достаточно удобное: и сучьев для костра полно, и есть где посидеть, на чурках, вместо стола буржуйка с прогоревшими боками, когда-то выброшенная из избушки. Тут наш табор, наш таган. На подоконнике выдавленного покосившимся срубом оконца красуются бутылки из-под водки – наши – никто их тут так с прошлого захода нашего и не коснулся – разве что бабочки – манили яркие их этикетки. В бутылках дохлые муравьи. И чего они туда набились?

Глянул бегом на бутылки Виктор, пробурчал, снимая кан с себя, а после и рюкзак, и опуская их на землю:

– Всяка слава человека, яко цвет травный... Ос-
поди, – и добавляет: – Здесь был Вася, – и говорит: –
Напил ты сколько, Николай. – И позже чуть, вынув
из нагрудного кармана энцефалитки ручные часы
на шнурочке и изучив их неспеша и щурясь: – Ну
вот, ребята-акробаты, четыре часа и пятнадцать
минут... Бревно, конечно, задержало нас, так-то бы
раньше...

– Ага, бревно! – говорит Николай, кивая на меня. –
Это вот он, говнюк, перед концом уже тут, упорол
так к югу... Давно бы чай уже сидели пили.

– С тобой бы были мы сейчас на Суетке, на ней,
поди, и чай сейчас бы пили, а то и вовсе бы на Тые, –
отвечаю ему я.

Суетка тоже приток Тыи, как и Таха, тоже левый,
только верхний.

– Ага. Это уж точно. Или назад по кругу бы верну-
лись, – говорит Виктор. – Минут пятнадцать тут, ко-
нечно, потеряли.

– Вы ж болотины испугались, я и слевил там, –
оправдываюсь.

– Точно никак не можем выйти, крючочек малень-
кий да сделаем, – говорит Виктор. – Ну, всё нормаль-
но, слава Богу.

Мы не ругаемся, а шутим. Настроение у нас пре-
красное – почти у самой цели. А тут ещё... и выпьем
скоро.

Вытряхнул я из одного из котелков на землю ке-
довые шишки, спустился с ним к ручью и, сполоснув
его от налетевшего в него лесного мусора, набрал
воды, вернулся после к табору. Николай принёс хво-
росту и берестину. Виктор развёл костёрчик, повесил
над ним котелок с водой и занялся продуктами. Так
вот распределены между нами обязанности, сложи-

лось так вот. Иван сидит на чурке, с ружьём на коленях, – совсем утомился. Из карманов его куртки торчат хвосты убитых им рябчиков.

Вода скоро закипела. Заварил Виктор чай. Подстелив, вместо скатерти, большой целлофановый пакет, разложил на буржуйке помидоры, яйца варёные, сало солёное, хлеб, лук репчатый, огурцы, чеснок, домашний сыр и зелень разную.

– Ну, чё стоите?.. Как в гостях. Доставайте свою тару, – предлагает он нам после.

Вынули мы из рюкзаков кружки. Поставили их на буржуйку.

– Прошу к столу... то как не дома, – говорит Виктор. – Плоть утучним свою маленечко, а то ослабла.

Присели мы на чурки вокруг «стола».

– Ну, чё... Господи, благослови... надо, наверное, «Для храбрости» немного тяпнуть... то без неё, без храбрости-то, как-то плохо, всё то чего-то, то кого-то и боишься, то беззакония, то зверя, то просто тень от птицы промелькнёт, а у тебя и сердце уже в пятки, – говорит Виктор. И говорит: – А Николай, поди, не будет, и так отважный, как Аника.

– Ага, не буду!.. Буду! – говорит Николай.

– Какой ты всё же неуёмный, – говорит Виктор.

– А ты как думал, – отвечает Николай.

Разлил Виктор по кружкам.

– Ну, – говорит, – вздрогнем. Пусть нам бабай по-мехи не устраивает.

– Да, – говорит Николай. – Пусть нас пока он сторонится.

– Какой ты дёрзкий.

– Да, такой вот.

Чокнулись мы. Выпили. Закусываем. Аппетитно.

– Холодная, – говорит Николай.

– Не пей, – говорит ему Виктор. – Нам больше достанется.

– Ага!

– А чё куражишься тогда?

Снял Иван шапку, поставил в неё кружку с чаем, так, через шапку, и придерживает кружку – горячая; на нас поглядывает, на кружку дует, отпивает помаленечку – чай ему нравится. Ещё бы.

– Сразу тепло пошло по телу, – говорит Николай и улыбается – хмелеет быстро.

– То ему холодно, а то тепло, – говорит Виктор Виктору много надо выпить, чтобы запьянеть-то. – Пошло, пошло... однако вроде недостаточно.

– Хватит! – говорит Николай.

– А мы с Сергеем, – говорит Виктор. – Тебе никто не предлагает.

Свинтил Виктор с другой поллитровки «Для храбрости» крышку, налил себе и мне, глядит на Николая.

– Наливай! – говорит Николай.

– Тебе же хватит, – говорит Виктор.

– Наливай, кому сказано! – велит Николай.

– Страшно. Боюсь ещё, – говорит Виктор. – Придётся подчиниться. Храбрость во мне пока ещё не поднялась, не подоспела.

Выпили мы и по второй. Теперь чаёвничаем.

Благолепно. Птицы вовсю распелись что-то, расчирикались – перед ненастьем затяжным как будто, вроде не похоже, – воздух колетса от шума – так звонко. Глухарь проследовал куда-то – прохлопал крыльями, – Иван и стрельнуть не успел в него – так неожиданно и быстро прогремел тот мимо.

– Старый, – говорит про глухаря Виктор.

– Наверное, – говорит Николай.

- Как фуфайка пролетела, – говорит Иван.
- Похоже, – говорит Виктор. – Чё не стрелял-то?
- Растерялся.
- Ну вот, так и медведя проморгаешь.

Шебуршат в траве непоседливые мыши – трудятся, бурундуки совсем близко, чуть ли не под ноги нам, к нашему табору подскакивают – разузнаывают: кто да что и что тут делают?

- Храбрые, – говорит про них Николай.

– Что ты, – говорит Виктор. – Как мы теперь, такие же... Хорошую купил ты, парень, водку.

Дятел гулко стучит по сушине.

– Долбит, – говорит Виктор. И говорит: – А небо синее-то... как собака.

Солнце сквозит через сосняг – ласковое.

– Тебе, Иван, чё бабушка наказывала? – спрашивает Виктор у Ивана.

- Следить за вами, – отвечает тот.

– Следишь?

– Слежу.

– И молодец. Нельзя бабушку послушаться. Но мы пока не балуемся вроде?

- Да вроде нет.

– Следи, следи, а то накуролесим... Мы-то с отцом твоим, может, и нет, мы смирные, ну а вот дядька твой на всё способен...

- Поговори мне тут!

– Какой ты невоспитанный.

Отобедали мы. Чаю только кружки по три выпили – так разохотились. Покурил Виктор, «сладко» затягиваясь, чуть ли не до чурки, повыдыхал вверх голубой и густой дым со свистом и протяжно. Посидели с ним, с курильщиком, мы «за компанию». Собираться после стали. Не поместились наши новые,

пустые-то уже, бутылки с красочными этикетками «Для храбрости» на подоконнике, поставил их Николай прямо на землю под оконцем, отступил шага на два, полюбовался сделанным и говорит затем сбивчиво:

– Ну, теперь до следующего, Бог дозволит если, раз, – как одинокую лесину на ветру, его мотает. – Чтобы сюда ещё когда-нибудь вернуться...

– Штормит, что ли? – спрашивает Виктор.

– Да! – отвечает Николай. – Штормит маленько.

– Да чё-то, вижу, не маленько... Поаккуратней бы топтался, а то кого-нибудь задавишь.

– Не задавлю, не беспокойся.

– И не почувствуешь... в своих бахилах-то...

Собрались. Проверили, что не забыли ли. Ну, дескать, с Богом. С Богом, мол. И тронулись.

Перебрали, поскрипев донной галькой, журчащий и сверкающий ручей. Поднялись на взгорок. И мы идём живее, чем до перекура, и деревья мимо нас теперь проворнее мелькают, а то совсем едва уже передвигались. Только вот сучьев, кочек да колодин под ногами стало больше попадаться, что ли: нет-нет, да и завалится кто-то из нас троих, запнувшись. Иван – тот более устойчив – тот, только с чаю-то, не падает. «Нашёл что-то?» – спрашиваем упавшего. «Нашёл!» – отвечает упавший. И нам весело, и Ивану забавно. И день – ни облака нигде не видно.

Таха здесь совсем рядом, напрямик до неё от избушки метров двести, вряд ли больше, но на прямом пути тут старица глубокая имеется, в которую ручей этот и втекает, и мы её обходим редколесьем минут десять, а после до этого же места сплавляемся почти целый день, сегодня-то уже не доплывём, конечно, такие речка тут колена делает.

Выходим, радостные, гоготливые, как гуси, на высокий и обрывистый рыжий яр, в который уже раз по-приятельски приветствуем голубеющую небом и пылающую солнцем внизу Таху, нашу скромную любимицу, ищем, где к ней удобней было бы спуститься и где есть возле воды хоть небольшая каменистая или песчаная косица, на которой можно было бы расположиться временно, чтобы накачать лодки и приготовиться к отплытию. Находим место подходящее. Спускаемся, стараясь не сорваться в речку, – и потому что яр крутой, и потому что ноги... ну, понятно.

Душа ликует. У воды мы.

Николай и Иван начинают хлопотать над лодками и над манатками, распределяя по мешкам их. Виктор раскладывает телескопическую удочку и, закулив, принимается тут же рыбачить на хариусов – не терпится, похоже, и ему. Я оставляю всё лишнее, что не понадобится для ужина мне, возле лодки, на которой поплывёт Иван, засовываю незаметно для Николая и Виктора в опроставшийся вещмешок Ивана канистрочку со спиртом, беру с собой свои пустые кан и рюкзак, кладу в рюкзак удочку, разбираю спиннинг и приступаю с трепетом к блеснению.

И полетело время. Будто в пропасть.

* * *

Перепробовал я почти все имеющиеся в моём походном арсенале приманки, от всевозможных, покрупнее и помельче, тёмно-серых, светло-серебристых – на зелёные, на синие или на красные, словом на «экзотически-тропические», здесь и пыгаться бесполезно, потому что живности такой окраски в Тахе не встречается, какой дурак тут на такое клюнет, разве цвета не

различающий, но на такого с ходу-то и не наткнёшься, – и прозрачных, как медуза, твистеров и виброхвостов до различных блёсен, как колеблющихся, так и вращающихся, и как жёлтых, так и белых. У тайменя жору нет. Это не только явно, но и к сожалению, да ничего, однако, не поделаешь. Безрезультатно покидал я и сделанную из медвежьей шкурки «мышь» – и за ней никто пока не вышел. Ближе к сумеркам какой-нибудь и соблазнится, может. С берега в светлой, как слюда, воде видно, как он, таймень, преследуя приманку, близко ко дну проносится за ней до самой отмели, но не хватает. Не было б видно их, подумал бы, что нет тут никого, решил бы, что пустая речка. Зато уж щука – как акула. Той сейчас гайку предложи, и ту проглотит. Но лучше всего подоглилась блесна «чёрноспинка». Убрал я остальные все в рюкзак, её только оставил. Ох, и уловистая оказалась.

Поймал я уже несколько щук – как злые псы изпод воротен, на блесну-то, как на кошку, вылетают, – штук семь или восемь. Особо крупных не попало. Средние, по таховским-то меркам. Самая из них большая килограмма на четыре, может, так, примерно. Безмена мы с собой не носим – не пижоны. На глазок всё, приблизительно. Где немножко, может, и прибавишь, сам себя обманывая, теща, – да ведь дело-то рыбацкое – простительно. Зато уж жирные. И цветом – светло-золотистые – красивые, хоть отпускаяй обратно в реку их, да не хватает духу, руки прилипают. Самая вкусная щука в нашем околоске – это таховская – от воды, от корма ли, не знаю. И в ухе, и засолённая. Сошло три или четыре – жалею. Но: «Не наша, значит, – говорит обычно Виктор в таких случаях, – а Саньки Ларина, его». И ладно, можно и с Санькой поделиться. А сходят если, якорь надо подо-

стричь, и подточил его алмазным надфилем я. После проверил на ноге – как язва.

Иду я, протискиваясь – ладно трава уже поникла, всё же легче – сквозь тальниковые, ольховые или черёмушные заросли, по берегу, а то по отмели вдоль берега, но мелких мест у берега на Тахе мало, к неудобству. А берега почти везде крутые и высокие, только козлу по ним и лазить бы. Но вот иду я и ругаюсь, порой и матом, грешным делом – всё зол глагол и вырывается невольно, – но тотчас каюсь, правда, толку-то, коль тут же, через шаг-другой, и повторяюсь, помилуй, Господи, меня, такого слабовольного. Мал уд, язык, как говорится, да немалый пакостник.

Омута и перекааты я прокидываю быстро – заброса по три, по четыре делаю, не больше. Если жор, таймень, и та же щука, где стоит, сразу, на первый же шлепок, и вылетит, а жору нет, так уж ничем, хоть закидайся, их не выманишь, так что подолгу и блеснить на одном месте – время только тратить. Это когда уж его, время, надо скоротать, так и кидаешь, но только так, ради шлепка, а на поклёвку не надеясь.

Моих товарищей не видно и не слышно. Приотстояли. Дольше, чем я, они все закуточки прорыбачивают – что и понятно – хариуса на плёсе, когда он не играет и не плавится, надо ещё найти да и наживку подобрать – не так-то просто. А далеко нельзя нам отрываться друг от друга: тайга всё-таки – случиться может всякое, со мной ли, с ними ли. Сел на бревно я – вынесло весной его на берег. Сижу. Лицом к солнцу. Глаза закрыл. Дожидаюсь. Ох и чуден мир Твой, Господи, и чуден же. В нём, в этом мире, будто растворяюсь.

Долго ждать приходится. Не терпится мне. Достаяю я из рюкзака удочку, разбираю её и пробую поймать

хариуса, насадив червя на оловянную мормышку. Плёс широкий – весь не обкидаешь. Выдернул двух, друг за другом сразу взялись, граммов по пятьсот оба, ровесники. Кан уже полный, положил в рюкзак их. Берёт хариус красиво, одно удовольствие на него охотиться. Чуть прозевал, и упустил уж. И клевать на этом перестало. Собрал я удочку, спрятал её в рюкзак. Сел на бревно опять. Жду. Но до чего же это утомительно.

Едва – извёлся я уже – всё же дождался. В глубоком створе между берегами, густо поросшими тут кедрами и пихтами, просвистели мимо меня, отражаясь в воде и повторяя на лету безошибочно все изгибы реки, четыре утки, кряквы, как предвестницы, спугнутые со старицы, что кривуном только повыше, никем другим, а, явно, рыбаками, пронеслись, как будто примерещились, – почти как пули. Минуты через две-три после вижу, катит волна вниз по реке, веточки, хвою лиственничную и листья, всё, что само нападало, ветром ли нанесло в неё, толкает. Слышу, бормочут – звук над водой разносится, как по туннелю.

Ну, наконец-то, думаю, плывут ребята.

Появляются из-за поворота сначала удилица, одно чёрное, телескопическое и – как антенна, а другое – светло-жёлтое и – как грот-мачта; затем – и сами рыбаки.

Виктор с Николаем, выгесняя из берегов Таху, дрейфуют первыми, по-флагмански. Иван – почти впри-тык – за ними. Виктор сидит в носовой части, успевает удочку забрасывает да вытаскивает, вдруг где да клюнет, а Николай – в кормовой, оба лицами по ходу. Под Иваном лодка по воде скользит легко, как пёрышко, а под ними – будто баржа перегруженная, чуть

не под самый краешек потоплена – тяжеловесы. Улыбаются. Иван серьезный.

– Мужик, ты кто?! – заметив на бревне меня, кричит мне Виктор.

– Дед Пихто! – отвечаю.

– Оно и видно... Дед Пихто... Не уходи! – говорит Виктор. – Клёв чё-то, когда начали, был вроде и ничё, а тут испортился, поправить надо!

– Чё так отстали? – спрашиваю. – Ждал вас столько.

– Рыбу ловили!.. Чё отстали... Мы не гулять сюда приехали, – говорит Виктор. – Да, Николай?

– Да! – подтверждает Николай.

– Лодку опять, наверное, порвали – клеили? – предполагаю.

– Да нет, парень, пока ещё не успели... Успокойся.

– Я не волнуюсь... Не знал бы вас, переживал бы, может. Всё впереди ещё... успеете.

– Вот это верно, – говорит Виктор. – Это правильно. Душу-то чё терзать заранее. Повода нет пока... но будет, обещаем... Все рифы наши будут, с нашим капитаном.

– Молчи.

– Молчу.

Причаливают они к галечному мысочку, на котором комлем и бревно моё находится, выбирают из лодки грузно, как тюлени, прохаживаются по мыску, как кулики, ноги, хрустя камнями, разминают.

– Затекли.

– Ага. Не разогнуться.

Кряхтят оба, старики будто.

Лодка их выправилась – отдыхает.

– Привяжи, – говорит, закуривая, Николаю Виктор. – Не унесло бы, – выдохнул дым. И говорит: –

Я ведь за ней не побегу, – и подбоченился, – её ловить-то.

– Не унесёт, – говорит Николай.

– А если?..

Выгянул Николай лодку боком на мысок.

– Доволен? – спрашивает.

– Так-то лучше... Надо маленько, поди, выпить, – говорит Виктор. – Чё-то клевать вдруг перестало... А Николай не будет, он не заработал.

– Ага, не буду!.. Заработал!.. Один мой харюз всех твоих заменит.

– Какой ты, парень... и не знаю... самонадеянный, однако. Плывём, Сергей, он всё и огрызается... да так, со злобой... Как не зашиб бы, опасаясь. Сижу, терплю, уж не перечу. Сзади-то угостит по голове своей орясиной и за борт... как Стенька бабу. Народился молодец – Стенька Разин удалец.

– Раз плюнуть.

– Во, анычар... Сергей, ты слышишь? Ну, у тебя и брат, однако, – говорит Виктор. Окурок из мундштука вытащил, мундштук в карман убрал. И говорит: – Ведомо Томке, что у нас в котомке. – Достал из мешка бутылку с самогонкой, нарезал на вёселах – на одном – хлеба, на другом – сала. Выложил на них же лук и помидоры. – Ну, не во вред бы, а во здравие... А то клевать, на самом деле, плохо стало.

Выпили мы по очереди из одной, «дежурной», кружки, чтобы другие не искать, не мешкать. Закусили.

Вроде и солнышко слепить ярче сразу стало. В Тахе вода иначе вроде заструилась. И кровь в ушах на перепонках заиграла – как на барабанах.

Иван из лодки так и не выбирается, сидит в ней, за свисающий над речкой куст ольховый ухватившись.

На нас весело смотрит. Тепло – без куртки и без шапочки он.

– Следишь? – спрашивает у него Виктор.

– Слежу, – отвечает.

– И правильно, – говорит Виктор. – Родина поощрит, а бабушка похвалит. Доложим.

Николай молчит, лишь ухмыляется – уже «хороший».

– Он меня из лодки удилищем чуть своим не выпихнул, Сергей, как щепку, – жалуется Виктор. – Харюзишко у него там клюнул... крохотный... с мизинец.

– Ну да! – говорит Николай, языком заплетая, – с мизинец... «Дядя» был – ого! – приличный.

– Ага, приличный... с поплавок. Не с твой, твой-то ничё ещё... убить им можно... с мой вон.

– Молчи!

– Молчу... И как тебя жена-то не боится?

– Не помешал бы, я б его поймал.

– Нашёл виновного... Руками ширить меньше надо было... Он поймал бы.

Возлежим мы прямо на гальке, на осеннем солнце млеем, от воды, в глаза осколочно сверкающей, жмуримся, как воркует она, слушаем. Хмель на носу у нас сидит и ножки свесил – так у меня по крайней мере – не стряхнёшь его, не сгонишь. По чаще-то с ним полажу, сам слезет.

Закурил опять Виктор, на локоточек отвалился; пускает дым в безоблачное небо, его, как птицу, взглядом провожает.

– Душа, – говорит, – растопырилась.

– Да, – говорит Николай. – Как коршун в небе.

– Красотиш-ша... Всю жизнь на Тахе бы и прорыбачил, – говорит Виктор. – Тут бы и помер. Птички бы отпели.

- Вороны.
- Пусть бы и вороны... тоже певчие.
- Пойду я, – говорю я.
- Ага. Иди, иди, – говорит Виктор, – то не успеешь.

А мы не будем торопиться. Да, Николай?

- Да! Нам не к спеху... Клёв не исправился ещё.
- Сообразительный какой ты.

Оставил я им пойманную мною рыбу, чтобы не бить её на ходу в рюкзаке и в кане и чтобы с нею не таскаться, посмотрел, сколько они уже поймали.

- О-о, – говорю.
- А ты как думал.
- Показал им свою.
- О-о, – говорят.
- А вы как думали.

Пошёл.

- Догоните?

– Кто знает? – говорит Виктор. – Может, и нет, а может, и догоним... Если до устья не учапашь... Не убегай далёко-то, клёв вдруг опять поправить надо будет.

- Ладно.

Пошёл я. Рыбачу. Слышу вскоре, насос сзади захрюкал: лодка у них, наверное, чуть подпустила, так подкачивают.

А клевать вот и на самом деле лучше сразу стало. И всегда так, давно нами уже замечено: не клюёт, не клюёт, остановимся, «горькой радости – как Виктор выражается – на грудь маленько примем», и, как бы кому ни показалось это странно, клёв почему-то тут же улучшается. Такое дело вот, а в чём оно, не знаю. Субъективная тому причина, объективная ли, непонятно... Так вот, и всё, и ничего тут не попишешь. Таймень братья начал, пусть и вяло, но всё же: ожи-

дания азартного добавилось – а вдруг да вылетит, а вдруг да схватит! – каких ни разу не ловил ещё – «дурак замшелый»... Выдернул я двух, не крупных, правда, килограмма, может, по два. И то дай сюда, как говорит Виктор, не Саньки Ларина, значит, а наш, мол, обойдётся Санька Ларин. А уж тянуть-то его, тайменя, когда схватит, восторг и только, куда вытащишь, поводишь, и слабины чуть только дашь, он тут же твою блесну с якорем-тройником выплюнет – как так умеет?

Иду по берегу я, как чумной щенок, вихляю – косо подо мной земля повёртываться что-то стала, – а то и падаю, да хоть не в воду, тихо радуюсь, и то, мол, ладно, но и туда, в речку, один раз чуть было не угодил, успел зацепиться за пихточку, не то бы махом остудился. А тут ещё и бобры, горячо мною прокливаемые, тальник нагрызли, оставив от него повсюду острые, невысокие колышки, – и за них, за колышки, в траве-то жухлой, запинаясь, сапоги об них порвать боюсь я, не одну пару уже из-за них, из-за грызунов, пришлось мне выбросить. На бобров ворчу, иду, ругаюсь.

И произошло тут со мной вдруг что-то незаурядное и непостижимое.

Стал я облазить глубокую курью по крутому, чуть ли не отвесно подмытому в разлив берегу, почти уж на него вскарабкался, за один из обнажённых, свисающих по откосу и похожих на верёвки узловатые корней ольховых ухватился, начал на нём подтягиваться было, но он возьми да и сломайся, ну а вернее-то, порвись – и полетел я вниз спиной, держа крепко в одной руке спиннинг, в другой – обрывок корня злополучного, и молча. Лечу, стремительно удаляющуюся от меня вверх, напуганную будто, мшистую, кривую

кромку охристого яра и словно вонзающиеся вершинами в погнавшееся тут же за мной как будто небо голубое пихты вижу, ещё и думаю при этом моментально, хоть бы в курью-то не свалиться, и чувствую, как остановило меня вдруг что-то прямо в воздухе, встречной струёй как будто сильной задержало, и отшвырнуло в сторону от траектории падения. Мягко шлёпнулся на глину, поднялся, смотрю, торчит рядом из глины – как раз там, куда я должен был упасть – остро состроганный бобром пенёк таловый. Мгновенно в пот меня прошибло. Наживился бы я на него, на кол-то этот, как на пику. Не по себе мне сразу стало; протрезвел я. Но что спасло меня, и до сих пор в ум не возьму, не знаю. Что или Кто-то? Удивительно.

Мир для меня вдруг по-другому зазвучал, иначе засветился – чётче, словно только что его ополоснули и протёрли. Стою. Прислушиваюсь, озираюсь – и слух и зрение как будто разом обострились. Детство вдруг вспомнилось – те ощущения и впечатления, уже, казалось, и забытые, – ясно, пронзительно – как повторились. Чувствую острый холодок спиной: люта смерть грешника – представилось – что даже нервно передёрнулся. Но что же всё-таки со мной случилось только что? Не знаю. Не знаю, что, но вот что мне открылось: жить-то как хочется – так хочется, как иногда, в какие-то моменты, помереть – примерно так же – до захлёбу.

Дальше я не пошёл – быть одному мне сделалось тоскливо вдруг, так что и сердце даже защемило, как от утраты горькой, от дурного ли приобретения. На длинный, шумный перекат, что под курьей, косой её пониже, выбрался. Хожу по нему, по перекату, где позволяет глубина и где течением не сносит, рыбачу

без всякого интереса на хариуса, оставив на берегу кан, рюкзак и спиннинг. Ловится мелкий, белячок, крупный уже в плеса спустился, стал на ямы. Какого выгашу, и отпускаю его тут же, не умиляясь самому себе, а – равнодушно. Ноги в коленях у меня трясутся – после падения ещё не очурался, ну а точнее, от того, что при падении со мной произошло, чем ли могло оно закончиться – от этого, быть может. Дожидаюсь я своих товарищей, теперь уж терпеливо.

Грустно, что день тут, на рыбалке, пролетает как мгновение. Быстро на Тахе вечереет. На глазах прямо меркнет. Видно, присмотришься, как тени лавой расплзаются, густеют; как редеют и тускнеют блики на воде и в хвойных кронах елей, пихт и кедров, на их стволах, к реке наклоненных, на них же, на стволах, но отражённых. Смолкают птахи в ягодных кустах, перепархивают в них почти беззвучно – ветки выбирают поудобнее для отдыха, место подыскивают поукромнее. Небо, с косым, андреевским, крестом на нём от самолётных выхлопов, пока, хоть и немного забледневшее, но ещё светлое, там, наверху, на сопках, бронзовых от солнца, пусть и к исходу он, но ещё день, а здесь, в глубоком, узком створе, уже смеркается. Самое время останавливаться на ночёвку, а то совсем, глядишь, стемнеет.

Тем же, чем и я, похоже, озабоченные, скоро и те, кого я поджидал, в речной излучке показались – рыболовная флотилия и только, флага, правда, не хватает, один флагшток – сосновое удилище. На перекат не стали выплывать, поближе к берегу курс держат. Громко меж собою разговаривают – только что встретились как будто, день минувший обсуждают – так про них подумать можно вчуже. Вздуродраженные. От – рыбалки, от чего другого ли.

– Эй, на фарватере! Мужик! – улыбаясь во всю ширь своего трое или четверо суток небритого, издали-то, будто углём натёртого, намазанного дёгтем ли, лица, кричит мне в шуме переката Виктор. – Мы, грешным делом, думали, что ты уже на пасеке и медовуху с братом попиваешь там! Еле тебя догнали, парень! – и уже тише что-то Николаю.

– Не успел! – кричу и я им с переката. – Ну а вот вы, по брату вижу, не зевали!

– А как же! – отвечает Виктор. – Клёв-то маленько надо было поддержать! Не плыть же, парень, вхолостую! Да, Николай?! А ты удрал куда-то и с концами! Звали, звали, звали, звали... Как сквозь землю провалился! Пришлось вдвоём уж дело исправлять нам! Но, не волнуйся, – продолжает, – око да око тут: Иван за нами строго наблюдает! Так или нет, Иван!?

Тот головой в ответ кивает: так, мол.

– А Николай сказал: больше не буду! Его уже любой клёв, совсем хоть никакой, устраивает! Дак чё! Ты помаши таким-то стягом...

– Молчи!

– Есть! Слушаюсь!

– Лодку порвали всё же – клеили? – спрашиваю я, когда они подплыли ко мне ближе.

– Было. Маленечко порвали, – отвечает Виктор.

– Молодцы.

– Стараемся... Как же иначе?... У нас иначе, парень, невозможно. Если у рулевого одна зенка на чужую Ленку, а другая на свою коленку.

– Ага, а сам-то! – возражает Николай. Кепка, как у рэпера бейсболка, козырьком у него на затылке. – Сам-то трезвый?!

– Мне-то ладно – я не правлю.

– Скоро совсем дорвёте лодку. Как мне, по берегу скакать придётся, – говорю я. – Вряд ли такое вам понравится.

– Ну, до этого дожить ещё надо... Место нашёл? – спрашивает меня Виктор.

– А чё его искать, – говорю. – Вон в пихтаче и заночуем.

– А дров там хватит?

– Наберём.

Вышел, бурля водой, я с переката. Поставил, не складывая её, тут же, к кустам, свою удочку: завтра с утра и порыбачу.

Уже и все на берегу. Топчутся. Прохаживаются: долго из лодок, видно, не вылазили.

– Не сломай, – говорю я специально для Николая, указывая ему на свою удочку.

– Это мы можем, – говорит Виктор.

– Не ломаю! – говорит, покачиваясь, Николай.

– Какой ты резкий.

Улыбаются.

– Ну, как рыбалка?

– Замечательно. А как у вас?

– У нас нормально... Поправляли ж.

Шурша галькой и подмяв прибрежную осоку, выволокли Николай и Иван лодки на камешник, вытащили из них всё наше походное имущество, какое находилось в них, и каны с рыбой, составили всё это кучно в одном месте, перевернули после лодки. Лежат те вверх днищами – как небывалые тут черепахи будто выползли на нерест. На моей, гляжу, заплата новая, большая, среди старых, многочисленных; скоро уже и ставить будет негде, вот печаль-то.

– Ну, вы даёте, – говорю.

– Уж как можем. Стараемся, – говорит Виктор. Стоит он, как франт перед фотографом, отставив одну ногу в развёрнутом болотном сапоге и подбоченившись, уже и курит. Энцефалитка у него спереди вся мокрая, сверкает рыбьей чешуёй, как блёстками на новогодней ёлке.

– Хоть уж не так бы, – говорю, – старались-то.

– Иначе совесть нам не позволяет.

Николай, Иван и Виктор, захватив с собой ружьё, топор, провизию и тёплую одежду, упакованную в прорезиненные, непромокаемые мешки, а также котелки с водой, переговариваясь и подсобляя друг другу, взобрались на веретию.

Я остался возле лодок потрошить и засаливать рыбу.

Дымком оттуда, сверху, скоро потянуло, к речке стремится тот, дымок, как жаждущий, над нею, лентой извиваясь, стелется – Виктор костром уже занялся, значит, временным, для варки. Трещат там, грохаясь, одна за другой лесины-сухостоины, стук топора доносится сквозь монотонное роктанье переката – дядя с племянником дровишки заготавливают. Много их, дров-то, нынче надо – ночь не парная да и долгая – не лето.

Вода студёная, едва не ледяная. Пока потрошил и подсаливал рыбу, задеревенели у меня руки, красными сделались, как лапы у гуся, а стал споласкивать их, ничего уже почти не чувствуют, пальцы не гнутся, будут болеть, когда начнут отогреваться, ну да ладно. Наполнилось рыбой четыре кана – килограммов тридцать, тридцать пять, не больше, но и на том мы несказанно благодарны, слава Богу, и спасибо Тахе – кормит. Поставил я каны, закрыв их плотно крышками, рядом на приплёсок – никто их

тут, поди, не тронет. Печень щучью и икру хариусиную, пробросив солью – после сюда ещё добавим чесноку и перцу, – перемешал ножом в специально для этого и приготовленном капроновом ведёрочке, подался к табору.

К костру приблизился, стою возле него, отогреваюсь. Прогрег, вспотевший-то и мокрый; треплет меня как в малярийной лихоманке.

– Озяб, – и не спрашивает, а отмечает просто Виктор – варкой занят.

– Да есть маленько, – подтверждаю.

Он, Виктор, уже и суп с рябчиками пробует, пряности в него опускает.

– Почти готово. Чуть ещё попреет.

Слюнки текут.

– Скорее бы.

Николай с Иваном дровами ещё занимаются. Натаскали уже гору целую. Уйдёт всё за ночь-то. Ещё и хватит ли?

– Санитары, – говорит про них Виктор. – Скоро по берегам-то тут на лисопеде ездить можно будет – хлам весь спалим.

Совсем уже стемнело.

– Ну, вот, – говорит Виктор, снимая с палки котелок. – День и пролаял, как собака.

* * *

Меркло пламенеет, кое-как, как лапами густой кисель черничный угодившая в него оса настырная, едва и временно справляясь, наш костерок расталкивает темень плотную, тугую, да той так много, космос целый, не помощи ему, скоро она его осилит; ну, помогаем помаленьку, подбрасываем в него понемногу, что-

бы совсем-то не угас, но чтобы очень и не разгорался; пощёлкивает он, костерок, негромко и однообразно, как будто давит рядом кто-то, слабоумный или одержимый, озабоченный ли чем-то, упаковочную «пупырчатку», пупырьки её расплющивая пальцами, – похоже. Но уютно. Тут, под древними и толстыми, как столп Александрийский, кедрами, словно в курной избе, с распахнутыми будто бы на всю пята для лучшей тяги окнами и дверью, дым в которые и выволакивает к Тахе. Согрелся я, уже не треплет меня лихорадка, отступила, и зуб на зуб попал – сомкнулись наконец-то, барыню не отплясывают, джигу не играют, ещё вот только резь в руках не унялась, ежа как будто в них, поймал, сжимаю, пройдёт и это. Сижу я, на огонь бездумно пялясь, под одним из кедров, пригнулся к нему спиной, мощь его и возраст чувствую затылком и хребтом, к небесной тверди будто прислонился. И самолёт гудит, над нами пролетая, слышно. Там, в беспросветной мгле, не врезался бы в кедр сослепу, а то тут будет... Это про то, какой он, кедр, высокий: в кроне его уже не птицы прячутся, а звёзды, лучи под хвоей маскируя. И Бог им в помощь. Большой костёр, в целях экономии дров, мы пока не разводим. Ближе уж к ночи. Хотя у Николая руки уже, видим, чешутся. Впадает в детство: нагромоздить – он архитектор по профессии – и запалить собрался «пионерский», а тут за справками уж только к Фрейду; с либидо что-то, сокровенное, плюс или минус. Любитель Николай устраивать в тайге иллюминации, хоть хлебом не корми его, дай только спички. Сколько у нас и у себя испортил он уже одежды, фейерверкер, всю не упомнишь, похода не было, чтоб что-нибудь да не сгорело, ну, на худой конец, не прогорело ли, не телогрейка, так штаны, а то носки или пор-

тянки. Были мы тут же вот, на Тахе, года три тому назад, четыре ли, сжёг он, пока сушил, у своего резинового сапога подошву, ну и ходил после по лесу, словно француз, Березину в обратном направлении перескочивший, даже домой вернулся так, с леской подвязанной вместо подошвы берестиной; теперь и носит «леспромхозовские», чем и доволен несказанно, чтобы прожечь, прямо в огонь их ставить надо. Дрова-то, в основном, пихтовые тут да еловые – стреляют углями, словно шрапнелью, искры пускают во все стороны, словно бенгальские ракеты, – где же и уследишь, глаз если только не смыкать всю ночь, но где же выдюжишь, ещё под хмелем-то, уберегись-ка. Экстрим и только. Боже, сохрани нас.

– Мужик, уймись. Разгорячился, – говорит Виктор Николаю, наклоняясь над парящим котелком и опуская в него из горсти репчатый лук, прямо в ладони у себя только что им и нарезанный мелко. – Всё... три минуты – и снимаю... До утра-то тут ещё натешись свою душу... Дров на тебя и на огонь не напасёшься. Вот где беда-то. Тебе бы в поджигатели куда устроиться, ли чё ли, много бы денег получал, однако... как чиновник. Ты, Николай, как эти... на огонь-то молятся... не помню.

– Не отказался бы! Устрой, – говорит Николай. Выявился он у костра. – Место, где будем спать, чтобы прогрелось, – возражает. Исчез, опять его не видно. Вроде и протрезвел уже немного, сушняк-то повалил да потаскал коряжнику сырого, хмель из него чуть-чуть и улетучился.

– А чё тебе-то за забота?.. Интересно. Нет работы, вот забота. Кружки бы сполоснул вон... хлеб нарезал, что ли, – говорит Виктор. И говорит: – Спать всё равно тебе ведь не ложиться – будешь всю ночь

бельё своё сушить... и сапоги вон... Земля и так сухая тут, под кедрами-то. Тепло сегодня, не замёрзнем.

– Тепло!.. Пока, – говорит Николай. Возник. Опять пропал куда-то. – Ну а под утро как ударит... – уже оттуда, где его не видно, доносится от него.

– Под утро, – говорит Виктор. – Дак до утра-то, парень, ещё долго. Испугался. Пусть ударяет. Впервые, что ли... Ударит если – в догоняжки поиграем – разогреемся. Уймись, уймись, неутомонный... Сядь... Пушкин зять... только таган не свороти, а то покушаем, пожалуй.

– На самом деле, Николай, – и я его пытаюсь убедить, – пока не надо. Потерпи. Потом уж. Дай хоть поужинать спокойно. То запалишь, а нам куда, прикажешь, расползаться?

– Куда... А в Таху... От огня-то, – говорит Виктор.

– Только что, – говорю. – После, поужинаем, и займёмся.

Так, чтоб чуть зримо было – костерок-то. Большой зачем сейчас? Совсем не нужен.

Унялся вроде – затих-то что-то. В кепке с «пубовкой» он, Николай, и в телогрейке стёганой, прямо на тело голое надетой, ходит он по мху и по кедровой палой хвое босиком, как дома по паласу. Борода у него всклокочена, глаза, как у лемура, круглые, мимо костра когда протопчется, так видно – страсть, а не зрелище – встретился кто-нибудь бы с ним сейчас случайно, посторонний, чувств бы лишился.

– Как снежный человек, – говорю я про него, про Николая.

– Ага, – говорит Виктор, – как этот... как его... учитель-то... Порфирий.

Молчит Николай, ответом нас не достаивает – или не слышит или не считает нужным отвечать нам.

Чудо-сапоги его, как крынки в Малороссии, сохнут на воткнутых им в землю кольях. На нижних, мёртвых сучьях кедра, как на поминальном дереве узлы-завязочки, висят его носки, портянки, майка и рубаха. Только что вот добавил Николай к ним и кальсоны.

– Теперь мы с флагом... как добропорядочные американцы, – говорит Виктор. – И за державу не обидно.

– Да! – говорит, промелькнув возле нас, Николай.

– Красота... Как в прачечной, – говорит Виктор. – Хоть от «стола»-то всё развесил бы подальше. Нам тут любуйся на твои... секретные.

– А дальше – как они тогда просохнут?! – отзывается откуда-то.

– Просохнут за ночь-то... дождя если не будет. А дождь пойдёт, то толку-то, что ты сушился. Один хрен, мокрый будешь с ног до головы, как зюзя. А чёботы твои, парень, не сушить надо, а обжаривать, – говорит Виктор. И говорит: – Ну, доставайте чашки-ложки. Воду на чай, как, сразу будем ставить... или после?

– Да поедим, наверное, потом уж чай-то, – говорю я. – А то, глядишь, и не понадобится.

– Нам, может, нет, дак вон Ивану-то...

– Чай пить на ночь детям вредно.

– Всё вредно, а жить особенно, но надо. Он уж не ребёнок.

– А ты повесь, пусть закипает...

– Давайте есть!.. а то не терпится.

– Нетерпеливый ты какой-то... Наруби-ка, Иван, веток... пихточка вон, с неё маленько... чтоб не на го-лой-то земле... хоть тут и сухо.

Нарубил Иван веток. Принёс их к табору в охапке.

– Топор, где брал, туда же положи... Пусть будет на виду, чтоб не искать, когда понадобится.

Разместились мы на мягком лапнике возле костра, чашки и ложки приготовили.

– Вы как эки на привале, – говорит Виктор.

– Наливай! – приказывает ему Николай.

– Есть, гражданин начальник, слушаюсь. Какой ты повелительный, однако.

Мыши летучие снуют над нами – видят нас впервые будто.

– В котелок какая не свалилась бы, – говорит Виктор. И говорит: – А пусть... наваристее будет. – Определил всем супу по тарелкам поварёшкой, положил каждому по куску дичины. – Не глухарь, конечно, мяса-то... кого тут... но зато как в ресторане... Господи, благослови... деликатес-то... Ну, чё, чалдоны, – говорит, – первый день обмыть бы надо. – Сидит он, Виктор, подогнув под себя ноги. Голенища сапогов пока не заворачивает. – Вроде прошёл, уж как, не знаю. Нормально вроде. Как вам кажется?

– Хватит. Достаточно наобмывались – уже блеснит, как... чё... как поварёшка вон, – говорит Николай. Держит он в одной руке ложку, в другой – ломоть хлеба. – И кушать хочется... Живот уж подтянуло.

– Какой голодный... Так, для аппетита... Ну а тебе никто не предлагает. Мы вон с Серёгой.

– Наливай!

– А я налил тебе уже.

– И водки!

– Слушаюсь! Храбрости той во мне уже как не бывало – испарилась, – говорит Виктор. – Может, от этой восстановится? Восстановилась бы маленько, что ли, а то трусливому-то плохо.

Разлил Виктор по кружкам остатки самогонки, бутылку из-под неё пустую в сторону, в «окно» «избушки» нашей, выбросил.

– О, хорошо, смотрю, вы славно порыбачили.
– Да уж кого там... Больше пролилось, – подмигивая Ивану и улыбаясь всей компании, говорит Виктор. – Иван не даст соврать.

– А я не видел.

– Ну, тоже мне... А как следил-то?

– Верю, что пролилось, вовнутрь только, – говорю я.

– Ну и туда немного тоже. Надо, – говорит Виктор. – А чё поделаешь, раз не клевало... Без клёва скучно... плыть-то просто. Если бы с барышней, куда б ещё ни шло... Это тебе бежать по берегу свободно, упал – полаялся – и отлегло, а нам на судне, парень, тесно... Не разодраться только чтобы... Напарник-то у меня, и глазом моргнуть не успеешь, как за бортом окажешься... Свирепый... Уж наливал ему, чтоб сдобрился маленько.

– Ага!

– А чё?

– Свистишь, как сивый мерин.

– Какой ты грубый... Ну, чтобы храбрости добавилось, то плохо...

Выпили мы. Икрой и печенью свежесолёной, поперчёной закусили.

– Во рту тает, – говорит Николай.

– А как же, – отвечает ему Виктор.

Суп из дичины теперь хлебаем – пока молча – только швыркаем. Дуем на ложку-то – горячий. Мясо белое вкушаем. И вкуснее ничего и никогда ещё не ели, кажется, – ну разве тут же вот когда, на Тахе.

Костёрчик прогорает. Положил в него Виктор сухих сучков пихтовых и еловых. Затрещали сразу, вспыхнули те, заискрились. За «столом» у нас светлее тут же сделалось. А темнота вокруг ещё как будто больше уплотнилась – опереться на неё как будто

можно теперь стало или воткнуть в неё, как в землю, что-то.

– Точно, как в ресторане, – говорит Николай, откладывая ложку. – Передохнуть немного надо.

– Звучал булат, картечь визжала, рука бойца махать устала, – говорит Виктор.

– Хлебать неловко на боку.

– Ему неловко...

– Да, неловко!

– Ложись на спину, а тарелку ставь себе на брюхо... удобней будет... или – как собака.

– Сам так и делай!

– Какой ты, парень, нетерпимый... Ты в ресторане-то бывал?

– Раньше заглядывал.

– В окно?

– Молчи, несчастный.

– На берегу-то ты меня не испугаешь. Сейчас я храбрый.

– Письмо придёт, – говорит Иван. – Лист лавровый мне попался.

– Придёт, придёт, если напишут... Где там «Петрович»? – спрашивает Виктор. – Эй, ты, «Петрович», – говорит. Повернулся, не вставая, вытащил из мешка литровую бутылку. Этикеткой к свету обратил её, полюбовался. – Наш человек... А зелье злое, будь оно неладно. Медведь бы пил её, заразу. – Свинтил крышку. Разлил водку по кружкам. – Хошь не хошь, а выпить надо. Ты-то не будешь, Николай?

– Буду!

– Какой ты алчный.

Выпили мы. Помолчали сколько-то. Заговорили.

– Экран-то... от реки... будем делать?

– Время покажет.

- А ещё лапнику-то на подстилку?..
- А чё?
- А этого не хватит.
- Иван нарубит, надо будет.
- Тепло сегодня.
- Да, тепло.
- И без экрана, поди, не замёрзнем.
- Тут бы и помереть... как здорово.
- Давай... А зверь найдёт какой и похоронит.
- Да я... И чё мы в этом городе забыли?!
- Баба там у тебя.
- Ну, только что... да ещё дети, что и держит.
- Своя баба – жаба, а чужая – баунти.

Разлил опять по кружкам Виктор. Выпили мы. Супу наелись, захвалив его и повара. Полулежим.

– Иван, спой-ка нам чё-нибудь такое, питерское, – говорит Виктор, вытаскивая из кармана мундштук и сигарету.

– Если Иван запоёт, – предупреждаю я, – мы все заплачем.

– А чё такое? – спрашивает Виктор. – Песни жалостные, что ли?.. Петербург-то ваш – столица уголовная. А ты про эти... про Кресты-то.

– Слон по ушам его прошёлся.

– А нам неважно, э, беда-то, мотив любой пускай, какой получится, слова главнее, – говорит Виктор. – Ты, Николай, тогда давай... нашу затягивай, казацкую.

– Ага, – говорит Николай. – А по моим ушам тогда уж вся саванна проскакала.

– На водопой.

– На водопой... Вовсе, как запою-то, изрыдаетесь, – говорит Николай. Он не сидит уже и не лежит. Встал от костра, кругами бродит. Мотаёт его, как шест скворечный в бурю. Трогает, щупает, просохла ли его

одежда – а кажется – будто цепляется он за неё, чтоб не упасть-то.

– Сядь, парень, а!.. а то кого-нибудь затопчешь...
Дай отдохнуть по-человечески нам.

– Не затопчу. Костёр вам разжигать?

– Вам... Нам не надо, успокойся. Замёрз?

– Темно.

– А ты читать, что ли, собрался?

– Читать!

– Во, дьяк учёный...

– Да!.. Учёный.

– В говне толчёный... Через пятки от земли набрался... учитель, – говорит Виктор. – Кепкуними, ещё от космоса пойдёт подпитка... Скажи мне лучше, Николай, почему, – спрашивает Виктор, – корова чёрная, а конь – вороной?.. Собака тоже почему-то чёрная... и кошка тоже. Почему вот?

– Да потому, что конь – это конь, – говорит Николай, – а корова...

– Это корова, – договаривает за него Виктор. – Это мудро.

– Эх, ё-моё!

– Да, замечательно... ни демократов, ни чиновников... Вот только водки взяли маловато.

Одолели мы «Петровича».

Иван и чаю даже не дождался. Натянув шапочку на уши, свернулся в клубок на лапнике под кедром. Ужал голову в воротник куртки – как черепаха в панцирь. Руки в карманы спрятал. Спит теперь уже. Убайкался, бедняга.

– Не следит, – говорит Виктор. – Что и бабушке-то говорить придётся?

Вышел Николай, точнее, выпал из «избушки», место подыскивать для «пионерского» костра подал-

ся – его либидо его гонит, шумно там падать заставляет.

Виктор, с мундштуком в руке, с погасшим в нём огарком сигареты, лежит на взлохоточке, то, на секунду задремав, уронит голову на грудь, то, очнувшись тут же, её вскинёт.

– Эх, – говорит, глаза открыв, – матрас-то зря на Масловской не взяли, как сейчас бы завалился... Николай, – говорит, – сходи-ка за матрасом, на прямую тут, пожалуй, недалёко.

Или не слышит Николай его, или уж занят очень, так не откликается.

– Где он? – спрашивает меня Виктор.

– Тут, за кедами, трещит-то вон, по яру вроде ходит, – отвечаю.

– В речку не сбрыкай!.. Динозавр... Телогрейку-то нескоро – не подштанники – просушишь...

Захрапел, слышу, Виктор.

Отхожу я от костра. Как пуля в плоть, во мрак вминаюсь, как в гудрон ли, форму тела своего от столкновения меняя, – так мне кажется. И меня, как Николая же, смотрю, мотает – словно ветер дует переменчивый, то, шая, надавит резко, крепко, то опустит будто вдруг. Но продвигаюсь. Мелкие кедрики и пихточки чуть не заваливаю – очень-то на них не обопрёшься – хлипкие – не вижу их, руками только ощущаю – мягкие. Гулливером себя чувствую. У лилипутов. В темноте лицом на что-нибудь не напороться бы, боюсь, – и жмурюсь, словно от метели. Запинаюсь за колоду. Ниц заваливаюсь, как сражённый, перевёртываюсь на спину – продолжительно. Лежу. Проваливаюсь ли. Мох под затылком, под ладонями – живой и влажный – как в родное, в него втискиваюсь. Небо в звёздах – как в заколках, без которых бы оно

скрутилось, – кедров нет тут, так не заслоняют. Слышу: река журчит – мелодия струится – меж деревьями и между рёбрами моими – обволакивает и пронизывает, из дудука словно вытекает. И десятки тысяч лет назад, а может быть, и сотни – точно так же. Только русло, «петли», поменяла и ещё вот: без меня – сама с собою. Звёзды в ней, конечно, отражаются, мигают – хоть и не вижу я, но представляю.

Состояние такое – превосходит мысль и слово. Я – как дерево, вернее – как трава: мох тесня, лопатками вырастаю в глину, утверждаюсь в ней корнями, как в родителях, – кто меня выдерет?.. Или легко возьмёт, положит между окнами?.. Так я лежу уже – я утепляю.

Где был я, Господи, когда Ты полагал – кричу в себе я – основание земли? Нигде. Может, лишь, в Промысле? И был ли?.. Я не помню.

Звягают далеко где-то лисята – из-под земли будто доносится – мать выживать, охотиться их учит. Птица ночная редко гыркает, косноязыко – её же эхо ей, такое же, и отзывается – нескоро. Сплеснулся в омуте таймень, бобёр ли – громко.

Земля вращается – всем телом это чувствую – меня баюкает – немеют веки.

Если бы я был писателем, периферийно думаю, как будто пятками, осознаю окраино, словно пальцами, я бы не как фантаст описывал их – звёзды. Но как тогда?.. Как верующий. Ну, и безмолвствовал бы, значит, на них глядя, сердцем молился бы – как на творение, на образ ли, – душой туда, к ним, устремившись. Это как будто кто-то мне перечит, а я покорно соглашаюсь, и так согласие мне это сладостно.

Что между мной, пятном распластанным, и звёздным небом – не тишина – молчание – пугает. Нужен посредник – Слово. Где Ты? Почему меня оставил?

И будто музыка звучит, да не пойму пока, откуда?..
Сверху. Страсти по Иоанну. Бах. Ах, майн синн. Ес
ист фольбрахт.

Я ад вкушаю день и ночь – я про оставленность, –
воплю ко Господу, а Он, Господь, меня не слышит: то
скорби сердце сокрушают, то долги – забыл, забыл,
как мать дитя своё забыла.

Раскинул руки я – и будто падаю. Земля ушла из-
под меня. И вдруг: задерживает меня что-то. А мо-
жет: Кто-то. Как на руках – меня качает – благостно.

Вроде уснул, проснулся, думаю:

Сретенск так далеко – там, за пределами. А Петер-
бург и вовсе – кажется, что – на Луне; и я от прошло-
го будто отрезан; и мне тут ладно – прилежался.

И будто шепчет прямо в ухо тот, который мне все-
гда перечит: Душа! – есть же сокровища бессмерт-
ные – и утешайся ими. Нет! ищешь смертного и тлен-
ного желаешь.

И я опять с ним соглашаюсь: сводят с ума меня
глаза, что со зрачками, увлекающими в бездну, едва
прикрытую с обратной стороны сосками, глухонемой
почти – Арины, сердце к ней рвётся, как к сокрови-
щу. Смотрю на звёзды, но и там я вижу это имя –
сердце мне встречает – как тут и молиться!.. Дай, Боже,
мудрости и целомудрия. Первого хоть сейчас, второ-
го позже чуть...

Помилуй, Господи, помилуй.

Запылал костёр возле нашего табора, но не под
кедрами, чтобы и их не запалить, а ближе к яру. По-
неслись столбом искры в небо. Затрещало, загудело.
Ликует что-то – может быть – либидо.

Я задремал.

Замёрз.

Поднялся.

Всё то же небо, та же Таха, та же темнота. И то же одиночество – не тела, а души. Не внешне. Внутренне. Ёмкость такая – не заполнить – нужна она, наверное, чтоб отзывалась. Вспомнился чей-то стих – как будто прочитал мне его тот, который мне всегда перечит: «Если всё живое лишь помарка за короткий выморочный день, на подвижной лестнице Ламарка я займу последнюю ступень». Пошёл к костру я. Иду. Думаю: Василий Васильевич Розанов намеревался, и был согласен только с тем, что явится на Тот свет с носовым платком, мол, а я?.. выходит – с удочкой...

Подступил к костру.

Иван спит, всё в том же положении.

Николай там, возле своего «пионерского» костра, – «работает» в угоду сокровенному.

Виктор кемарит сидя. Услышал, как я подошёл, голову приподнял, глаза открыл.

– А чё, мы всё уже допили?

– Всё, – говорю.

– Плохо, – и задремал опять, устроив голову на грудь. Мундштука в руке его не видно.

Выбрал я между выступающими из земли корнями кедра местечко, лёг. Удобно. Словно в зыбке. Мягко. Задремал.

Прошёл мимо меня Николай. Наступил мне на ногу.

– Ну, ты... медведь. Ходи поосторожней.

Молчит тот. Бродит. Ищет что-то. Наступил Виктору на ногу. Вскинул тот голову.

– Задавишь... Слава Богу, босиком хоть.

Задремал опять я. И опять проснулся.

Виктор ползает вокруг меня, по земле руками шарит.

– Чё потерял?

– Да чё, мундштук.

Ползал, ползал. Не нашёл. Сидит, без мундштука курит.

За «окнами» пожар – озарено у нас в «избушке».

– Работает, – говорит Виктор.

– Да, – говорю.

Николая не видно. Нет сапогов его на кольях, нет и одежды. Всё перенёс к костру большому – там обжился.

– Переселился... Чё-нибудь высушит опять, наверное, – говорит Виктор. Сказал и засопел. Проснулся. – Худо, что выпить не осталось. И почему всегда так – не хватает-то.

Ваня – как камень – и не шевелится. Подступил к нему я, наклонился – дышит.

Луна было показалась, тайгу осеребрила, речку осияла. Но небо скоро затянуло тучами. Закрапал дождик мелкий. Прекратился скоро.

Светать начало. Ветер подул. Дым от реки теперь погнало – к сопкам.

Виктор уже на ногах. Поставил на костёр чайник. Вода вскипела, заварил.

– Иван, вставай, – говорю я.

Иван не двинулся.

Николая не видно. Пригляделись:

Сидит он за «избушкой» возле пепелища своего «пионерского» на бревне, как-то не сжёг ещё которое, не мог, наверное, один к костру его придвинуть. Лицо у него, у Николая, в саже – чёрное.

– Как погорелец, – говорит Виктор.

Рядом с ним, с Николаем, на бревне же, мреют остатки от его исподних.

– Без флага теперь будем... Нас, слава Богу, не спалил, – говорит Виктор.

– Чай надо пить. Иван, вставай-ка.

Сел Иван. Спит сидя. Глаз разодрать пока не может.

Пришёл Николай, уже одетый и обутый.

– Поздравляю, – говорит ему Виктор. – Мы в тебе не обманулись. Ночевать-то как теперь без знамени будем?

– Молчи.

– Слушаюсь.

Попили мы чаю крепкого. Хлебом с маслом и домашним сыром, «своедельским», перекусили. Очень вкусный.

– Пошёл я, – говорю.

– Иди, иди, – говорит Виктор, – то не успеешь.

– Сейчас таймень на мышь хвататься должен. И вы тут долго не расслаивайтесь.

– Какое долго!.. С места не сойти, прямо тут бы вот и закопаться, – говорит Виктор.

– Головушка болит, что ли? – спрашиваю его я.

– Не то слово, – отвечает. – Болит!.. Болела бы. Не голова, а колокол гудящий... Сволочь какая-то в него как будто лупит чем попало... Чё, неужели всё вчера мы вылакали?.. Душа свербит, в ногах ломота... чё-то там... и чё-то там охота.

– Всё, – говорю.

– Вот, ё-мое-то. Ну и жадность.

– Где твой вещмешок? – спрашиваю я у Ивана.

– Там где-то, – отвечает.

– Понятно, – говорю.

Нашёл вещмешок, выгтащил оттуда канистрочку со спиртом. Побултыхал ею.

– А это чё?! – спрашивает Виктор. Стоит. Лицо его окаменело, будто вдруг проявилась перед ним Медуза или косматая Лилит.

– Да так, – говорю. – Жидкость.

– Самогонка? – говорит Виктор. С придыхом. Будто нацелился и цель спугнуть боится. Кто бы глаза его при этом видел.

– Ливизовский.

– Спирт?!

– Газировка.

– У-ух, – говорит Виктор, будто все свои прожитые годы разом выдохнул. И говорит: – А-а, это хорошо. Ну, Николай-то вряд ли будет. А ты? – спрашивает он у меня.

– Нет, не могу пока, к обеду, может, разохочусь. Но как клевать, конечно, будет.

– К обеду может не остаться... У нас-то клёв неважный, явно, будет.

– Ага, не буду. Наливай!

– Тебе кальсоны надо помянуть.

– Молчи.

– Молчу. Пока мне ещё страшно. Иди, бутылочку найди-ка... вроде туда бросал куда-то. И набери, сходи, воды.

Принёс Николай бутылку из-под водки и в ней воды. Разбавил Виктор спирт. Выпили они. Закусили. А я за них лишь поперхнулся.

Мундштук Виктор всё-таки разыскал, в зубах уж, вижу, у него торчит тот. Курит Виктор. Ясноглазый. Просветлённый.

– Пошёл я, – говорю.

– Иди-иди, – мне отвечают. – Не держим.

И день второй «залаял, как собака».

* * *

Иду я. Рыбачу. И у меня в голове не всё так уж ладно – загостился в ней «Петрович». Как у себя дома,

расположились беспардонно, ласы точат с самогонкой. Надоели, утомили, хоть и званые, татарина не хуже. Утро, пора и честь бы вроде знать. Ну уж куда там, ждут, не приглашу ли к ним ещё кого-нибудь, мало того, но даже требуют – то по вискам, а то по темени стучать возьмутся – морщусь. Чай им, похоже, не товарищ. Тяжело с такой-то ношей. Где по дороге ровной бы, так ещё ладно. А то скачи тут да карабкайся... Но, как говорит мама, у тебя одна воля, а у водки четыре, так и терпи уж.

Перед восходом солнца резко вдруг понизилась температура – с плюс десяти до минус десяти примерно, редко так бывает – и не понизилась, а обвалилась. Для нас нарочно – так, наверное. На речке забереги появились. Только что от костра, после тепла-то сразу, так и мёрзну. Куржак с кустов, когда задену их, за шиворот мне сыплется – ёжусь. Руки стынут. Дышу на пальцы, грею их, чтобы хоть чуть повиновались, то – как чужие. Кольца на удилище льдом от мокрой лески быстро забиваются, так что и леску не протянешь, – их то и дело прочищаю.

Снял я «черноспинку», прицепил вместо неё блесну-мышь. Не ту, что из медвежьего-то, поминал уж, меха, самодельную, а заводскую, металлическую. Не один раз уже испытанную. Тоже удачная. Кидаю. Под водой идёт – как настоящая. Виктор обычно говорит, когда из лодки её видит: «Хоть сам ныряй за ней охотись... Хвостом-то чё она выделяват. Но. Как живая. Охты-мохты». Дорожу ей. В первом же омуте поймал я на неё двух тайменей. Невеликих. Хорошо с утра выходят – радуюсь, как только голова больная, «непоправленная», позволяет. И блесну хватают жорко – не играют с ней и, нападая, не промахиваются. Тот и другой взялись сразу – не травил их, не выма-

нивал – с первой проводки. Тут же я выловил и щуку. «Добрую». Одна за этих двух тайменей. Повоевал я с ней в утеху. С яра блеснил, едва её туда и выгасил. На берегу уже перекусила она леску, точнее-то – перепилила. Золотистая. С брюха светлее, со спины темнее. Чистое туловище – без каемки и без крапинки. Бок только в свежей рваной ране – выдра или большой таймень её пытался сцапать – там ей, однако, повезло. Заметил я, как из засады она вырвалась – из травы такой же, как она, окраски – и пронеслась ракетой к моей «мышке», пасть распахнув уже заранее. Точно, собака и собака.

Спустился я ниже. Миновал, не останавливаясь, мелкий, но стремительный перекаат: рыбы на нём и летом почему-то не бывает, а теперь-то уж и вовсе – зря и время тратить на нём нечего. Сразу под перекаатом омут неширокий, крутит в котором, словно звёзды во Вселенной, клочья пены, листья палые и шишки от еловой до кедровой, а за ним должно быть плёсо, помню, длинное, прямое – метров двести – так примерно. Тёмное, как зрачок, – даже и дна не видно в нём – глубокое такое. Берега высокие, круглые – не ловкие для рыбалки, с лодки только тут и удить. Выбрал я всё же место между двумя пихтами, плечом к одной из них пристроился, начал прокидывать. Раз, другой забросил. Пусто. Третий. Опустил блесну пониже. Тормознулась как-то тупо. Зацепил, думаю, за каршу. Зацепил, но, чувствую, не намертво – помаленьку подаётся. Полутопляк-коряжину где иногда нечаянно прихватишь якорем, так же с ней тянется обычно. Хвост, вижу, большой, красный из воды показался. Таймень. Очень крупный. Килограммов двадцать пять-тридцать – жадным глазом его смерил. И дышать забыл и думать перестал о чём-то, только:

вроде поймал уже и лавры пожинаю. Протащил его сколько-то. Шёл сначала, не сопротивлялся – не понял ещё, наверное, что с ним случилось. И вдруг – на тебе! – упёрся резко. Вырвалась у меня из онемевших от холода пальцев ручка катушки, леска раскрутилась – тут же и «выплюнул» таймень блесну – вылетела она ко мне на берег, на пихте повисла. Кое-как её достал оттуда после. Сошёл, зараза. Руки и ноги у меня трясутся – от отчаяния. Блеснить на него дальше уже бесполезно – больше не выйдет, не покажется. Но нет, кидаю и кидаю. И всё равно ведь, думаю, не вытащил бы я его тут, ждаль бы пришлось товарищей мне на подмогу, и... голова болеть, как будто, перестала.

Сел я на яру. Сижу, свесив вниз ноги. В полном расстройстве пребываю – будто только что к другому от меня ушла любимая – с чем-то иным сравнить, и не придумаю. Небо в копеечку и свет не в радость. Как в ознобе – так меня колотит. Плохо, что спирту нет с собой. Вижу, плывёт под водой бобёр, не взрослый, а ярец-бобрёнок. Глазами на меня, как налим, из-под воды прозрачной пялится. Лапами-ластами работает усердно. Сердит на них я. Да и есть за что, конечно. Мало того, что из-за острых, как шилья, нагрызенных ими, бобрами, по всему берегу колышков таловых и ольховых я часто рву свои резиновые сапоги, но ещё и падаю нередко в старые их, полуобвалившиеся хатки, а из-за этого язык сквернить приходится – что уж совсем вроде негоже. «Вот на блесну-то я тебя сейчас поймаю, – думаю, – якорем зацеплю за задницу... вместо тайменя. Ладно уж, шут с тобой, живи, паршивец... Ну, ё-моё, ну как так получилось?! Не повезло, так уж не повезло!.. И как рука-то сорвалась, ну как так вышло?!»

– Сволочь, – говорю я бобрёнку. Жаль, что не слышит, а и слышит, так не понимает. Взял в горсть песку, бросил им в его сторону. Развернулся резко под водой ярец, поплыл назад проворно, скрылся под берегом – у них там лабиринты. – Ну, хорошо, хоть планы-то твои нарушил.

Поругал бобра, и вроде легче мне маленько сделалось – дыхание начало выравниваться, стало хоть с перерывами трясти меня, а то – как Каина – бесперебойно. Подлость собственная только угнетает.

Морок сначала разредело, а потом и вовсе разогнало – к горизонту его сдвинуло. День вперёд себя выпихивая, солнце вынырнуло из-за кромки. Где оно сейчас, красное, могу только догадываться. От меня его не видно. Кроны кедров обагрят, веселит в них белок и кедровок – шелуха летит оттуда, сверху, в речку – завтракают птицы и зверушки аппетитно. Бурундуки артельно – не вышли, а – выскочили, кажется, на промысел, шмыгают туда-сюда, челночат, вентилируют хвостами и без того стылый воздух. Где-то сороки, сбившись в банду, тараторят – сами с собой, сопровождают зверя ли какого – ох и досужие же белобокие. Ветер с западного стал на северный меняться. От его порывов крепких иней, как вотря, осыпается с деревьев – если на солнце, радужно – в калейдоскопе будто. Совсем похолодало – зазимело. Небо снегом заотпыхивало. Низко над сопками проносит облака – розово-белые, кудлатые. Трава – ночью-то дождиком её ещё обрызгало – хрустит, как чир, когда наступишь.

Долго не усидишь – лопатки мёрзнут.

Прошёл я два поворота – согрелся. Блесну бросаю. Выскочил в плёсе небольшой таймень, но не взялся – разглядел подвох, наверное, меня заметил ли на освещённом уже солнцем берегу – не удивительно. Выгта-

щил я из рюкзака удочку, разложил её, наживил крупного червя, начал рыбачить.

Тут же и рыбаки подплыли – не замешкались. Когда нужны они, их не дождёшься. Уже с улыбками – как Буратины.

– Здорово, мужик. Ты кто?

– Конь в пальто.

– Это мы видим... А кто тут у тебя?! Таймень? – спрашивает Виктор. – Таймень, наверное... по отпечатку вижу... на лице-то. Нас не обманешь... мы такие.

– Да, некорыстный, – отвечаю. – Таймешонок.

– Неважно, – говорит Виктор. – Хоть круглый нуль, да в наш куль – на дне бы чё шуршало-брякало, а в ваш мешок от репы вершок. Какой ни есть, наш, значит, будет, – говорит Виктор и шире лодки улыбается. – Сейчас мы, парень, его выдерним! Ты не волнуйся. А не выдерним, так оглоушим... Беда бы, не было чем, а то имеется... За ночь-то вудилишшэ наше как ещё отяжелело... В воду ведь прямо было, парень, воткнуто – набрякло.

– Молчи, несчастный!

– Слушаюсь.

– Специалисты, – говорю.

– А как же, – говорит Виктор. – Проф-фи... Речку-то, парень, через сито будто, процедили. Саньке Ларину тут после нас делать уже нечего... А он сюда поэтому, пожалуй, и не ходит, не дурак – в такую даль впустую-то таскаться... Уцелел ли где какой малёк, не знаю... Есть чем... гаубица, парень, наготове.

Спирт пошёл, как кажется, на пользу.

– Ну-ка! – говорит Николай, расслышав про тайменя и тыча рукой сзади в спину напарника.

– Чё тебе «ну-ка»? – не оборачиваясь к Николаю, говорит Виктор. – Не запряг ещё – не нукай.

– Дай мне большого червяка.

– Возьми.

– Банку подай.

– Меня не выпихни из лодки.

– Молчи!

– Молчу... Какой ты, парень, всё-таки азартный...

Я ж говорю, наш сейчас будет, мы ему, мокрому, покажем, как на оглобле-то у нас болтаться... А ты теперь, Сергей, свободен. Можешь идти. Тебе теперь тут вряд ли что обломится.

– Вижу.

– А где он вышел? – спрашивает Виктор.

– Да тут вот прямо, – говорю.

– Ага, так он тебе и скажет правду, – говорит Николай.

– Ну, где бы он ни вышел, – говорит, улыбаясь, Виктор, – всё равно своё уже отбулькал. Так мне, ребята, чё-то кажется... И прибежит, почует червяка-то, хоть откуда. Он там живёт – приноровился.

Иван подплыл.

В четыре удочки рыбачим на тайменя. На червяка берут некрупные, килограмма на два или на три, ну и меньше, лучше берут ещё, чем на блесну. Жора-то нет, и на червя не выйдет. Ну а вот крупного-то червяком не соблазнишь уж.

– Ты меня, точно, выпихнешь из лодки.

– Не мешай, тогда не выпихну.

– Не мешай... Какой ты... страстный.

– Да!.. Такой вот... Дай закинуть!

– Ну а мне?.. Ты ведь стволем-то этим, правда, меня вытолкнешь.

Клюёт таймень просто, но красиво – что это он берёт, не усомнишься. Плыл белый пенопластовый поплавок моей удочки, плыл ровно по течению и за-

приплясывал вдруг, утонуть будто собрался. Дал я заглотить крючок таймену. Подсёк, водить начал. Удилище дугой, леска – хоть играй на ней блюз из «Дзеппелин» – не звенит только, припускаю чуть, чтобы не лопнула. Выпрыгивает таймень из воды едва ли не на метр, «свечи» делает – пытается освободиться. Не тяну сразу – леску порвёт или крючок сломает. Но и устаёт он, таймень, скоро, выдыхается. Измучил я его, подвёл, безвольного уже, к берегу. Красавец. Хотя выпускай его обратно.

– Засранец, – говорит мне Николай.

Смеюсь я.

– Из-под носа прямо, парень, вытащил, – говорит Виктор. – Это при нашей-то при снасти... Ну-ка, огрей-ка ею брата... да поубавь-ка в нём нахальства.

– Гнать его отсюда сразу надо было, – говорит Николай.

– Теперь уж поздно, – говорит Виктор. – После драки кулаками не машут... А вот клёв поправить следует, однако. Время. Сэр, не откажетесь? – спрашивает у меня Виктор.

– Не откажусь, – отвечаю.

– А тут на берег нам не выйти, – говорит Николай.

– А мы не будем выходить... мы прямо в лодке, – говорит Виктор. – Держись за куст вон.

– Ага, держись!.. А как я выпью?!

– Ну а тебе не обязательно... Ты вон тайменя проворонил...

– А ты?!

– Я своего ещё добуду... И я поймал уже, а ты ещё всё клювом только щёлкаешь. Снасть-то вон положи свою пока, и выпьешь... а то прирос к ней... как привок.

– Молчи! Поймал... Не я бы, не поймал бы.

– Ну, это баба надвое сказала.

Выпили мы, помидорами солёными и салом закусали.

– Крепко развёл, – ворчит Николай.

– А ты не пей, – говорит ему Виктор. – Раз тебе крепко.

– Не пил бы... холодно.

– Тогда и не ругайся.

Пока мы выпивали и закусывали, Иван спустился ниже. Слышим, выстрелил два раза.

– Ну, ё-моё... Кого это он там?

– Не знаю... Смотри-ка, эхо-то... к морозу.

– И так не жарко.

– И гало вон... к непогоде.

– Колдун... не каркал бы хоть, что ли.

Пришёл Иван скоро. Несёт в руках двух уток.

– А лодка где?

– Да там её оставил.

– И оба селезни... А я уж думал, ты тайменя, – говорит Виктор. – Там, у себя, бы их и положил.

– Я показать.

– А-а, молодец... Ужин, в отличие от дяди, заработал, – говорит Виктор. И говорит: – Ну, чё, давай теперь за уток.

За уток выпили. И закусили.

– Пошёл я, – говорю.

– Иди, – говорит Виктор.

– Засранец, – говорит мне Николай. – Не дал мне выгнать тайменя.

Виктор смеётся. Говорит:

– А у тебя червяк, наверное, невкусный.

– Молчи.

– Молчу.

– Ну, догоняйте.

Недалеко я отошёл. Стал рыбачить на плесце. Зацепил близко к другому берегу. Дёргал, дёргал. Никак не отцепляется. Ждать их, товарищей, значит, придётся. Развёл я костёрчик. Греюсь. Плывут, слышу.

– Таймень?! – спрашивают в голос.

– Да, – говорю.

– Отжил, наверное... Сейчас мы его выбагрим... Наш, парень, будет, кто бы сомневался... Может, его не отцеплять?

– Да пусть сидит.

Подплыли. Отцепили.

– Есть чем, слава Богу.

Время обедать подступило.

– Ищи, где будем полдничать... Пора уж, – велят мне.

– А что искать, – говорю я. – Найдено. Сопка вон, под ней косица.

– А-а, – вспоминает Виктор. – Точно. Как-то мы там уже обедали.

Упирается здесь Таха напрямик в сопку, поросшую соснами, – торчат те на ней, как волосы у какого-нибудь мальчишки на вихоре, во все стороны, одна из них и вниз даже свисает, чуть не до речки, – вымывает из неё песок и гальку. Ниже сопки коса небольшая, камешниковая. Места на ней, чтоб чай попить, достаточно.

– Тебя перевозить?

– Я перейду на перекате... мелкий.

Пока вскипает вода и Виктор заваривает чай, Иван приплясывает, согреваясь, у костра, Николай взбирается на сопку, рассматривает дали – большой любитель географии, а я за это время вытаскиваю в плёсе трёх щук, и все они, как на подбор, килограмма по четыре – одного как будто икрёма.

Подхожу к табору, бросаю щук в лодку. С сопки спускается и Николай.

– Ну, и кого ты там увидел? – спрашивает его Виктор.

– Никого, – говорит Николай.

– Так а по чё тогда залазил?

– Интересно... Посмотреть на Таху сверху.

– Какой ты всё же... любознательный.

– Да! Любознательный.

– Ещё и грубый, – говорит Виктор. Сидит он, подогнув под себя ноги, хлеб, прижав к груди буханку, нарезает. Хлеб нарезал, положил его и нож на целлофановый пакет. И говорит: – Ох, чё-то руки стали зябнуть, не пора ли нам дерябнуть.

Выпили мы спирту. Чаем попотчевались. Тепло нам сделалось. У костерка расслабились и млеем. Мы так сидим, а Виктор – курит.

Рассказал я про тайменя, что сорвался. Пожалели, что так вышло.

– Не наш, – говорит Виктор, глядя в небо. – Саньки Ларина... Ох, и везунчик этот Санька.

– Да уж, – говорю.

– Тоже мне, – говорит Николай, в костёр подкидывая веточки. – Не мог уж выгащить.

– Так получилось, – говорю.

– Прибор-то у него, – говорит Виктор, – не как у нас вон... жидковатый, – кивнул головой в сторону берега. Торчит там, в гальку воткнутое, удилище Николая. – С нашим-то можно и акулу...

– Пошёл я, – говорю.

– Ступай, – говорит Виктор. – И так минуту уж пересидел... не наверстаешь. – И спрашивает: – Ну а на ход ноги, на посошок-то?

– Нет, не буду.

- Да?.. Ну а вот мы, пожалуй, выпьем.
- Ваше дело.
- Николай-то вряд ли будет...
- Наливай!
- Какой ты наглый.

Пошёл я. За кривун повернул, по отмели иду, рыбачу, и они, слышу, собираться к отпльгтию начали – лодки, «лягушками» дуэтом «квакая», подкачивают, разговаривают громко – будто ссорятся.

Затрещал на берегу кто-то. Виктор, что ли, думаю, пройтись решил немного, пока Николай с Иваном продукты в мешок убирают, посуду споласкивают и лодками занимаются, – меня там, поверху, обходит. Смотрю, вырывается из чащи сохатый, прыгает с берега в речку, пересекает её в несколько прыжков и исчезает в пихтаче на другом берегу. Брызги чуть до меня не долетели. Следом за ним проделал то же самое медведь. Большой, бурый. И нас не испугался. Лось, может, раненый? Размяться ли медведь надумал? Скоро затихли: лось ушёл, медведь отстал, наверное. Ну, думаю.

Иду. Рыбачу.

Время тут, на Тахе, за рыбалкой, как во сне, проходит незаметно – то ли мимо, как собака, то ли через тебя – как чьё-то слово. Только что вот вроде пообещали, и день уже угасает. Как и силы мои, впрочем, – тоже тают: налазился, напрыгался, напался и наругался.

Затянуло небо сплошь тучами. Волочит их, низкие, тяжёлые, прямо по сопкам, на листовенницы наматывает. Снег стал пробрасывать – совсем зимой запахло.

Пробрёл я краем переката, ломая у берега хрупкий ледок, вышел на галечный мысок, чтобы ноги в воде не мёрзли, стою, рыбачу в омуте на хариуса.

Подплывают скоро Николай и Виктор.

– Здорово, мужик!

– Здорово.

– Чё ловится?

– Да чё-то ловится.

– Значит, отловится... Свободен, можешь идти...

Спецы сейчас возьмутся.

Виктор выбирается на берег выше. Пробует забрасывать на перекате. Николай спускается под перекат. Останавливается на ямке, не доплывая до меня. Встаёт в лодке, лицом вниз по течению, и тоже начинает рыбачить. Говорит нам с Виктором:

– Первый раз за всё время ночевать сухим буду – сегодня! Ни разу ещё не начерпал! – говорит громко, чтобы мы слышали, шиверу перекричать старается. – И добавляет: – Тыпу, тыпу, тыпу!.. Удиви, Господи, на меня милость Твою...

Невероятно.

Молчим мы с Виктором. Рыбачим. Хариус берётся, и хороший.

Выплывает из-за поворота и Иван. Разогнался, флагмана-то догоняя. Идёт фарватером. Подхватило его лодку на перекате течением, справиться с которым на «резинке» не так просто. Грёбся, грёбся – бесполезно. Опустил Иван в отчаянии вёсла, глядит испуганно вперёд и кричит сдавленно: «Э-э! Дядя Коля, дядя Коля!» Но не слышит его дядя Коля: и перекат шумит, и глуховат он, дядя Коля, на то ухо, которым обращён к плывущему племяннику, и увлечён к тому же сильно: «харюзище» у него «как раз как, ёлки-палки, долбанул» там – тут хоть кричи, хоть закричись ты. Онемев, наблюдаем мы с Виктором за происходящим. Но всех делов-то две секунды. Носом в бок таранит лодка лодку. Опроки-

дывается Николай в воду солдатиком и на некоторое время пропадает из виду. Вылетает из воды скоро. Плывёт к берегу, не выпуская из рук удилица. Глаза у него круглые – во всё лицо: ничего ещё, наверное, не понял.

Мы с Виктором: я смотрю вниз по течению, Виктор – вверх, будто, опасаясь пропустить поклёвку, внимательно и неотрывно следим за поплавками своих удочек, и того, что произошло, словно поэтому не замечаем. Внешне мы с Виктором серьёзные, как часовые, а внутри – из всех сил сдерживаемся, чтобы не покатиться с хохоту, – ох, нелегко же.

Выбрался Николай на берег, благо он тут пологий. Ртом воздух хватает, словно выкусывает его, воздух, а не вдыхает. Кругом оглядывается – хочет узнать как будто, где находится, на Иване в лодке взглядом тормозится.

Ну, всё, убьёт, думаю, сейчас он своего племянника родного, прямо в лодке захлестнёт его – достанет своей «снастью». Нет, стоит, бормочет только:

– Ну, ты... ну, ты... ну, ё-моё... Ну, только харюз как раз клюнул...

С кепки и с телогрейки у него вода стекает. В руках у него – удилица – как трезубец у Нептуна.

– Ночевать, однако, надо, – говорит Виктор. – Так мне чё-то сёдня кажется.

– Наверное, – говорю я, ловя плывущую вниз лодку, потерпевшую крушение.

– Я думаю, – говорит, стуча зубами, Николай, – он мне кричит, что харюз у меня клюёт... Я без него не вижу, что ли... – веками хлопает при этом, воду из глаз как будто выжимая.

Молчим мы и – нам как-то удаётся – не смеёмся. После, конечно, душу отведём уж.

Темнеться начало: плотнеют быстро сумерки – так, как будто студенеют. Резко ветер прекратился – словно по чьёму-то сигналу. Стихло в тайге. Теплее вроде стало. Но повалил снег, такой густой, что в двух шагах не видно ничего сразу же сделалось. А через час навалило его уже по щиколотку. Лёгкий, мягкий, но не липкий. Как некстати-то – переживаем.

– Ох ты мама моя мама, – говорит Виктор. – Первый нынче.

– Ещё стает, – говорит Николай.

– Не знаю, – говорит Виктор. – Всяко бывает. Помню, в десятом классе я учился... Как второго сентября упал, так и до лета пролежал, не стоял.

– Я это тоже помню, – говорит Николай. – Бывало. Ну а климат-то меняется...

– И чё?

– А потепление глобальное...

– Может, и глобальное, – говорит Виктор. – Да вот по нашим-то местам чё-то не шибко это и заметно... Зимой особенно... не жарко.

– Ещё заметишь.

– Боже упаси.

Затаборили мы в первом попавшемся по ходу пихтаче. Унесли туда всё, кроме рыбы, удочек и лодок, чтобы под снегом утром что-нибудь случайно не забыть тут. Место не очень-то удобное нам подвернулось, но искать более подходящее времени у нас уже не оставалось, да и Николая срочно надо было сушить и переодевать, чтобы не простудился.

Дал я ему свой свитер.

– Не прожги, – говорю.

– Посмотрим.

Иван – трико, а Виктор – курточку болоневую.

– Не порви, – говорит Николаю Виктор.

– Не порву! – отвечает Николай.

– Ага, надейся на тебя... Новую купишь.

– Обойдётся.

– Какой ты, парень, невоспитанный.

– Куртке-то сколько лет?

– Тем и ценнее.

Свои чудо-сапоги обул он, Николай, пока на босу ногу.

Развёл Виктор костёр, суп с тушёнкой «соображать» начал. Подстреленных Иваном уток он отеребил, выпотрошил, опалил, чуть подсолил – до завтра, дескать, сохранятся; а, мол, с тушёнки сварится скорее. Оно и верно.

Николай с Иваном дрова взялись заготавливать, а я опять занялся рыбой.

Совсем стемнело, снег бы не отбеливал, ни зги бы видно не было. Чернее чёрного чернеет речка.

Зовёт всех к костру Виктор:

– Орлы! Готово!

Набил я почти полный прорезиненный мешок рыбой, солью её прокинул, поставил мешок под перевернутую лодку. Пошёл к табору, растирая на ходу онемевшие от холода руки.

Разгребли мы ногами снег – тут, под пихтами, не так ещё которого и много, – навалили лапнику. Устроились к костру поближе.

Ужинаем. Сначала молча. Ложками лишь брякаем. Да на суп в них шумно дуем – остужаем. После разговариваем.

– Это, конечно, не из рябчиков, – говорит Николай. – Не дичь.

– Такому радуйся, – говорю я.

– Конечно... Вкусно.

– Эта тушёнка – как из каучука, – говорит Виктор. – Или уж жир в неё один набухают... Раньше была тушёнка, так тушёнка. Откроешь – запах... мило дело.

– Соя, – говорит Николай.

– Какая соя, – говорит Виктор. – Соя – продукт, а это чё, я и не знаю.

– Да-а, – говорю я.

– Ну-у, – говорит Николай. – Так это раньше.

– Раньше и сапоги резиновые были, а?.. Чета ли этим-то... Как... не скажу... Ивана постесняюсь, – говорит Виктор.

– Лучше моих всё равно не было, – говорит Николай.

– Это-то точно, с этим не поспоришь.

Поведал я, как видел лося и медведя.

– А мы слышали, – говорит Виктор. – Подумали, что ты шумишь или опять куда свалился... А где же ты-то был с ружьём, охотник?

– Лодку подкачивал.

– Ну вот, на притчу... Добавку кто будет, – говорит Виктор, – сами наливайте.

– Нальём, – говорю.

– Да я про суп.

– А я про спирт.

Тихо. Костёр только потрескивает.

Если отсюда следовать на северо-запад, не сворачивая на северо-восток к Ислени, до Полярного круга и дальше ни души, наверное, не встретишь. Когда молчим, на ум приходит это.

– Ё-моё, – говорит Виктор. – И расстояния.

– Да-а, – говорит Николай. – Пространства. Впечатляет.

– Какой ты, парень, впечатлительный, – говорит Виктор. И говорит: – Вот, ты смотри, какая Таха реч-

ка. Как ни отправимся сюда, так тут же что-нибудь да и случится. И обязательно. Кто бы подумать мог, что снег повалит. А?.. Не предвещало вроде.

– Предвещало.

– Ну, ты колдун, дак ты-то знаешь... Коварно как-то... Это духи. Чем-то мы шибко перед ними провинились.

– Спирту на пень плеснуть им, может?

– Знать только надо, на какой... Если на все-то, парень... жалко.

– В прошлом году пошли – когда уже! – в июле, и как заморозок хряпнул – уши в трубочку свернулись, – говорю я.

– Да, – говорит Николай. – Шестого июля, и заморозок минус шесть, я хорошо это запомнил... А то дожди начнутся проливные.

– Дожди... Тебе-то чё они, дожди, тебе не страшно, – говорит Виктор. – Дождь, не дождь, а ночью всё равно сушиться.

– Молчи! – говорит Николай.

– Какой ты злобный.

Пужинали. Выпиваем. О чём только не беседуем.

– В ладонь тебе вмонтируют такую штучку-дрючку... и имя тебе будет 666... Все будут тёзки, – говорит Виктор. – В лоб ли владык индикатор... Без него и водки-то не купишь.

– На всё воля Божья, – говорит Николай. – И волос с головы твоей не упадёт... А для тебя свобода выбора – ты можешь на эту печать соглашаться, а можешь и не принимать её... Кто имеет ум, тот сочти число зверя...

– Ну, это так, конечно, чё там, – говорит Виктор. – Только ведь его ещё иметь надо, не за большим делом... ум-то.

– Господи, – говорит Николай. – Времена для нас послал тяжёлые.

– Они всегда, наверное, такие, – говорит Виктор. – И уж какие есть – не выбираем. Никто не спрашивал тебя, хочешь ли, нет ли ты родиться... Мне дак так чё-то думается. Ко мне никто не обращался.

– Речку бы льдом вот не сковало.

– Рыбу глушить у заберегов тогда будем.

И о разном, и сумбурно, и о чём не толковали только, мало что осталось в памяти.

Пока как попало не уснули, поднялись, зыбкие, как молочные щенята, на ногах, убрали костерок, развели во все стороны угли. На его место лапнику набросали. Лежим мы на лапнике – Иван, я и Виктор – тепло в бока из прогретой огнём земли впитываем. Николай большой костёр разводит. Развесил он вокруг нас свои промокшие шмотки – зрелище привычное – нас оно нисколько не смущает.

– Ну, ты, Иван, устроил дяде, – говорит Виктор. Смеётся. Смеюсь и я. Смеётся и Иван – испуг-то у него прошёл уже. Катаемся от смеха.

– Зубоскалы! – говорит, не отрываясь от своего занятия, Николай.

– Не затопчи меня! – говорит ему Виктор.

– А ты тут ноги не раскидывай.

– Ну вот... и как с ним разговаривать.

Спирт у меня в голове, пары его ли, вращается в одну сторону, а лес и костёр – в другую. Но замечаю:

Опять разъяснило. Звёзды просвечивают через пихты – иглисто. Снег валить перестал. Морозно. Сова летает – в свете костра иной раз промелькнёт около нас бесшумно. Где-то за лесом низкая луна – мягко тайга заголубела.

Слышно:

Далеко завывли волки.

– Давно их не было в наших местах, – говорит Виктор. – Появились.

– Мы тут с Иваном, – говорю я, – видели двух возле Ялани... в поле стояли, мышковали.

– Голод, значит, будет, – говорит Виктор. – Примета такая.

– Голод... давно уже начался, – говорит Николай. Появился перед нами он, как привидение, тут же опять пропал из виду.

Самая близкая к нам душа живая человеческая – Василий Карманов, но и до него не меньше двадцати километров. То и дело вспоминается его избушка, навязчиво думается, как в ней тепло сейчас, уютно. На ночь-то там бы оказаться.

Виктор в одной энцефалитке. Дремлет он на боку, оперев голову на согнутую в локте руку, голым животом касаясь снега. Поднялся тут же, сидит, как медведь, шарит вокруг себя руками – мундштук опять посеял. Бормочет – молится Иоанну Воину и Феодору Тирону, чтобы помогли ему найти пропажу. Говорит после:

– Ну, ты, Иван, устроил дяде.

Иван свернулся калачом, дремлет. Не видно ни лица, ни рук его – валяется как куча тряпок.

– Уходил, – говорит Виктор.

– Ну, – говорю я.

Лежишь спиной к костру, живот мёрзнет, повернёшься к огню грудью, спина колеет. Особо не поспишь. Хорошо, что Николай «на посту», а заодно следит и за костром – своим любимым делом занимается – вовремя дров в него подбрасывает, и тех тут, слава Богу, предостаточно, хоть и сырые, в основном, но жар большой в костре – всё в нём сгорает.

– Пихты б не вспыхнули, и нас бы не поджарил, помилуй, Господи, аж страшно, – говорит Виктор. Сидит он. Курит. Без мундштука. Потянул носом и говорит: – Палёным пахнет. Горит там чё-то у тебя, пожарник... Эй! Где ты там?!. Чума лесная.

– Ничё у меня не горит! – отзывается из-за костра Николай.

– Утром посмотрим, – говорит Виктор. И захрапел уже, на лапник отвалившись, подтаивает голым брюхом снег. Проснулся, мундштук искать взялся.

Я без свитера, кутаюсь в телогрейку – не могу никак согреться.

Утра дождались кое-как – дни за рыбалкой так бы длились.

Портянку Николай свою всё же спалил – палёным-то и пахло.

Не торопимся. Сидим. Опохмелиться только уже нечем вот – канистрочка пустая. Переживаем. Чаем обходимся. Время тянем – от костра удаляться на холод не хочется. Но надо: идти и плыть нам далеко ещё.

– Пошёл я, – говорю. – И вы не празднуйте тут, собирайтесь.

– Давай, давай, – говорит Виктор. – То засиделся. – И говорит: – Какое празднуйте... Живём мы в юдоли плачевной, и несть мира в костях наших. Помилуй мя, Господи, яко немощен есмь, – и улыбается как под уколом. И говорит: – А чё, на самом деле, спирту не осталось?.. Вот это плохо. То в голове-то жеребец как будто – не стоит, а – скачет... кто бы взнуздal его да вывел, неуёмного... а то ещё кобыл к себе заманит. Помру, как меня к бабе доставите? – смеётся.

– Вчера пить меньше надо было, – говорит Николай. – А то налёг уж, как... на пиво.

– Какой ты всё-таки недобрый... Я же старался ради клёва.

– Ага!.. а вечером и ночью?

– А это чтобы не замёрзнуть.

– Ну, так сиди тогда, не жалуйся.

– Вот уж где злыдень, так уж злыдень... Иван, – говорит, улыбаясь и одновременно морщась, Виктор, – а повтори-ка абордаж сегодня. Чё-то красиво было, так мне кажется. Дядя твой пересох – ворчит... А пиво, кстати, не люблю. От пива сикашь, парень, криво.

Пошёл я.

Снег на всём. Даже на леске удочек, на паутине. И на воде он тоже – чичером зелёным. Вода из-за него глядится тёмно – помутнела.

Прошёл я немного, и весь уже промок – штаны и куртка на мне задубели. Иду, скукоженный. Блесню. Руки у меня – словно флажки сигнальные – маячат красным. Но ни таймень, ни щука не выходят. Жалко.

Небо опять всё сплошь заволокло тучами, беспросветно, но влечёт их, низкие и косматые, уже не с севера, а с запада. То и дело просыпается из них снег. Сырой теперь уже он – рянда – ко всему липнет. На пнях – так шапками сидит боярскими. За развёрнутые голенища сапогов с травы мне набирается он – всё и вытряхиваю, выгребаю.

Часто останавливаемся, кипятим чай, греемся и сушимся. Мне хоть и сыро, но я на ходу, а вот товарищам моим неважно в лодке, неуютно – терпят: хуже неволи ведь рыбалка.

Клёв испортился, да вот поправить его нечем.

Ещё не вечер, но и плыть впустую смысла нет.

Находим хорошее место в кедраче. Снега под кедами нет, только «ковёр» от палой хвои – бурый.

Мы втроём – я, Иван и Николай – запасаем дрова. Виктор на маленьком пока костерке варит суп из уток. Когда готовит, он серьёзный.

Дров натаскали. Суп сготовился.

На хвое сухой и мягкой устроились. Ужинаем. Суп хлебаем и нахваливаем повара, не забываем и охотника, тот аж сияет – ну ещё бы. Повар на лесть не поддаётся – ему бы выпить, голову, как клёв, поправить – на лице его забота.

Поужинали. Чаю попили.

Делаем из пихточек экран. Разводим большой костёр. Ложимся между костром и экраном. Тепло. Разулись даже – ноги в сапогах резиновых устали.

Не ложится весь вечер и всю долгую ночь только Николай – поддерживает костёр и сушится. Возле костра протаяло – ходит Николай босиком.

– Медведь, – говорит про него Виктор.

– Ну, – соглашаюсь я.

Нынче, слава Богу, обошлось – ничего не спалил и не прожёл ни у себя и ни у нас он. Удивительно и непривычно.

Утром пьём чай – новый не завариваем, подогреваем вчерашний – тот настоялся.

– Как чифирь, – говорит Виктор.

– Да уж, – ворчит Николай. Крепкий он не пьёт, не любит он и горячий – разбавляет для себя в кружке сырой водой.

– Вот это правильно, – смеётся над ним Виктор. – А пронесёт-то, не боишься.

– Молчи.

– Молчу.

Теплеет.

По правому берегу просвечивает через тёмно-зелёные ельник и пихтач жёлто-белая от снега и увядшей

травы гарь – высятся там на голых сопках сухостойные лиственницы – чёрные. Здесь начинается уже тропинка, по которой мы и заходили.

Рыбачим мы теперь, что называется, проскоком – на одном плёсе недолго задержишься, покидаешь, а два так, мимо, пробежишь – досюда уже и другие рыбаки добираются, тот же Саня Ларин, например, – и нам поэтому тут удить уже скучно: подавай нам только девственное.

Я часто теперь прямлю по тропинке, а то и там, где речку вижу, в петлях её срезаю – силы экономлю.

Перерезает Таха тут хребёт, и к Тые катится под заметным наклоном. Идут сплошные перекаты. Шумные. Лодки несёт по ним быстро, знай только выруливай, чтобы не перевернуло. Заторов на реке в этом месте мало – все в водополицу разносит. С тропинки я уже не сворачиваю и, поднявшись и спустившись с перевала, едва-едва лишь успеваю за плывущими.

Выходим к устью раньше назначенного быть тут Василию времени. Его и нет ещё на месте.

– А я вам чё и говорил, – говорит Виктор.

– Ещё не вечер, – говорю я. – Ещё рано.

Я перехожу Тыю по бревну. Рыбаки, радостно поглядывая на меня, её переплывают.

– Тебя спасти?

– Не говорите мне под ногу.

Скручиваем лодки. Оставляем рыбу и манатки на берегу и отправляемся пешком на пасеку. Идти тут пять километров.

Золотое солнце. Небо синее. Земля белым-бела. Мир чуден, прекрасен, но основание ли это для того, думаю, чтобы в нём останавливаться, а не идти дальше... или выше?.. Но я – земля и потому привязан к

земной жизни... А дальше-то у Богослова, вспомнил: ...но я также и Божественная частица, и потому ношу в сердце желание будущей жизни... Блаженны, вспоминаю, не видевшие и уверовавшие.

Скользко – идти трудно – разговариваем поэтому мало.

– Вот и зима.

– Зима.

– Да ещё стает.

Приходим на пасеку. Василий, хоть и пьяненький, но про нас не забыл и собирался уже выезжать за нами – так утверждает. Нам он не удивился, но обрадовался.

– Э-э, – говорит.

– Здорово, – говорим мы.

– Как, с медовухой-то уже управился? – спрашивает брата Виктор.

– Да есть ещё... маленечко для вас оставил, – говорит Василий. Улыбается. – Управлюсь скоро.

– Не сомневаюсь, – говорит Виктор.

Виктор и я едем на «Ниве» за оставленными на Тые рыбой и манатками. Возвращаемся. Выпиваем по кружке медовухи, заедаем варёной лосятиной с горчицей. Пьём после чай с мёдом.

Выходим из избушки.

День блистает – будто только что вот сотворённый.

Садимся в машину. Уезжаем.

Василий, освещённый ярким солнцем и в окружении помахивающих хвостами мокрых, прибежавших из тайги собак, долго нас провожает взглядом. В руках у него рыжая полиэтиленовая бутылка из-под какого-то сиропа – полупустая, полуполная ли.

– Управится, это уж точно, – говорит Виктор, поглядывая на брата в зеркальце. – Красавец.

Едем. Пока медленно – дорога тут плохая. Поёт в машине Кадышева. Мы молчим.

Грустно.

Солнце спит глаза, спит с дороги, на которой слякоть.

* * *

Едем.

Смотреть на чудный и прекрасный мир из машины больно – глаза от яркого страдают. Жмуримся.

Печалюсь, что закончилась рыбалка. Душа осталась там, на Тахе. Глазами цепляюсь за каждый кусок – как утопающий за соломинку.

Тью по мосту проехали. Проехали пустырь – то, что осталось от Черкассов. Повздыхали, пожалели.

Едем. Николай и Иван, свесив голову на грудь, ке-марят.

Показывается из-за поворота Сретенск. Сначала часть его, потом и весь. На холмах – как Рим или Москва.

– Что это за город? – шутит Виктор.

– Родина, – говорю я.

Розово-белая она, наша родина. Солнцем швыряется из окон. Только столбы, заборы, скворечники, стены домов и проталины в огородах – чёрные как уголь.

Собаки бегают по ней – те разномастные.

И:

В монастырском огороде видятся согбенные фигуры – монахи картошку докапывают, добывают её из под снега. Бог им в помощь.

И будто:

Звучит «Зима» Антонио Вивальди.

И вот ещё:

«Зима. Крестьянин, торжествуя...»

На самом деле по деревне ездят мужики уже на конях, запряжённых в сани, полозьями которых исчерчен снег кругом, а косогоры все исполосованы полозьями детских салазков. Там и там стоят большие снежные бабы, с вёдрами на макушках, с метлами в обнимку, с морковками-носами и с глазами-картошинами.

Подъезжаем к дому. Останавливаемся. Николай и Иван поднимают головы.

– Приехали?

– Приехали.

Сидим минуточку. После выходим из машины.

Открываются тяжёлые, потемневшие от сырости ворота. Появляется из-за них мама. С пехлом в руке – разгребала в ограде от снега дорожку. Глядя на нас, закрывает ладонью глаза от яркого света, щурится.

– Рыбаки, – говорит. – Раньше времени удрали... А я ждала вас только к ночи. И уже вся испереживалась.

– Пришлось, тётка Васса, – смеётся Виктор.

– И слава Богу, – говорит мама. – В такую-то вон непогоду на пустоплесье... Не помирать же там, на речке. И чем вас Таха эта манит?.. Чем там сладким и намазано-то?.. Ну, проходите, – приглашает.

Входим в ограду. Под навесом, под тряпками гора – мама вырубил и вытаскала уже капусту.

– Успела, – ворчим мы.

– Успела, – говорит. – А то бы заморозила... Мороз-то грянул.

– Зачем таскала? – говорит Николай. – Вырубил бы да там бы чем-нибудь бы и укрыл.

– Да ну... уж чё тут... помаленьку-то.

В окнах вставлены вторые рамы, а между ними уложен валиками мох и украшен кедровыми шишками и гроздьями рябины.

- Красиво, – говорит мама.
- Красиво, – соглашаемся мы.

Корова с телятами стоит растерянно в огороде – ярко-бордовые на белом – как брусника на сахарной пудре. Мычат громко, обиженно – в неволе им сидеть не хочется. Морды развернули, на дом пялятся с надеждой, что их впустят.

– Сидите, нечего трубить... Загнала... чтобы не бегать-то за ней по лесу... Весь день орёт как... оголтелая, – говорит мама.

Делим рыбу на три части. Одну из них я оставляю себе. Килограммов по сорок получилось – маме на зиму, может, и хватит.

– Хватит, – говорит она. – Жива-здорова если буду, а уж нет, так на поминки.

– Ну, перестань ты.

Николай и Виктор прощаются и садятся в машину. Мы их провожаем.

– С Богом, – говорит мама.

– До свидания, тётка Васса, – говорит Виктор в открытую дверцу.

– До свидания, Виктор Васильевич, – говорит мама. – Теперь на Таху-то уже не скоро.

– Наверное, не скоро, – говорит Виктор.

– А вон Сергей, вижу... ему хоть завтра, – говорит мама.

Смеёмся.

Николай крестит из машины нас и дом наш, бормочет что-то – по губам его видно, глаза его окрасились – под небо.

Машина разворачивается и уезжает.

Мы – я, мама и Иван – уходим в дом.

– Есть-то чё будете? – спрашивает мама.

– Будем, – говорю я, хоть и не очень вроде хочет-

ся. Говорю я и чувствую, как остро и подло пощипывает веки мне.

– А я ждала вас... наготовила, – говорит мама. Глядит она на нас пристально. Мелко подрагивает у неё подбородок – так она плачет: через три дня нам с Иваном уезжать в Петербург. Впереди – в Петербурге разное, а в Сретенске одно – долгая, долгая и лютая зима.

У Ивана вряд ли, но у меня сердце обливается кровью.

– А мы как раз проголодались.

– И хорошо, – говорит мама. Идёт на кухню, добавляет: – Слава Отцу и Сыну и Святому Духу... ну, хоть вернулись.

Аминь.

ПОСЛЕСЛОВИЕ

Не пришлось больше Виктору Васильевичу Карманову побывать на чудной речке Тахе – умер он. Царство Небесное ему.

*Петербург
10.01–02.02*

СОДЕРЖАНИЕ

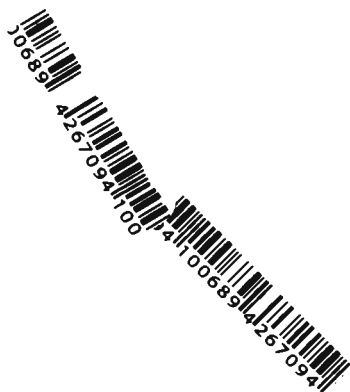
Время ноль 5

Одиночество

*(пьеса в трёх актах, почти без действий;
события вялотекущие и маловажные)* 265

Таха

(зарисовка в полутонах) 350



Василий Иванович Аксёнов
ВРЕМЯ НОЛЬ

Редактор К. Шмугурова. Художественный редактор А. Веселов. Корректор К. Шмугурова, Т. Самсонова. Компьютерная верстка О. Леоновой.

Подписано в печать 28.12.10. Формат 84 x 108¹/₃₂. Гарнитура Баскервиль. Бумага офсетная. Печать офсетная. Усл. печ. л. 30. Тираж 2000 экз. Заказ 3544.

ООО «Издательство К. Тублина». 190005, Санкт-Петербург, Измайловский пр., 14. Тел. 712-6706. Отдел продаж: тел. 575-09-63, факс 712-67-06.

Отпечатано с готовых диапозитов в ГУП «Типография "Наука"». 199034, Санкт-Петербург, В. О., 9-я линия, 12.



ВАСИЛИЙ ИВАНОВИЧ АКСЁНОВ
родился в 1953 году в селе Ялань Енисейского района Красноярского края. В 1982 году окончил Ленинградский государственный университет.

Первые публикации появились в 80-х годах. Лауреат премии Андрея Белого (1984). Публиковался в журналах «Москва», «Нева», «Звезда» и др.

Автор книг «День первого снегопада», «Солноворот» и «Малые Святцы». Живет и работает в Санкт-Петербурге.

Прозе Василия Аксёнова присуща какая-то особая, не скажу магия, но скорее, аура, благодаря чему чтение безысходного «Времени ноля» доставляет чуть ли не физическое удовольствие, ничуть не ослабевающее, по мере того как переворачиваешь страницу за страницей.

Виктор Топоров

Важным и определяющим в глазах читателей свойством аксёновского письма считается создание некоего аналога фолкнеровской Йокнапатофы – сибирских Ялани и Ворожейки... Однако замкнутость американского местечка имеет черты скорее социальные, енисейские же селения отделены не столько замкнутостью патриархального мировоззрения, сколько самими свойствами пространства и времени. Здесь, скорее, вспоминается Макондо Гарсиа Маркеса, однако аксёновское пространство лишено очевидной фантастики, чудо зреет где-то на периферии восприятия, оно несказуемо и явственно не проявлено (хотя и, безусловно, присутствует).

Книжное обозрение

ISBN 978-5-8370-0552-7



9 785837 005527

www.limbuspress.ru